

ГИ

Меня же влекло к Африке – это была властная потребность, тоска по неведомой пустыне, как бы предчувствие зарождающейся страсти...

Ги де Мопассан

ДЕ МОПАССАН

ПОД СОЛНЦЕМ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Под солнцем
Ги де Мопассан

Аннотация
Ги де Мопассан. Под солнцем
В Бретани
Усталость
Итальянское побережье
Сицилия
Под солнцем
Море
Город Алжир
Провинция Оран
Бу-Амама
Провинция Алжир
Зар'эш
Из Кабилии в Бужи
Константина
От Алжира до Туниса
Тунис
На пути в Кайруан
На водах

Аннотация

Временами Ги де Мопассан, способный насквозь видеть человеческие души, испытывал невыносимое желание сбежать из Парижа – от ненавистной Эйфелевой башни, бесконечных толп на столичных улицах, примелькавшихся мест и назойливых мыслей. В такие моменты Мопассан отправлялся в другие страны и к чужим берегам, ведь «путешествие, – писал он, – это своего рода дверь, через которую выходишь из знакомой действительности, чтобы перейти в действительность неизведанную, кажущуюся сном».

В данное издание вошли путевые очерки, изначально опубликованные в сборниках «Под солнцем» и «Бродячая жизнь» и посвященные путешествиям автора по Алжиру и Тунису, Греции и Сицилии.

Ги де Мопассан
Под солнцем

© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

В Бретани

Июль 1882 года

Вот и пора путешествий, пора ясных дней, когда влечет к новым горизонтам, к широким просторам синего моря, где отдыхает глаз, где успокаивается мысль; к лесистым и свежим долинам, где часто чувствуешь себя растроганным неведомо чем, сидя под вечереющим небом у дороги, на бархатно-зеленом откосе и глядя на отражения заходящего солнца в лужице бурой стоячей воды у самых твоих ног, в колее, вдавленной колесами двуколок.

Я люблю до безумия эти странствия по свету, который как бы заново открываешь, удивляясь нравам, о которых и не подозревал, люблю свою пробудившуюся жадную любознательность, новые виды, радующие глаз, неослабную работу мысли!

Только одно портит мне прелесть исследования незнакомых мест — это чтение путеводителей. Написанные коммивояжерами сих дел, полные пошлых и всегда лживых описаний, неизменно ошибочных справок, чистейшего вымысла в ука-

заниях дороги, все они за исключением одного превосходного немецкого путеводителя могут еще, пожалуй, служить утехой лавочникам, предпринимающим увеселительные железнодорожные поездки и знакомящимся со страной по Жоанну[1], но приводят в отчаяние настоящих туристов, шагающих с мешком на спине и палкой в руке по тропинкам, по оврагам и по берегу моря.

Путеводители лгут, ничего не знают, ничего не понимают и уродуют своей напыщенной и дурацкой прозой самые живописные местности; они осведомлены только о главных проезжих дорогах и, право, стоят так называемых карт генерального штаба, на которых до сих пор не помечены плотины Сены, сооруженные вот уже почти тридцать лет.

А между тем как приятно во время путешествия познакомиться заранее с той местностью, куда направляешься! Какое удовольствие найти книгу, где какой-нибудь скиталец набросал свои мимолетные впечатления! Это только введение, оно лишь подготовляет вас к знакомству со страной. Но иногда это нечто большее. Когда,

---

[1] Примечания: 1

Жоанн Лоран Адольф (1813–1881) — французский географ, писатель и путешественник, издатель географической литературы и путеводителей. — *Здесь и далее примеч. пер.*

путешествуя по Алжиру, углубляешься до оазиса Лагуат, надо ежедневно, ежечасно читать чудесную книгу Фромантена «Лето в Сахаре». Она открывает вам глаза, пробуждает мысль, как бы еще ярче освещает эти равнины, эти горы, эти огненные безлюдные пространства, показывает вам самую душу пустыни.

Во Франции повсюду найдутся уголки, почти неизвестные и очаровательные. Не притязая на составление нового путеводителя, я хотел бы только время от времени рассказывать о некоторых коротких экскурсиях, о путешествиях в течение десяти-пятнадцати дней, постоянно совершаемых любителями, но совсем неведомых домоседам.

Никогда не следовать по большим дорогам, а всегда лишь по тропинкам, ночевать в ригах, если вблизи нет гостиницы, питаться хлебом и водой, когда негде найти другой пищи, не бояться ни дождя, ни расстояния, ни долгих часов непрерывной ходьбы — вот что нужно, чтобы познакомиться со страной, проникнуть в самое ее сердце, чтобы обнаружить уже неподалеку от городов, так хорошо знакомых туристам, тысячу вещей, о которых раньше и не подозревал.

Среди старых провинций Франции одна из

самых любопытных — это Бретань. Достаточно десяти дней, чтобы ознакомиться с ней, чтобы изучить ее характер; ведь у каждой страны, как и у каждого человека, есть свой собственный характер.

Бросим на нее беглый взгляд. Пройдем хотя бы только из Ванна до Дуарненеза вдоль берега, настоящего бретонского берега, пустынного и плоского, усеянного рифами, где постоянно рокочут волны, точно отвечая на свист ветра в ланде.

Морбиан — нечто вроде внутреннего моря, поднимающегося и опускающегося под действием приливов и отливов в океане, — простирается перед ваннской пристанью. Его надо пересечь, чтобы выйти в открытое море.

На нем множество островов, друидических островов, таинственных, словно посещаемых привидениями. На этих островах могильные насыпи, менгиры и дольмены, все те странные камни, которым поклонялись некогда почти как богам. По словам бретонцев, этих островков столько, сколько дней в году. Морбиан — море, полное символов и суеверий.

И в этом — главное очарование страны: она родина легенд. Старые верования, уже умершие повсюду, продолжают корениться в ее гранитной

почве. Старинные сказания тоже сохранились здесь в полной неприкосновенности, и какой-нибудь крестьянин так расскажет вам о событиях, происшедших пятнадцать веков назад, будто они совершились вчера, будто его отец или дед были их очевидцами.

Бывают подземелья, где тело мертвеца сохраняется нетронутым, в том виде, в каком его сковала смерть, и только высыхает оттого, что кровь остановилась в жилах. Так и воспоминания вечно живут в этом уголке Франции — воспоминания и даже образ мыслей предков.

Я вышел из Ванна в самый день прибытия туда, чтобы осмотреть исторический замок Сюсиньо, а оттуда отправиться в Локмарьакер, потом в Карнак и дальше по берегу, в Пон-л'Аббе, Пенмар, на мыс Ра и в Дуарненез.

Дорога шла сначала вдоль Морбиана, потом по бесконечной ланде, изрезанной канавами с водой, без единого дома, без единого деревца, без единого живого существа, сплошь заросшей утесником, который со свистом качался от яростного ветра, гнавшего по небу обрывки как бы стонущих туч.

Потом я прошел через маленькую деревушку, где бродили босиком три грязных крестьянина

и девушка лет двадцати с черными от навоза ногами, а дальше — опять ланда, пустынная, голая, болотистая; она тянулась до самого океана, серая полоса которого уходила за горизонт, сверкая кое-где барашками пены.

Посреди этих диких просторов возвышались развалины: квадратный замок с башнями по бокам, одинокий между двумя пустынями — морем и ландой.

Старый замок Сюсиньо, построенный в тринадцатом веке, знаменит. Здесь родился великий коннетабль де Ришмон, который отвоевал Францию у англичан.

Ворот уже нет. Я вошел на широкий пустой двор, где лежат кучи камня от рухнувших башенок. И, поднимаясь по остаткам лестниц, взбираясь по развороченным стенам, хватаясь за плющ, за гранитные, наполовину вывалившиеся глыбы, за все, что попадалось под руку, я добрался, наконец, до верхушки башни, откуда стал смотреть на Бретань.

Прямо против меня, за невозделанной равниной — океан, мутный, шумящий под черным небом, а всюду кругом — ланда! Далее, направо, Морбиан с его изрезанными берегами, а еще дальше едва видимая белая полоска земли — Ванн,

озаренный лучом солнца, не знаю как пробравшимся между тучами. А там, совсем уж далеко, огромный мыс — Киберон!

И все такое грустное, меланхоличное, унылое. Ветер плакал, пробегая по этим мрачным пространствам; я действительно находился в стране призраков: в этих стенах среди низкорослого свистящего утесника, в этих ямах со стоячей водой — я чувствовал — витали легенды.

На следующий день я прошел через Сен-Жильдас, где словно бродит тень Абеляра. В Пор-Навало матрос, перевозивший меня через пролив, рассказывал мне о своем отце-шуане, о старшем брате-шуане, о дяде-священнике, тоже шуане. Все трое погибли… Его вытянутая рука показывала на Киберон.

В Локмарьакере я вступил на родину друидов. Один бретонец показал мне стол Цезаря: гранитное чудище, поддерживаемое колоссами, — потом заговорил со мной о Цезаре, словно о каком-то старике, которого знавал лично.

Продолжая свой путь вдоль берега между ландой и океаном, к вечеру с вершины кургана я увидел перед собой усеянные камнями поля Карнака.

Они казались живыми, эти выстроившиеся

нескончаемыми рядами камни, то исполинские, то крошечные, четырехугольные, продолговатые, плоские, похожие на тощие или пузатые тела. Если долго на них смотреть, начинает казаться, что они шевелятся, наклоняются, живут!

Среди них можно заблудиться. Иногда эту гранитную толпу разделяет стена; обойдешь ее, а там опять те же странные фигуры, похожие то на ряды деревьев по бокам аллей, то на солдат в строю, то на страшные привидения.

Сердце начинает биться, вас охватывает волнение, вы уноситесь мысленно в прошлое, предаетесь суеверным настроениям.

Я стоял неподвижно, изумленный и очарованный, как вдруг меня испугал внезапный шум за спиной, и я мгновенно обернулся. Старик, одетый в черное, с книгой под мышкой, поклонившись, сказал мне:

— Так вы, сударь, осматриваете наш Карнак?

Я поделился с ним своим восхищением и признался, что он напугал меня. Он продолжал:

— Здесь, сударь, самый воздух так насыщен поверьями, что все боятся сами не зная чего. Вот уж пять лет, как я произвожу раскопки под этими камнями: почти каждый из них скрывает какую-нибудь тайну, — и подчас мне думается,

что у них у всех есть душа. Попадая на парижские бульвары, я посмеиваюсь над своей глупостью, но стоит мне вернуться в Карнак — и я опять верующий; я верую бессознательно, у меня нет определенной религии, но я принимаю их все.

И, ударив ногой о землю, он добавил:

— Религия владеет этой землей. Никогда не надо шутить над угасшими верованиями, ибо ничто не умирает. Мы, сударь, находимся с вами у друидов, будем же уважать их веру.

Солнце опустилось в море, но небо еще хранило красный отблеск, отливавший кровью на больших камнях вокруг нас.

Старик улыбнулся.

— Представьте себе, эти ужасные верования так сильны здесь, что у меня вот на этом самом месте было видение! Да что там — мне явился настоящий призрак! Вот здесь, на этом дольмене, однажды вечером, в этот самый час, я ясно увидел волшебницу Коридвен, варившую чудодейственное снадобье.

Я прервал его вопросом, кто такая волшебница Коридвен.

Он возмутился:

— Как, вы не знаете жены бога Гю и матери корриганов?

— Нет, признаюсь. Если это легенда, расскажите мне ее.

Я уселся рядом с ним на менгир.

Он начал:

— У бога Гю, отца друидов, была жена, волшебница Коридвен. Она родила ему троих детей: Мор-Вро, Крейз-Виу, самую прекрасную на свете девушку, и Аравик-Дю, отвратительнейшее из живых существ.

Коридвен, по материнской любви своей, захотела хоть чем-нибудь одарить этого безобразного сына и решила напоить его зельем, от которого он получит дар прорицания.

Снадобье должно было вариться целый год. Волшебница поручила охрану сосуда с напитком слепому по имени Морда и карлику Гвиу.

Когда год подходил к концу, у сторожей ослабело усердие, немного драгоценной влаги пролилось, и три капли упало на палец карлика, который, поднеся его к губам, тут же получил дар провидения. Сосуд тотчас сам собой разбился, а появившаяся Коридвен бросилась на Гвиу, но тот пустился бежать.

Погоня уже настигала его, и, чтобы бежать быстрее, он обернулся зайцем, но волшебница тотчас превратилась в гончую собаку и понеслась

за ним. Она чуть не схватила его на берегу реки, но, обернувшись рыбой, он нырнул в воду. Тогда появилась громадная выдра, которая совсем было нагнала его, так что ему удалось спастись, только превратясь в птицу. Но вот с высоты небес ринулся большой ястреб, раскинул крылья, раскрыл клюв: это была все та же Коридвен, и Гвиу, содрогаясь от страха, упал хлебным зернышком на кучу пшеницы.

Тогда прибежала большая черная курица и проглотила его. Отомщенная Коридвен отдыхала, когда вдруг почувствовала, что будет снова матерью.

Хлебное зерно проросло в ней, и родился ребенок, которого Гю пустил по воде в камышовой люльке. Но ребенок, спасенный сыном короля, Гуидно, стал гением, духом ланды, корриганом. Таким образом, все маленькие сказочные существа, карлики, блуждающие духи, которые, водятся в этих камнях, произошли от Коридвен. Говорят, что они живут под землей, в ямках, и по вечерам выходят побегать в утеснике. Посидите здесь подольше, сударь, среди этих зачарованных памятников, всмотритесь попристальней в какой-нибудь лежащий на земле дольмен, и скоро вы услышите шорох, увидите, как шевелится

камень, и задрожите от страха, разглядев лицо корригана, который смотрит на вас из-под гранитной глыбы, приподняв ее головой. А теперь пойдемте обедать.

Наступила ночь, безлунная, совершенно черная, наполненная шумом ветра. Протянув руки, я шел ощупью, натыкаясь на высокие камни; выслушанный рассказ, эта местность, мои мысли — все приняло такую сверхъестественную окраску, что я совсем бы не удивился, если бы вдруг какой-нибудь корриган прошмыгнул у меня под ногами.

На другой день я возобновил свой путь через ланды, деревушки и города — Лориен, Кемперле, такой красивый на фоне долины, и Кемпер!

От Кемпера большая дорога идет берегом, пересекает долины, проходит мимо угрюмого, заросшего травой озера и приводит, наконец, в Пон-л'Аббе, маленький городок, самый что ни на есть бретонский среди всей этой старозаветнобретонской Бретани, которая тянется от Морбиана до мыса Ра.

При входе в город стоит старинный замок с башнями, купающий подножие своих стен в унылом-унылом пруду, над которым летают дикие птицы. Здесь берет начало река, по которой

мелкие суденышки могут подниматься до города. По узким улицам с вековыми домами проходят мужчины в громадных широкополых шляпах, в роскошно расшитых жилетах и в четырех куртках, надетых одна на другую: верхняя, величиной с ладонь, едва закрывает лопатки, а нижняя спускается чуть ли не до колен.

У девушек, рослых, красивых, свежих, суконный лиф стягивает стан наподобие лат и так уродует грудь, что и не догадываешься о пышных формах бретонок. На головах у них чрезвычайно странные уборы. Две расшитые пестрые розетки на висках обрамляют лицо и придерживают волосы, которые спущены вниз, а потом подобраны на макушке под своеобразный чепец, нередко затканный золотом и серебром.

Дорога снова выходит из этого маленького, позабытого здесь средневекового городка. Она идет через ланду, кое-где поросшую утесником. Там и сям пасутся у дороги три-четыре коровы, всегда вместе с бараном. Вот уже несколько дней вы спрашиваете себя, почему коров непременно сопровождает баран. Этот вопрос надоедливо встает перед вами, донимает вас, становится навязчивой мыслью. Вы ищете человека, который мог бы дать объяснение. Найти его непросто,

так как случается, что, бродя целую неделю по деревням, вы не встретите никого, кто знал бы хоть слово по-французски. Наконец какой-нибудь кюре, идущий размеренным шагом с требником в руках, вежливо объяснит вам, что этот баран является долей, предназначенной для волка.

Баран стоит меньше коровы, а так как схватить его можно, не подвергаясь опасности, волк всегда его и предпочитает. Но часто случается, что храбрые коровы образуют каре вокруг своего невинного товарища и принимают на острые рога воющего зверя, пожелавшего отведать свежатины.

Волк! Здесь вы услышите и о том легендарном волке, которым нас всех пугали в детстве: о белом волке, большом белом волке, которого видел каждый охотник, но никто никогда не убивал.

По утрам его не встречают. Он появляется зимой около пяти часов, на закате солнца, бежит по оголенной вершине холма, скользит длинной тенью на фоне неба и исчезает.

Почему никто не убил его до сих пор? А вот почему. Впрочем, это только догадка. Плотные охотничьи завтраки начинаются около часу дня и кончаются в четыре. Пьют много, толкуют о белом волке. Не мудрено, что, выйдя из-за стола,

охотники его нередко видят. И удивительно ли, что его не убивают?

Я шел все вперед по серой, окованной гранитом дороге, блестевшей под лучами солнца. По обеим сторонам плоская, кое-где поросшая утесником равнина. При взгляде на большие повалившиеся камни в памяти оживает воспоминание о друидах, а ветер, дующий понизу, свистит в колючем кустарнике. Иногда земля вздрагивает от глухого шума, как бы от далекого пушечного выстрела; это значит, что я уже близко от Пенмара, где море плещется в гулких пещерах. Обрушиваясь в эти провалы, волны сотрясают весь берег, и в бурную погоду грохот их слышен даже в Кемпере.

Давно уже стала видна широкая полоса серых волн, которые словно высятся над этой низкой и голой местностью. Скалы, груды подводных острых камней, разбивая волны, повсюду высовывают из воды свои черные головы, окруженные кольцом пены и как будто истекающие слюной, а дальше, у самой воды, несколько продрогших домиков стараются укрыться за небольшими кучами камней от вечного урагана водных просторов и от соленых брызг океана.

Высокий маяк, вздрагивающий на своем скалистом подножии, врезывается в самые волны, и

сторожа рассказывают, что иногда, в неспокойные ночи, его высокий гранитный столб качает, как корабль, башенные часы плашмя летят на землю, и все висящие на стенах предметы срываются, падают и разбиваются.

От маяка до Конкета тянется полоса кораблекрушений. Здесь, точно в засаде, притаилась смерть, ужасная морская смерть, Утопительница. Ни один берег не представляет большей опасности, не внушает больших страхов, не пожирает столько человеческих жизней.

В низеньких рыбацких домиках, в грязи, вместе со свиньями, ютятся старуха мать, взрослые дочери с голыми и грязными ногами и сыновья, из которых старшему не более тридцати. Почти никогда вы не увидите здесь отца, редко — старшего сына. Не спрашивайте, где они, так как старуха протянет руку к бушующему, вздувшемуся морю, точно всегда готовому обрушиться на этот берег.

Не только коварное море пожирает здесь людей. У него есть всемогущий, еще более коварный союзник, который помогает ему каждую ночь в прожорливых поисках человеческого мяса, — алкоголь. Рыбаки знают это, сознаются в этом. «Когда бутылка полна, — говорят они, — видны подводные камни, но когда бутылка опустеет, их

больше не видать».

Берег Пенмара страшен. Сюда-то, должно быть, морские разбойники и заманивали сбившиеся с пути корабли: надев корове путы, чтобы хромала, они прикрепляли к ее рогам фонарь, внушавший обманчивую мысль, будто с этой стороны идет какой-то другой корабль.

А вот, немного правее, скала, получившая известность после ужасающей драмы. Жена одного из последних префектов Морбиана сидела на этом камне, держа на коленях маленькую дочку. Море, в нескольких метрах у ее ног, казалось спокойным, безобидным, спящим.

Вдруг одна из тех странных волн, которые носят название одиночных, поднялась из глубины, бесшумно подкралась, вздулась хребтом, вползла на утес и, как коварный злодей, унесла обеих, поглотив в одно мгновение. Таможники, проходившие вдалеке, видели только розовый зонтик, мирно плывущий по морю, уже утихшему, да высокую голую скалу, по которой струилась вода.

В течение года врачи и адвокаты спорили, доказывали, препирались, чтобы определить, кто из двух, мать или ребенок, унесенные волной, умер раньше. Топили кошек с котятами, сук со щенками, крольчих с крольчатами, чтоб устранить

всякое сомнение, ибо от этого зависел вопрос о крупном наследстве. Состояние должно было перейти к той или другой семье в зависимости от того, в маленьком тельце или в теле взрослой женщины предсмертные судороги кончились позднее.

Почти против этого рокового места стоит гранитный холм с крестом, распятие, какие встречаешь на каждом шагу в этом благочестивом крае, где кресты, очень древние, так же многочисленны, как еще более древние дольмены. Но это распятие возвышается над удивительным барельефом, изображающим в грубом и смешном виде разрешение Девы Марии от бремени. Один приезжий англичанин пришел в восторг от столь наивной скульптуры и велел установить над памятником навес, чтобы предохранить его от непогоды в этом суровом климате.

Далее вы следуете берегом, бесконечным берегом, вдоль всего залива Одьерн. Надо перебраться вброд или вплавь через две небольшие речушки, тащиться по глубокому песку или по залежам сухих водорослей, идти все время между двумя пустынями: одной движущейся, другой неподвижной, — между морем и ландой.

Вот и Одьерн, маленькая унылая пристань; ее

оживляют только пристающие и отчаливающие лодки, занятые ловлей сардин.

Утром перед уходом вместо обычного кофе с молоком вы завтракаете маленькими свежими рыбками, чуть посыпанными солью, нежными и душистыми, настоящими морскими фиалками. И вы отправляетесь на мыс Ра, этот край света, эту конечную точку Европы.

Вы поднимаетесь все выше и выше и вдруг видите перед собой два моря — налево океан, направо Ла-Манш.

Здесь идет беспрестанная борьба, сталкиваются два течения и волны, всегда грозные, опрокидывают корабли, глотают их, как мелкие конфеты.

> *О волны, сколько тайн зловещих вам известно!*
>
> *Вы ниц повергнутых страшите матерей...*

На далеко выступающем мысу нет ни единого дерева, ничего, кроме кустиков травы. На самом конце его — два маяка, и вдали на скалах повсюду торчат другие маяки. Один из них никак не удается достроить вот уже десять лет. Ярость моря разрушает упорную работу людей, по мере того как она подвигается.

Там, напротив, остров Сен, священный остров, глядит на горизонт, туда, где за Брестским рейдом вырастает из воды его опасный товарищ — остров Уэссан.

«Уэссан увидать — свою кровь проливать», — говорят матросы. Остров Уэссан самый неприступный из всех бретонских островов, и. моряки приближаются к нему с содроганием.

Высокий мыс сразу обрывается, его берег отвесно спускается в море, где бьются друг с другом волны. Но его все же огибает узенькая тропа: то она ползет по наклонным гранитным глыбам, то извивается по их гребню шириной в ладонь.

Вдруг под вами раскрывается ужасная пропасть, по стенам которой, черным, точно вымазанным чернилами, гулко передается ожесточенный шум битвы морей, происходящей внизу, в глубине этой бездны, прозванной Адом.

Хотя я стоял в ста метрах над морем, до меня долетали плевки пены, и, наклонившись над пропастью, я любовался этим бушеванием волн, как бы вздымаемых непонятной яростью.

Это был действительно ад, не описанный ни одним поэтом. И ужас охватывал меня при мысли о людях, которые низвергались туда, которых кидало волнами, кружило водоворотом, втягивало

в эту бурю между четырьмя каменными стенами, швыряло на выступ утеса, опять подхватывало прибоем и снова выбрасывало кипучими чудовищными валами.

И я продолжал путь, преследуемый этими образами, измученный сильным ветром, хлеставшим одинокий мыс.

Минут через двадцать я был в маленькой деревушке. Старый священник, читавший требник под сенью каменной стены, поклонился мне. Я спросил его, где можно переночевать, и он предложил ночлег у себя.

Час спустя, когда мы сидели вдвоем у порога его дома и говорили об этой унылой стране, наводящей тоску, мимо нас прошел мальчик-бретонец, босой, с развевающимися по ветру длинными светлыми волосами.

Священник окликнул его на местном наречии, и малыш подошел к нам; вдруг оробев, он потупил глаза и неловко опустил руки.

— Он прочтет нам наизусть духовную песню, — сказал мне священник. — Парнишка одарен большой памятью; надеюсь, из него будет толк.

И ребенок начал лепетать непонятные слова тем жалобным голосом, каким маленькие девочки читают заученные басни. Он говорил, не

останавливаясь на точках и запятых, слитно произносил слоги, точно весь отрывок состоял из одного бесконечного слова, останавливался на секунду, чтобы перевести дух, и снова принимался быстро и невнятно бормотать.

Вдруг он умолк. Он кончил. Священник ласково потрепал его по щеке.

— Хорошо, ступай.

И мальчуган убежал.

— Он прочел вам старинную духовную песню, сложенную в этой стране, — сказал мой хозяин.

— Старинную песню? — спросил я. — Известна ли она?

— О нет! Если хотите, я вам ее переведу.

И старик громким голосом, оживляясь, как будто произносил проповедь, угрожающе подняв руку и отчеканивая слова, прочел эту наивную и прекрасную духовную песню, слова которой я записал под его диктовку.

БРЕТОНСКАЯ ДУХОВНАЯ ПЕСНЯ

Ад, ад! Знаете ли вы, грешники, что такое ад?

Это печь огненная, где воет пламя, печь, рядом с которой огонь кузнечного горна, огонь, докрасна раскаляющий

печные плиты, не более, как дым!

Там никогда не увидишь света! Огонь пылает невидимо, как лихорадка. Туда никогда не войдет надежда, ибо двери запечатаны Божьим гневом.

Пламя над головами вашими, пламя вокруг вас! Вы голодны? Ешьте огонь! Вас мучит жажда? Пейте из этой реки, где расплавлено железо и сера.

Вы будете плакать целую вечность, слезы ваши сольются в целое море, и это море будет для ада ничтожнее капли воды! Ваши слезы лишь будут поддерживать пламя, а не угашать его, и вы почувствуете, как кипит мозг ваших костей.

Потом снимут вам головы с плеч, и все же вы будете жить! Демоны станут играть вашими головами, словно мячом, поджаривать ваши тела на горящих углях, вы почувствуете, как обугливается ваша плоть, и все же будете жить.

И будут там еще иные муки. Вы услышите упреки, проклятия, хулу.

Отец скажет сыну своему: «Будь про-

клят, сын от плоти моей, ибо это для тебя я собирал богатства хищением!»

И сын ответит: «Будь проклят, проклят, отец мой, ибо это ты вселил в меня гордыню и привел меня сюда».

И дочь скажет матери своей: «Горе тебе тысячу раз, мать моя! Горе тебе, вместилище порока, ибо ты предоставила мне свободу, и я отреклась от бога!»

Мать больше не узнает детей своих, и она ответит: «Да будет проклятье на дочерях моих и на сыновьях моих, проклятье на сыновьях дочерей моих и на дочерях сыновей моих!»

И вопли ее будут раздаваться вечно. И муки ее пребудут без конца. А этот огонь!.. Этот огонь!.. Божий гнев зажег его, этот огонь!.. Он вечно будет гореть, неугасимый, бездымный; не ослабевая, будет проникать он до глубины ваших костей.

Вечность!.. Горе!.. Никогда не перестанешь умирать, никогда не перестанешь тонуть в океане мучений.

О «никогда»! – это слово необъятно, как море. О «никогда»! Сколько в тебе воплей, слез и отчаяния. Никогда! Как ты безжалостно! Страх вселяешь ты!

Старик священник умолк.

— Не правда ли, это ужасно? — спросил он, помолчав.

Издали до нас доносился неумолчный шум волн, остервенело бивших о мрачный скалистый берег. Я вспомнил зловещую ревущую бездну, полную кипящей пены, настоящее пристанище смерти, и чувство, близкое к мистическому страху, от которого содрогаются богомольцы, сдавило мне сердце.

С восходом солнца я отправился дальше, рассчитывая до наступления ночи достигнуть Дуарненеза.

Когда я разыскивал тропинку таможенников, ко мне подошел какой-то человек, говоривший по-французски — он в течение четырнадцати лет плавал на судах государственного флота, — и мы спустились вместе к бухте Мертвых, ограниченной с одной стороны мысом Ра.

Вид на этот огромный песчаный амфитеатр незабываемо грустен, тревожен, печален; он вселяет в вас непобедимое желание уйти, от-

правиться дальше. Голая, поросшая мелким утесником долина с мрачным озером, с озером, которое кажется мертвым, прилегает к жуткому песчаному берегу.

Все это выглядит подлинным преддверием адской обители. Желтый песок тянется унылой и ровной полосой до длинного, расположенного напротив Ра гранитного мыса, о который разбиваются бешеные волны.

Издали мы увидели трех мужчин, неподвижно стоящих на песке. Мой спутник казался удивленным, потому что никто никогда не посещает эту мрачную бухту. Но, подойдя ближе, мы увидели, что рядом с ними лежит что-то длинное, будто врытое в прибрежный песок; иногда они наклонялись, дотрагивались до этого предмета и опять выпрямлялись.

Это был мертвец, утопленник, матрос из Дуарненеза, пропавший на прошлой неделе с четырьмя товарищами. С неделю их ждали у этого места, куда течение приносит трупы. Он первым из четырех прибыл на последнее свидание.

Но моего проводника занимало другое: утопленники не редкость в этом краю, — он повел меня к унылому озеру и, предложив наклониться над водой, показал стены города Ис. Это были

едва различимые обломки каких-то древних каменных построек. Потом я напился из родника, бежавшего тоненькой струйкой, — по его словам, это была лучшая вода во всем крае. Потом он рассказал мне историю исчезнувшего города, как будто это событие случилось не так давно и произошло на глазах его деда.

У одного доброго и слабохарактерного короля была дочь, порочная и прекрасная, столь прекрасная, что все мужчины, увидав ее, сходили по ней с ума, и столь порочная, что она отдавалась всем, а потом приказывала убивать своих любовников: сбрасывать в море с вершин соседних скал.

Ее необузданные страсти были, говорят, неистовей бешеных морских волн и неутолимей их. Ее тело было, точно очаг, на котором сгорали души, уносимые потом Сатаной.

Бог потерял терпение и открыл свою волю святому старцу, жившему в этой стране. Святой поведал об этом королю; тот не решился наказать и запереть свою любимую дочь, но предупредил ее о Божьем гневе. Она оставила его слова без внимания и, наоборот, стала предаваться такому распутству, что весь город, подражая ей, превратился в город сладострастия, откуда были изгнаны всякий стыд и добродетель.

Однажды ночью Бог разбудил святого, чтобы возвестить ему о наступившем часе возмездия. Святой поспешил к королю, который один во всей стране оставался добродетельным. Король велел оседлать коня, а другого дал святому, и тот сел на него. Послышался сильный шум, и испуганные всадники увидели море, которое, бушуя и рокоча, все ближе надвигалось на берег. Тогда королевская дочь показалась в своем окошечке, взывая: «Отец мой, ужели вы допустите мою гибель?» И король посадил ее на лошадь позади себя и умчался через одни городские ворота, в то время как море вливалось в другие.

Они скакали в ночном мраке, но волны догоняли их с ревом и страшным грохотом. Вот уже скользкая пена стала касаться лошадиных копыт, и святой старец сказал королю:

— Государь, сбросьте дочь вашу с седла, иначе вы погибнете.

А дочь кричала:

— Отец, отец, не покидайте меня!

Но святой привстал на стременах, голос его загремел как гром, и он возвестил:

— Это Господняя воля!

Тогда король оттолкнул от себя дочь, которая цеплялась за него, и сбросил ее с крупа коня. Вол-

ны тотчас же подхватили ее и затем обратились вспять.

А печальное озеро, в которое погружены эти развалины, — это воды, затопившие некогда осквернённый и разрушенный город.

Эта легенда, как видите, похожа на историю Содома в переделке для дам.

Событие же, о котором говорится точно о случившемся вчера, произошло, кажется, в четвертом веке после Рождества Христова.

К вечеру я пришел в Дуарненез.

Это рыбацкий городишко, который был бы самым знаменитым из морских курортов Франции, если бы не его уединенное местоположение.

Что составляет всю красоту и прелесть Дуарненеза, это залив. Город расположен в глубине его и как будто любуется на мягкие волнистые очертания берегов: изгибы их очаровательны, а вдалеке гребни скал тонут в бело-голубых, легких и прозрачных, туманах, которые наплывают с моря.

На другой день я отправился в Кемпер, а ночевал уже в Бресте, чтобы на рассвете вернуться поездом в Париж.

Усталость

Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфелева башня чересчур мне надоела.

Она не только видна отовсюду, но вообще попадается вам на каждом шагу: она сделана из всех возможных материалов и преследует вас из всех витрин как неотвязный, мучительный кошмар.

Впрочем, не только она внушила мне непреодолимое желание пожить некоторое время в одиночестве, но и все то, что делалось вокруг нее, внутри ее, на ней и рядом с ней. И как в самом деле смеют газеты говорить о новой архитектуре по поводу этого металлического остова! Ведь архитектура — наиболее непонятное и наиболее забытое в наши дни искусство, а также, пожалуй, наиболее эстетическое, таинственное и насыщенное идеями.

Архитектура имела то преимущество, что на протяжении столетий, так сказать, символизировала каждую эпоху и в очень небольшом количестве типичных памятников подводила итог манере думать, чувствовать и мечтать, присущей данному народу и данной цивилизации.

Несколько храмов и церквей, несколько дворцов и замков воплощают в себе почти всю мировую историю искусства; гармонией линий и прелестью орнамента они лучше всяких книг раскрывают нашему взору все изящество и величие своей эпохи.

Но я спрашиваю себя, что будут думать о нашем поколении, если только в ближайшее время какое-нибудь восстание не смахнет эту высокую тощую пирамиду железных лестниц, этот гигантский уродливый скелет, основание которого как будто предназначено для мощного циклопического памятника и вместо этого завершается убогим недоноском — тощим и нелепым профилем фабричной трубы.

Говорят, что это разрешение какой-то проблемы. Пусть так, но ведь она бесполезна. И этой устарелой затее возобновить наивную попытку строителей Вавилонской башни я скорее предпочел бы тот замысел, который еще в XII веке возник у архитекторов Пизанской колокольни.

Мысль построить эту прелестную башню с восемью ярусами мраморных колонн наклоненной, словно она вот-вот упадет, доказать изумленному потомству, что центр тяжести — лишь ненужный предрассудок инженеров, что здания могут обхо-

диться без него и все же быть очаровательными и привлекать по прошествии семи веков больше удивленных посетителей, чем привлечет их Эйфелева башня по прошествии семи месяцев, — это, конечно, тоже проблема, если уж говорить о проблеме, но гораздо более оригинальная, чем проблема этой гигантской металлической махины, размалеванной во вкусе краснокожих.

Мне известно, что, по другой версии, колокольня наклонилась сама собой. Как знать! Изящный памятник хранит свою тайну, вечно обсуждаемую и навек неразгаданную.

Впрочем, что мне за дело до Эйфелевой башни? Она была, по сакраментальному выражению, лишь маяком международной ярмарки, воспоминание о которой будет преследовать меня как кошмар, как воплощение того отвратительного зрелища, каким представляется человеку брезгливому веселящаяся людская толпа.

Я далек от мысли критиковать это колоссальное политическое начинание — Всемирную выставку, которая показала всему свету, и притом в самый нужный момент, силу, жизнеспособность, размах деятельности и неисчерпаемые богатства той изумительной страны, которая именуется Францией.

Было доставлено большое удовольствие, большое развлечение и показан великий пример народам и разноплеменной буржуазии. Они от души повеселились. Значит, и мы, и они поступили прекрасно.

Но я убедился с первого же дня, что не создан для удовольствий этого рода.

Посетив и осмотрев с глубоким восхищением галерею машин и фантастических открытий современной науки, механики, физики и химии, убедившись в том, что танец живота забавен только в тех странах, где движется обнаженный живот, и что остальные арабские пляски обладают известной прелестью я красочностью только в белых алжирских ксарах, я сказал себе, что ходить время от времени на выставку хотя и утомительно, но занимательно, и что отдыхать от нее можно в другом месте — у себя или у друзей.

Но я не подумал о том, во что превратится Париж, наводненный обитателями Вселенной.

С утра улицы полны народа, по тротуарам непрерывно текут толпы, как вздувшиеся потоки. Все это спешит на выставку, либо с выставки, либо снова на выставку. На мостовой экипажи тянутся, как вагоны бесконечного поезда. Все они заняты, и ни один кучер не согласится везти

вас куда-нибудь, кроме как на выставку или в конюшню, если ему нужно перепрягать. У клубов — ни одной кареты: они обслуживают теперь приезжих растакуэров[2]; в ресторанах нет ни одного свободного столика, и вы не сыщете ни одного приятеля, который обедал бы дома или согласился бы пообедать у вас.

Если вы его пригласите, он примет ваше приглашение при условии отправиться обедать на Эйфелеву башню. Там веселее. И все, словно повинуясь какому-то приказу, приглашают вас туда каждый день недели то позавтракать, то пообедать.

В этой жарище, в этой пыли, в этой вони, в этой толпе подвыпившего, потного простонародья, среди обрывков сальной бумаги, валяющихся или летающих по ветру, среди запахов колбасы и пролитого на скамейках вина, среди дыхания трехсот тысяч ртов, благоухающих всем, что ими съедено, среди скученности, толкотни, давки всех этих разгоряченных тел, в этом смешавшемся поте всех народов, усеивающих своими блохами все дорожки и все скамейки, еще можно было раз-другой с брезгливостью и с любопытством

---

[2] Примечания: 2

Растакуэр — подозрительный тип, авантюрист, прожигатель жизни.

отведать стряпни воздушных трактирщиков — я готов был допустить это, — но меня поражало, что можно ежедневно обедать в такой грязи и сутолоке, как это делали люди хорошего общества, изысканного общества, избранного общества, утонченного и чопорного общества, которых обычно мутит от одного вида трудового и пахнущего человеческой усталостью народа.

Впрочем, это служит неопровержимым доказательством полного торжества демократии.

Нет больше аристократических каст, родов, аристократической чувствительности. У нас есть только богатые и бедные. Никакая иная классификация не может установить различие между социальными ступенями современного общества.

Утверждается аристократия иного порядка, которая, по всеобщему признанию, только что одержала победу на Всемирной выставке: это аристократия науки, или, вернее, аристократия научной промышленности.

Что касается искусств, то они исчезают; самое понятие о них стирается даже у избранного слоя нации, который без протеста взирал на возмутительную роспись центрального купола и нескольких соседних зданий.

У нас начинает распространяться современный итальянский вкус, и зараза эта так сильна, что даже уголки, отведенные художникам на этом большом простонародном и буржуазном базаре, который только что закрылся, и те носили на себе отпечаток рекламы и ярмарочной шумихи.

Я бы отнюдь не протестовал против пришествия и воцарения настоящих ученых, если бы сама природа их трудов и открытий не убеждала меня в том, что они прежде всего ученые от коммерции.

Пожалуй, это не их вина. Но можно было бы сказать, что человеческая мысль зажата между двумя стенами, переступить через которые уже не придется: между промышленностью и торговлей.

В начальной стадии цивилизации душа человека устремилась к искусству, но можно подумать, что некое ревнивое божество сказало ей: «Запрещаю тебе впредь и думать об этом. Обрати отныне свои помыслы только на животную сторону жизни, и тогда я дам тебе возможность сделать множество открытий».

И право, в наши дни пленительное и мощное волнение художественных эпох как будто угасло, а взамен этого пробуждаются к деятельности

умы совсем иного рода, которые изобретают всевозможные машины, диковинные аппараты, механизмы, сложные, как живые тела, или же достигают необыкновенных, достойных удивления результатов, соединяя различные вещества. И все это для того, чтобы удовлетворять физические потребности человека или чтобы убивать его.

Идеальные построения, так же как и чистая, бескорыстная наука, наука Галилея, Ньютона, Паскаля, представляются нам чем-то запретным, а воображение наше словно все сильнее и сильнее притягивают открытия, полезные для жизни.

Но разве гений того, кто единым взлетом своей мысли перенесся от падения яблока к великому закону, управляющему мирами, не порожден началом более божественным, чем проницательный ум американского изобретателя, чудодейственного фабриканта звонков, звуковых и световых приборов?

Не в этом ли тайный порок современной души, признак ее неполноценности, несмотря на все ее торжество?

Возможно, что я совершенно неправ. Во всяком случае, все эти вещи, возбуждая наш интерес, не могут, подобно древним формам мысли, увлечь

нас, своевольных рабов мечты об утонченной красоте, мечты, которая преследует нас и портит нам жизнь.

Я почувствовал, что мне было бы приятно снова увидать Флоренцию, и отправился в путешествие.

Итальянское побережье

Все небо покрыто облаками. Зарождающийся сероватый день пробивается сквозь туман, поднявшийся за ночь и простирающий между зарей и нами свою темную стену, местами более густую, а местами почти прозрачную.

Сердце сжимается от смутного страха, что, может быть, этот туман до вечера будет застилать пространство траурным покровом, и то и дело подымаешь глаза к облакам с тоскливым нетерпением, как бы с молчаливой мольбой.

Однако, глядя на светлые полосы, отделяющие более плотные массы тумана друг от друга, догадываешься, что над ними дневное светило озаряет голубое небо и их белоснежную поверхность. Надеешься и ждешь.

Мало-помалу туман бледнеет, редеет, словно тает. Чувствуется, что солнце сжигает его, съедает, подавляет своим зноем и что обширный свод облаков, слишком слабый, подается, гнется, расползается и трещит под непреодолимым напором света.

Вдруг среди туч загорается точка, в ней свер-

кает свет. Пробита брешь, проскальзывает косой длинный луч и, расширяясь, падает вниз. Кажется, что в этом отверстии неба занимается пожар. Кажется, что это раскрывается рот, что он увеличивается, пламенеет, что его губы пылают и он выплевывает на волны целые потоки золотистого света.

Тогда сразу во множестве мест свод облаков ломается, рушится и пропускает сквозь множество ран блестящие стрелы, которые дождем изливаются на воду, сея повсюду лучезарное веселье солнца.

Воздух освежился за ночь; слабый трепет ветра, только трепет, ласкает и щекочет море, заставляя чуть-чуть вздрагивать его синюю переливающуюся гладь. Перед нами по скалистому конусу, широкому и высокому, который словно вышел на берег прямо из волн, взбегает остроконечными крышами город, окрашенный в розовый цвет людьми, как горизонт окрашен победоносной зарей. Несколько голубых домов образуют ласкающие взор пятна. Кажется, что перед нами избранное обиталище сказочной принцессы из «Тысячи и одной ночи».

Это Порто-Маурицио.

Когда его увидишь вот так, с моря, уже не сто-

ит к нему причаливать, но я все-таки сошел на берег.

В городе одни развалины. Дома словно рассыпаны по улицам. Целый квартал обрушился и скатился к берегу — может быть, вследствие землетрясения; по всему склону горы уступами громоздятся треснувшие стены с разрушенным гребнем, остатки старых оштукатуренных домов, открытых ветру с моря. И окраска их, такая красивая издали, так гармонирующая с пробуждением дня, представляет собой вблизи на этих лачугах, на этих трущобах лишь безобразную мазню, выцветшую, поблекшую от солнца и смытую дождями.

А по длинным улицам, по извилистым проходам, заваленным камнями и мусором, носится запах, неописуемый, но вполне объяснимый при виде подножия стен запах, столь сильный, столь упорный, столь едкий, что я возвращаюсь на яхту с отвращением и с чувством тошноты.

А между тем этот город — административный центр провинции. Когда вы вступаете на итальянскую землю, он словно встречает вас как знамя нищеты.

Напротив него, на другом берегу того же залива, лежит городок Онелья, также грязный, очень

вонючий, хотя вид у него более оживленный и не столь безнадежно нищий.

В воротах королевского коллежа, открытых настежь по случаю каникул, сидит старуха и чинит отвратительно засаленный матрац.

Мы входим в савоннскую гавань.

Несколько огромных труб фабрик и чугунолитейных заводов, ежедневно питаемых четырьмя или пятью большими английскими пароходами-угольщиками, изрыгают в небо из своих гигантских пастей извилистые клубы дыма, которые тотчас же обрушиваются на город дождем черной сажи; ветер несет этот снег преисподней из квартала в квартал.

Любители каботажного плавания, не заходите в эту гавань, если вам хочется сохранить в чистоте белые паруса ваших маленьких судов.

Но все же Савонна мила, это типичный итальянский город с узкими забавными улицами, с суетливыми торговцами с обилием разложенных прямо на земле фруктов, огненно-красных помидоров, круглых тыкв, черного или желтого винограда, прозрачного и словно напоенного светом, зеленого салата, сорванного наспех, листья которого так густо рассыпаны по мостовой, что кажется, будто ее заполнила трава.

Возвращаясь на яхту, я вдруг увидел на набережной неаполитанскую баланчеллу, а за огромным столом во всю длину ее палубы нечто необычайное, как бы пиршество убийц.

Перед тридцатью смуглыми матросами разложено от шестидесяти до ста четвертушек взрезанных пурпурных арбузов, красных, как кровь преступления; они окрашивают своим цветом весь корабль и вызывают с первого взгляда волнующие образы убийств, избиений, растерзанного мяса.

Можно подумать, что эти веселые ребята уплетают за обе щеки окровавленную говядину, точно дикие звери в клетках. Это праздник. Приглашены также команды соседних судов. Все довольны. Красные колпаки на их головах не так красны, как мякоть арбуза.

Когда настала ночь, я вернулся в город.

Звуки музыки привлекали меня, и я прошел через весь город.

Мне попался проспект, по которому медленно двигались группами буржуа и простолюдины, направляясь на вечерний концерт, даваемый два-три раза в неделю муниципальным оркестром.

В этой музыкальной стране такие оркестры, даже в самых маленьких городках, не уступают

оркестрам наших хороших театров. Мне припомнился тот, который я слушал прошлой ночью с палубы яхты; воспоминание о нем сохранилось у меня как о самой сладостной ласке, какую мне когда-либо дарило ощущение.

Проспект кончался площадью, переходившей в набережную; там у самого взморья, в тени, едва освещенной разбросанными желтыми пятнами газовых фонарей, этот оркестр и играл — не знаю только, что именно.

Волны, довольно крупные, хотя ветер с моря совершенно затих, разливали по берегу свой однообразный и равномерный шум в ритм живому пению инструментов, а с лилового небосклона, почти блестящего лилового оттенка, позолоченного неисчислимой звездной пылью, нисходила на нас темная легкая ночь. Она укутывала прозрачной тенью молчаливую, чуть шепчущую толпу, которая медленно прохаживалась вокруг группы музыкантов или сидела на скамейках бульвара, на больших камнях, лежащих вдоль набережной, на огромных балках, сложенных на земле возле высокого деревянного остова большого строящегося корабля с еще раскрытыми боками.

Не знаю, красивы ли савойские женщины;

знаю только, что по вечерам они почти всегда прогуливаются с непокрытой головой и что у каждой из них в руке веер. Так прелестно это безмолвное биение крыльев, белых, пестрых или черных, чуть видных, трепещущих, словно попавшие в плен большие ночные бабочки. У каждой встречной женщины, в каждой гуляющей или отдыхающей группе снова и снова видишь это порхание плененных, дрожащих лепестков, их слабую попытку взлететь, и они словно освежают вечерний воздух, примешивая к нему что-то кокетливое, женственное, что так сладостно вдыхает мужская грудь.

И вот среди этого трепетания вееров, среди всех этих ничем не прикрытых женских волос, окружавших меня, я предался глупейшим мечтам, навеянным воспоминаниями о волшебных сказках, как, бывало, мечтал в коллеже, в холодном дортуаре, вспоминая, прежде чем заснуть, прочитанный тайком под крышкой парты роман. Так порой в глубине моего состарившегося сердца, отравленного недоверием, пробуждается на несколько мгновений наивное сердечко мальчугана.

Одно из самых красивых зрелищ на свете — это вид на Геную с моря.

Город поднимается в глубине залива, у подножия горы, словно выходя из воды. Вдоль обоих берегов, закругляющихся вокруг, словно обнимая, защищая, лаская его, расположено пятнадцать маленьких городков — соседей, вассалов, слуг, — светлые домики которых отражаются и купаются в воде. Налево от своей покровительницы — Коголето, Аренцано, Вольтри, Пра, Пельи, Сестри-Поненте, Сан-Пьер д'Арена, а справа — Стурла, Кварто, Квинто, Нерви, Больяско, Сори Рекко и Камольи — последняя белая точка на мысе Портофино, замыкающем Генуэзский залив с юго-востока.

Генуя поднимается над своим огромным портом на первые уступы Альп, которые высятся за ней, изгибаясь гигантской стеной. На дамбе стоит очень высокая квадратная башня, маяк, так называемый фонарь, похожий на непомерно длинную свечу.

Прежде всего попадаешь во внешнюю гавань, в обширный, прекрасно защищенный бассейн, где шныряет в поисках работы флотилия буксирных пароходов; затем, обогнув восточный мол, вы оказываетесь в самой гавани, населенной целым полчищем кораблей, красивых кораблей Востока и Юга самых очаровательных оттенков — тартан,

баланчелл, магон, расписанных, оснащенных парусами и мачтами с совершенно неожиданной изобретательностью, несущих на себе голубых и золоченых мадонн, святых, выпрямившихся на носу корабля, и причудливых зверей, которые тоже являются их священными покровителями.

Весь этот флот с его мадоннами и талисманами выстроен вдоль набережных, а своими острыми и разнокалиберными носами обращен к центру бассейна. Далее видны распределенные по пароходным компаниям мощные железные пароходы, узкие, высокие, с массивными и изящными формами. Среди этих морских странников попадаются сплошь белые корабли, большие трехмачтовики, или бриги, облаченные, как арабы, в ослепительную одежду, по которой скользят солнечные лучи.

Если нет ничего красивее входа в гавань, то нет ничего грязнее входа в город. Бульвар на набережной — это болото нечистот, а узкие извилистые улицы, стиснутые, как коридоры, между двумя неровными рядами непомерно высоких домов, непрестанно вызывают тошноту своими омерзительными испарениями.

Генуя производит то же впечатление, что Флоренция и, еще более, Венеция, — впечатление

в высшей степени аристократического города, оказавшегося во власти черни.

Здесь все время приходят на ум суровые вельможи, которые сражались или торговали на море, а затем построили на деньги, полученные от военной добычи, от пленников или от торговли, те дивные мраморные дворцы, которые и поныне стоят на главных улицах города.

Когда попадаешь в эти великолепные жилища, отвратительно размалеванные потомками великих граждан горделивейшей из республик, и когда сравниваешь их стиль, их дворы, сады, портики, внутренние галереи, всю эту декоративную и великолепную планировку здания с варварской роскошью самых красивых особняков современного Парижа, с дворцами миллионеров, которые не знают толку ни в чем, кроме денег, которые не в состоянии измыслить и пожелать что-нибудь новое, прекрасное и создать это при помощи своего золота, — начинаешь постигать, что подлинная утонченность ума, понимание изысканной красоты мельчайших форм, совершенства пропорций и линий исчезло из нашего демократизированного общества, этой смеси богатых финансистов, лишенных вкуса, и выскочек, лишенных традиций.

Интересно отметить эту банальность современных особняков. Пройдитесь по старинным генуэзским дворцам, и вы увидите вереницу парадных дворов с галереями и колоннадами и мраморные лестницы невероятной красоты, причем все они по-разному задуманы и выполнены истинными художниками для людей с развитым и требовательным вкусом.

Обойдите старинные французские замки, и вы найдете в них те же стремления к постоянному обновлению стиля и орнамента.

А потом пойдите в богатейшие дома современного Парижа. Вы будете восхищаться в них любопытными старинными вещами, тщательно занесенными в каталоги, пронумерованными, выставленными под стеклом соответственно их рыночной ценности, установленной экспертами, но вас никогда не поразит оригинальность и новизна отдельных частей самого жилища.

Архитектору поручают выстроить великолепный дом ценой несколько миллионов франков, а платят ему пять-десять процентов стоимости работ по украшению здания, которые он должен предусмотреть в своем плане.

Обойщику на несколько иных условиях поручают отделать дом. Так как этим дельцам хорошо

известно прирожденное отсутствие художественного чутья у клиента, они и не рискуют предлагать ему что-нибудь новое, а довольствуются тем, что более или менее повторяют уже сделанное ими раньше для других.

После того как осмотришь в Генуе старинные и благородные жилища и полюбуешься несколькими картинами, особенно же тремя чудными творениями великого мастера кисти по имени Антонис Ван Дейк, остается лишь осмотреть Кампо-Санто, современное кладбище, музей надгробных изваяний, самый оригинальный, самый удивительный, самый жуткий и, пожалуй, самый комический музей на свете. Огромная галерея опоясывает четырехугольный монастырский двор, который покрыт, как снегом, белыми надгробными плитами бедняков; по этой галерее вы проходите мимо вереницы мраморных буржуа, оплакивающих своих покойников.

Что за странность! Исполнение этих фигур свидетельствует о замечательной искусности, о подлинной талантливости мастеров. Ткань платьев, курток, панталон изображена с поразительным мастерством. Я видел, например, муаровое платье, причем переливы были с невероятной правдоподобностью переданы на

отчетливых складках материи. И вместе с тем трудно представить себе что-либо более уродливо карикатурное, более чудовищно вульгарное, недостойно пошлое, чем эти люди, оплакивающие своих любимых родственников.

Чья здесь вина? Скульптора ли, который в физиономиях своих моделей не разглядел ничего, кроме вульгарности современного буржуа, и не сумел найти в них тот высший отблеск человечности, который так хорошо постигли фламандские художники, с величайшим мастерством изображая самые обыденные и некрасивые типы своего народа? Или, может быть, это вина буржуа, которого низменная демократическая цивилизация отшлифовала, как море шлифует гальку, соскабливая, стирая его отличительные черты и лишив его в результате такого обтесывания последних признаков оригинальности, которыми природа некогда, казалось, наделяла каждый общественный класс?

Генуэзцы, видимо, очень гордятся этим изумительным музеем, сбивающим с толку критику.

Начиная от Генуэзской гавани до мыса Портофино, между синевой моря и зеленью горы, по взморью тянутся, как четки, города — целая россыпь маленьких домиков. Юго-восточный бриз

вынуждает нас лавировать. Он не очень силен, но внезапные его порывы накреняют яхту, гонят рывками вперед, словно коня, закусившего удила, и два валика пены бурлят у ее носа, как слюна морского зверя. Потом ветер стихает, и судно, успокоившись, снова мирно идет своим путем, который в зависимости от галса то удаляет его от итальянского побережья, то приближает к нему. Около двух часов дня капитан, разглядывавший в бинокль горизонт, чтобы по парусам и по галсу других судов определить силу и направление воздушных течений в этих местах, где в каждом заливе дует свой ветер, то бурный, то легкий, и перемены погоды наступают так же быстро, как нервные припадки у женщин, внезапно заявил мне:

— Надо спустить гафтопсель, сударь. Оба брига впереди нас только что убрали верхние паруса. Видно, там сильно дует.

Последовала команда; длинный вздувшийся парус спустился с вершины мачты и скользнул, обвислый и дряблый, еще трепеща, как подстреленная птица, вдоль фока, который уже начинал предчувствовать предсказанный и приближающийся шквал.

Волн не было совсем: только кое-где небольшие

барашки, — но вдруг вдали перед нами я увидел совершенно белую воду, такую белую, точно по ней разостлали простыню. Она двигалась, приближалась, спешила нам навстречу, и когда эта пенящаяся полоса оказалась на расстоянии нескольких сот метров, паруса яхты внезапно дрогнули от сильного порыва ветра, который мчался по поверхности моря, гневный и бешеный, срывая с нее клочья пены, как рука, которая ощипывает пух с груди лебедя. И весь этот пух, сорванный с воды, вся эта эпидерма пены порхала, летала, разносилась под невидимым и свистящим напором шквала. Яхта, накренившись на бок, погрузившись бортом в плещущие, заливавшие палубу волны, с натянутыми вантами, с трещавшими мачтами, понеслась бешеным аллюром, словно охваченная головокружительной, безумной жаждой скорости. И, право, какое несравнимое опьянение, какое невообразимо увлекательное чувство — так вот, напрягая все мускулы, от щиколоток до самой шеи, держать обеими руками длинный железный руль и вести сквозь бурю это бешеное и безвольное существо, покорное и безжизненное, сооруженное из дерева и холста!

Бешеный шквал продолжался всего три чет-

верти часа, и когда Средиземное море снова окрасилось в свой красивый голубой цвет, воздух стал сразу таким мягким, что, казалось мне, дурное настроение неба рассеялось. Гнев улегся; наступил конец неприветливому утру, и радостный смех солнца широко разлился по всему морскому простору.

Мы приближались к мысу, и я увидел на самой его оконечности, у подножия отвесной прибрежной скалы, в месте, по-видимому, недоступном, церковь и три дома. Боже мой! Да кто же в них живет? Что эти люди могут там делать? Как общаются они с прочими смертными? Уж не при помощи ли одной из двух маленьких лодочек, вытащенных на узкую полосу берега?

Вот мы обогнули мыс. Берег тянется до Порто-Венере при входе в залив Специя. Весь этот участок итальянского побережья бесподобно пленителен.

В широкой и глубокой бухте, открывшейся перед нами, виднеется Санта-Маргерита, далее Рапалло, Кьявари, а еще дальше — Сестри-Леванте.

Яхта, повернув на другой галс, скользила на расстоянии двух кабельтовых от скал, и вот в конце мыса, который мы только что обогнули,

внезапно открылось ущелье, куда вливается море, скрытое ущелье, которое едва можно найти, заросшее пиниями, оливковыми и каштановыми деревьями. Крошечная деревушка Портофино расположилась полумесяцем вокруг этой тихой заводи.

Медленно проходим мы по узкому проливу, соединяющему с открытым морем прелестную естественную гавань, и проникаем в этот амфитеатр домов, увенчанный лесом с пышной свежей зеленью; все это отражается в спокойном круглом зеркале воды, где словно дремлют несколько рыбачьих лодок.

Одна из них приближается к нам. Сидящий на веслах старик здоровается с нами, поздравляет с благополучным прибытием, указывает, где пристать, берет у нас канат для причала, чтобы отвезти его на берег, возвращается предложить свои услуги и советы, все, что нам может понадобиться, — словом, оказывает нам гостеприимство в этом рыбацком поселке. Он начальник порта.

Пожалуй, ни разу еще за всю мою жизнь я не испытывал такого удовольствия, как при входе в эту маленькую зеленую бухту, и ни разу еще не охватывало меня более глубокое и благотворное чувство покоя, умиротворения и отдыха от

той бесплодной суеты, в которой барахтается наша жизнь, чем то, какое я испытал, когда звук брошенного якоря возвестил всему моему восхищенному существу, что мы прочно стали на месте.

Вот уже неделя, как я увлекаюсь греблей. Яхта стоит неподвижно на микроскопическом и тихом рейде; я же плаваю в своей шлюпке вдоль берега, забираюсь в пещеры, где море ревет на дне невидимых ям, огибаю островки с причудливыми и изрезанными берегами, которые оно, набегая, всякий раз увлажняет своими поцелуями, скольжу над подводными камнями, почти что выступающими из воды и покрытыми гривой морских водорослей. Я люблю смотреть, как колеблются подо мной от едва заметного движения волны эти длинные красные или зеленые растения, среди которых кишат, прячутся и скользят бесчисленные семьи едва появившихся на свет мальков. Кажется, что это живут и плавают всходы серебряных иголок.

Переводя взгляд на прибрежные скалы, я вижу на них группы голых мальчишек с загорелыми телами, удивленно глядящих на незнакомого скитальца. Они так же бесчисленны, как другое порождение моря — выводок молодых тритонов,

только вчера родившихся, которые резвятся и карабкаются на гранитные берега, чтобы подышать воздухом широких просторов. Этих мальчуганов можно найти во всех расселинах, они стоят на вершинах скал, и их изящные, стройные фигуры вырисовываются на фоне итальянского неба, как бронзовые статуэтки. Другие сидят, свесив ноги, на краю больших камней, отдыхая между двумя прыжками в воду.

Мы покинули Портофино для стоянки в Санта-Маргерита. Это не гавань, но глубокая бухта, несколько защищенная дамбой.

Суша здесь настолько пленительна, что почти забываешь о море. Город защищен выступом, образуемым двумя горами. Их разделяет долина, идущая по направлению к Генуе. По обе ее стороны разбегается бесчисленное множество дорожек, заключенных между двумя каменными стенами высотой приблизительно в один метр; эти дорожки, узкие, каменистые, пересекают одна другую, поднимаются и спускаются, идут вправо и влево то в виде рвов, то в виде лестниц, отделяя друг от друга бесчисленные поля, или, вернее, сады оливковых и фиговых деревьев, увитых красными гирляндами виноградных лоз. Сквозь сожженную солнцем листву лоз,

взобравшихся на деревья, видно уходящее в бесконечную даль синее море, красные мысы, белые селения, еловые леса на склонах гор и высокие серые гранитные вершины. Перед домами, там и сям попадающимися на пути, женщины плетут кружева. Впрочем, в здешних местах почти не встретишь дома, на пороге которого не сидели бы две-три рукодельницы, занятые этой работой, переходящей по наследству; они перебирают ловкими пальцами бесчисленное множество белых и черных нитей, на концах которых висят и подскакивают в непрерывной пляске короткие желтые деревянные палочки. Кружевницы нередко красивы, рослы, с гордой осанкой, но неряшливы, плохо одеты и совершенно лишены кокетства. В жилах у многих еще течет сарацинская кровь.

Однажды на углу деревенской улицы мимо меня прошла одна из них, и я был поражен ее изумительной красотой, какой до тех пор, пожалуй, еще не встречал.

Под тяжелой копной ее темных волос, разметавшихся вокруг лба, небрежно и наспех зачесанных, виднелось продолговатое и смуглое лицо восточного типа, лицо дочери мавров, от которых она унаследовала и величавую поступь, но солнце

флорентинок придало ее коже золотистый оттенок. Ее глаза — какие глаза! — продолговатые, непроницаемо-черные, словно не глядя, излучали ласку из-под ресниц, таких длинных и густых, каких я никогда не видывал. А кожа вокруг этих глаз была так темна, что если бы я не видел ее при ярком дневном свете, то заподозрил бы тут искусственные приемы наших светских дам.

Когда встречаешь одну из таких женщин, одетых в лохмотья, так и хочется схватить ее и унести хотя бы для того, чтобы украшать ее, говорить ей, как она прекрасна, восхищаться ею. Что нужды в том, что они не понимают тайны наших восторгов; бессмысленные, как все идолы, обворожительные, подобно им, они созданы только для того, чтобы восторженные сердца любили их и воспевали в словах, достойных их красоты!

Все же, если бы мне предложили выбор между самой прекрасной из живых женщин и женщиной, написанной Тицианом, которую я снова увидал неделю спустя в центральном круглом зале Уффици во Флоренции, я выбрал бы женщину Тициана.

К Флоренции, которая манит меня как город, где мне когда-то более всего хотелось жить, которая таит в себе невыразимое очарование для

моих глаз и для моего сердца, я испытываю вдобавок почти чувственное влечение, вспоминая образ лежащей женщины, дивной мечты о плотской прелести. Когда я вспоминаю об этом городе, настолько полном чудес, что к концу дня возвращаешься домой усталым и разбитым оттого, что слишком много перевидал, подобно охотнику, который слишком много ходил, то передо мной среди всех других воспоминаний возникает это большое продолговатое ослепительное полотно, где покоится большая женщина, бесстыдная, нагая и белокурая, бодрствующая и спокойная.

Потом, после нее, после этого воплощения силы соблазна, свойственного человеческому телу, передо мной встают нежные и целомудренные Мадонны, и прежде всего Мадонны Рафаэля: «Мадонна с щегленком», «Мадонна Грандука», «Мадонна делла Седиа» и еще другие, бесплотные и мистические Мадонны примитивов с их невинными чертами лица, с бледными волосами, а также Мадонны, полные плотской силы и здоровья.

Блуждая не только по этому единственному в своем роде городу, но и по всей этой стране, по Тоскане, где люди эпохи Возрождения обильно разбросали шедевры искусства, спрашиваешь

себя в изумлении, что же представляла собой эта экзальтированная и плодовитая душа, опьяненная красотой, охваченная безумным творческим порывом, душа этих поколений, бредивших искусством? В церквах маленьких городов, куда отправляются в поисках того, что не указано в путеводителях для рядовых путешественников, вы находите на стенах в глубине хоров бесценную живопись скромных великих мастеров, которые не продавали своих полотен в Америку, тогда еще неисследованную, и, окончив свой труд, уходили, не помышляя стать богачами, и работали для одного искусства, как благочестивые труженики.

И поколение это, не ведавшее слабости, не оставило после себя ничего посредственного. Тот же отблеск неувядаемой красоты, вышедшей из-под кисти живописца, из-под резца ваятеля, проглядывает и в каменных фасадах построек. Церкви и часовни полны скульптурами Луки делла Роббиа, Донателло, Микеланджело, а их бронзовые двери — творениями Бонанна или Джованни да Болоньи.

Придя на площадь Синьории и остановившись против Лоджии деи Ланци, вы сразу видите под одним и тем же портиком «Похищение сабинянок» и «Геркулеса, побеждающего Кентавра»

Джованни да Болоньи, «Персея с головой Медузы» Бенвенуто Челлини, «Юдифь и Олоферна» Донателло. Всего лишь несколько лет назад там же стоял и микеланджеловский «Давид».

Но чем больше опьяняет, чем больше покоряет вас прелесть этого путешествия по целому лесу художественных творений, тем сильнее также начинаете вы испытывать странное, болезненное чувство, которое вскоре примешивается к радости созерцания. Его вызывает удивительный контраст между современной толпой, такой пошлой, такой невежественной, и теми местами, где она живет. Вы чувствуете, что чуткий, гордый и утонченный дух прежнего, исчезнувшего народа, который усеял эту почву шедеврами, не волнует более голов, покрытых круглыми шляпами шоколадного цвета, не зажигает равнодушных глаз, не возвышает этот лишенный мечты народ над его вульгарными желаниями.

На обратном пути к побережью я остановился в Пизе, чтобы еще раз взглянуть на соборную площадь.

Кто сумеет объяснить проникновенную и грустную прелесть некоторых почти умерших городов?

Такова Пиза. Едва вы вступаете в нее, как вашу

душу охватывает меланхолическое томление, какое-то бессильное желание уехать и остаться, ленивое желание бежать и бесконечно упиваться тоскливой сладостью ее воздуха, ее неба, ее домов, ее улиц, где живет самое спокойное, самое унылое и молчаливое на свете население.

Желтоватая река Арно пересекает город, плавно извиваясь между двумя высокими крепостными стенами, по которым проходят два главных проспекта с желтоватыми, как и река, домами, гостиницами и несколькими скромными дворцами.

Одиноко стоящая на набережной, извилистый путь которой она неожиданно преграждает, маленькая часовня Санта-Мария делла Спина в стиле французских церквей XIII века возносит над водой свой резной профиль ковчежца с мощами. Видя ее на самом берегу реки, можно подумать, что это изящная готическая прачечная Пресвятой Девы, куда ангелы по ночам приносят полоскать поношенные ризы Мадонн.

Улица Санта-Мария ведет на соборную площадь.

Для людей, которых еще может взволновать и растрогать красота и мистическая мощь памятников искусства, не существует, конечно, на всей

земле ничего более удивительного и более поражающего, чем эта обширная, заросшая травой площадь, со всех сторон замкнутая высокими крепостными стенами, в которых заключены во всем их разнообразии и выразительности собор, Кампо-Санто, Баптистерий и Падающая башня.

Когда вы доходите до края этого пустынного и заросшего поля, обнесенного старинными стенами, где перед вашими глазами встают вдруг эти четыре гигантских мраморных творения, поражающих своими очертаниями, цветом, гармоническим и гордым изяществом, вы останавливаетесь, пораженный изумлением и восторгом, как перед редчайшим и грандиознейшим зрелищем, какое только может представить взору человеческое искусство.

Но собор с его невыразимой гармонией, непреодолимой мощью пропорций и великолепием фасада вскоре привлекает все ваше внимание.

Это базилика XI века в тосканском стиле, вся из белого мрамора, с инкрустациями черного и цветных мраморов. Стоя перед этим совершеннейшим памятником романо-итальянского зодчества, вы не испытываете того изумления, какое внушают некоторые готические соборы своим смелым взлетом, изяществом башен и

колоколенок, каменным кружевом, которым они как бы окутаны, и колоссальной диспропорцией между своей высотой и основанием.

Зато здесь вас до такой степени поражает и захватывает безупречность пропорций, непередаваемое очарование линий, форм и фасада, который внизу украшен пилястрами, связанными между собою посредством аркад, а наверху четырьмя галереями колонок, все уменьшающихся с каждым этажом, что пленительность этого памятника сохраняется в вашей душе как воспоминание о дивной поэме, о пережитом волнении.

Бесполезно описывать эти вещи, их надо видеть, и притом видеть на фоне здешнего неба, этого классического неба особой синевы, где медленно плывущие облака, свернувшиеся на горизонте серебристыми клубами, кажутся скопированными природой с картин тосканских мастеров, ибо эти старинные художники были реалистами, пропитанными итальянским воздухом; лгут лишь те мастера, которые подражали им под французским солнцем.

Колокольня позади собора, вечно наклоненная, словно готовая упасть, иронизирует над заложенным в нас чувством равновесия, а против нее

Баптистерий закругляет свой высокий конусообразный купол перед воротами Кампо-Санто.

Это старинное кладбище, фрески которого, по общему признанию, представляют величайший интерес, опоясывает очаровательная галерея, полная проникновенной и меланхолической прелести; посреди кладбища растут две древние липы, скрывающие в своей густой листве столько сухих ветвей, что при каждом порыве ветра они производят странный шум, напоминающий стук костей.

Дни бегут, лето на исходе. Я хочу посетить еще одну далекую страну, где другие люди оставили не так хорошо уцелевшие, но тоже вечные следы. И, право, они одни сумели подарить своему отечеству Всемирную выставку, которую не перестанут посещать во все грядущие века.

Сицилия

Во Франции считается, что Сицилия — страна дикая, и что ездить по ней трудно и даже опасно. Время от времени какой-нибудь путешественник, слывущий за смельчака, рискует доехать до Палермо и, возвратившись, объявляет, что это чрезвычайно интересный город. Вот и все. Но чем же, собственно, интересны Палермо да и вся Сицилия? У нас этого в точности не знают. По правде говоря, все дело в моде. Этот остров, эта жемчужина Средиземного моря, не принадлежит к числу тех стран, которые принято посещать, знакомство с которыми считается признаком хорошего вкуса и которые, как Италия, входят в программу образования благовоспитанного человека.

Между тем Сицилия должна бы привлекать путешественников с двух точек зрения, ибо ее естественные красоты и красоты художественные столь же своеобразны, как и замечательны. Известно, насколько плодородна эта страна, которую называли житницей Италии, и как бурно протекала ее история: все народы, один за другим,

завоевывали Сицилию и владели ею — до того велико было их стремление обладать ею, заставлявшее стольких людей драться и умирать за нее как за страстно желанную красавицу. Подобно Испании это страна апельсинов и цветов, воздух которой весной — сплошной аромат, каждый вечер зажигает над морем чудовищный маяк — Этну, величайший в Европе вулкан. Но прежде всего необходимо посетить эту единственную в мире страну потому, что она сплошь представляет собой оригинальный и полный чудес музей памятников архитектуры.

Архитектура умерла в наши дни, в наш век, который хоть еще и остается веком искусства, но, по-видимому, утратил способность творить красоту из камней, таинственный дар очаровывать гармонией линий, чувство грации в зданиях. Мы словно уже не можем понять, уже не знаем того, что одна лишь пропорциональность стены может вызвать в душе человека такую же эстетическую радость, такое же тайное и глубокое волнение, как шедевры Рембрандта, Веласкеса или Веронезе.

На долю Сицилии выпало счастье принадлежать поочередно плодовитым народам, приходившим то с севера, то с юга, усеявшим ее

землю бесконечно разнообразными памятниками зодчества, где неожиданно и органически соединились самые противоположные влияния. Отсюда возникло особое искусство, неизвестное в других местах, в котором преобладает арабское влияние среди греческих и даже египетских реминисценций, в котором суровость готического стиля, ввезенного норманнами, смягчается дивным искусством византийских архитектурных украшений и орнамента.

Доставляет утонченное наслаждение отыскивать в этих восхитительных памятниках отличительные черты каждого искусства, подмечать то деталь, пришедшую из Египта, вроде занесенных арабами копьевидно заостренных сводов, выпуклых, или, вернее сказать, подвесных сводов, напоминающих сталактиты морских пещер, то чисто византийский орнамент или великолепные готические фризы, которые среди этих несколько приземистых церквей, построенных норманскими государями, внезапно пробуждают воспоминание о высоких соборах северных стран.

Когда повидаешь все эти памятники, которые хотя и принадлежат к различным эпохам и происходят из разных источников, но имеют

один и тот же характер, одну и ту же природу, можно смело сказать, что они не готические, не арабские, не византийские, но сицилийские; можно утверждать, что существует сицилийское искусство и сицилийский стиль, всегда легко распознаваемый и, несомненно, самый очаровательный, самый разнообразный, самый красочный и самый богатый фантазией из всех существующих архитектурных стилей.

Именно в Сицилии и можно найти наиболее прекрасные и законченные образцы античной греческой архитектуры среди пейзажей несравненной красоты.

Всего легче путь в Палермо из Неаполя. Когда вы сходите на берег, вас поражает оживление и веселость этого большого города с двумястами пятьюдесятью тысячами жителей, полного лавок и шума; в нем меньше сутолоки, чем в Неаполе, но не меньше жизни. Прежде всего вы останавливаетесь перед первой встретившейся вам тележкой. Эти тележки — небольшие квадратные ящики на высоких желтых колесах, украшенные наивной и оригинальной живописью, изображающей исторические события или события из частной жизни, всевозможные приключения, битвы, встречи монархов, особенно же сражения вре-

мен Наполеона I и Крестовых походов. Какое-то странное резное приспособление из железа и дерева поддерживает колеса на оси; спицы также покрыты резьбой. У животного, которое их везет, один помпон на голове, а другой — посередине спины; сбруя нарядная и пестрая, причем каждый ее ремешок украшен красной шерстью и крошечными бубенчиками. Эти расписные тележки, разнообразные и забавные, разъезжают по улицам, привлекая взоры и внимание; это какие-то передвигающиеся загадки, которые все время пытаешься разгадать.

Расположение Палермо чрезвычайно своеобразно. Город, лежащий посередине широкого амфитеатра обнаженных гор голубовато-серого оттенка, тронутого кое-где красным, разделен на четыре части двумя большими прямыми улицами, которые перекрещиваются в центре. С этого перекрестка в конце огромных коридоров, образованных домами, видны в трех направлениях горы, а в конце четвертого — море, синее, ярко-синее пятно, которое кажется совсем близким, словно город свалился в воду!

В день моего приезда меня преследовало одно неотвязное желание: мне хотелось увидеть Дворцовую капеллу, о которой мне говорили как о

чуде из чудес.

Дворцовая капелла — самая прекрасная в мире и самая удивительная религиозная драгоценность, порожденная человеческой мыслью и выполненная рукой художника, — заключена в тяжеловесном здании королевского дворца, старинной крепости, построенной норманнами.

У этой капеллы нет наружного фасада. Вы входите во дворец, где вас прежде всего поражает изящество внутреннего двора, окруженного колоннадой. Красивая лестница с прямоугольными поворотами неожиданно создает чрезвычайно эффектную перспективу. Против входной двери находится другая дверь, пробитая в стене дворца и выходящая на далекие поля; внезапно открывая перед вами узкий и глубокий горизонт, она как будто уносит вас в безграничные дали и к беспредельным грезам через это сводчатое отверстие, которое, завладев вашим взглядом, неудержимо увлекает его к синей вершине горы, виднеющейся там, далеко-далеко, над огромной равниной апельсиновых рощ.

Когда входишь в капеллу, сразу же останавливаешься в изумлении, как перед каким-то чудом, силу которого ощущаешь, еще не успев его понять. Спокойная и многоцветная, неотразимая

и глубоко волнующая красота маленькой церковки — этого подлинного шедевра — покоряет вас с первого же взгляда; вы останавливаетесь как зачарованный перед ее стенами, покрытыми огромными мозаиками на золотом фоне: они излучают мягкое сияние, и весь храм как бы светится тусклым светом, увлекая мысль к библейским и божественным пейзажам, где оживают под огненными небесами все те, кто был причастен к жизни Богочеловека.

Впечатление, производимое этими сицилийскими памятниками зодчества, особенно сильно потому, что, на первый взгляд, в них больше поражает декоративное искусство, чем искусство архитектуры.

Гармония линий и пропорций служит лишь рамкой для гармонии цветовых оттенков.

Входя в наши готические соборы, испытываешь впечатление суровое, почти печальное. Их величие внушительно, их грандиозность поражает, но не пленяет. Здесь же вы побеждены, тронуты той почти чувственной прелестью, которую привносят краски в красоту форм.

Люди, которые задумали и создали эти церкви, полные света и все же темные, имели, несомненно, совсем иное представление о религиозном

чувстве, чем зодчие немецких или французских соборов: их своеобразный талант стремился главным образом к тому, чтобы впустить свет в эти изумительно украшенные нефы, но так, чтобы его не чувствовали, не видели, чтобы он проскользнул сюда незаметно, лишь слегка касаясь стен и создавая таинственную и очаровательную игру красок, чтобы казалось, будто свет исходит из самых стен, из огромных золотых небес, населенных апостолами.

Дворцовая капелла, построенная в 1132 году королем Рожером II в норманском готическом стиле, представляет собой небольшую базилику в три нефа. Она имеет всего тридцать три метра в длину и тринадцать метров в ширину; это игрушка, драгоценность.

Два ряда великолепных мраморных колонн, все разных цветов, уходят под купол, откуда на вас глядит колоссальный Христос, окруженный ангелами с распростертыми крыльями. Мозаика, украшающая заднюю стену левой боковой капеллы, представляет поразительную картину. Она изображает Иоанна Крестителя, проповедующего в пустыне. Это словно картина Пюви де Шаванна, но более красочная, более мощная, более наивная, менее надуманная, созданная вдохновенным

художником во времена исступленной веры. Пророк обращается с речью к нескольким лицам. За ним — пустыня, а в глубине — синеющие горы, те горы, с мягкими очертаниями, окутанными дымкой, которые знакомы всем путешествовавшим по Востоку. Над святым, вокруг святого, позади святого — золотое небо, настоящее небо видений, где как будто присутствует Бог.

Возвращаясь к входным дверям, вы останавливаетесь под кафедрой; это просто-напросто квадратная глыба бурого мрамора, окруженная беломраморным фризом с мелкими мозаичными инкрустациями и поддерживаемая четырьмя колоннами, покрытыми тонкой резьбой. Поражаешься, чего может достигнуть вкус, чистый вкус художника при помощи столь ничтожных средств.

Весь дивный эффект этих церквей построен вообще на сочетании и противопоставлении мрамора и мозаики. Это их характерная особенность. Нижняя часть стен, белая и украшенная лишь мелким орнаментом, тонкой каменной вышивкой, оттеняет своей нарочитой простотой красочную роскошь монументальной живописи, покрывающей верхнюю часть стен.

Но даже в этой мельчайшей вышивке, которая,

как цветное кружево, окаймляет нижнюю часть стен, встречаются очаровательные мотивы величиной с ладонь; таковы, например, два павлина, несущие крест на скрещенных клювах.

Этот же стиль внутренней отделки можно видеть во многих палермских церквах. Мозаики Марторана по выполнению, пожалуй, еще замечательнее, чем мозаики Дворцовой капеллы, но нигде в мире не встретишь той изумительной целостности, которая делает капеллу — это дивное произведение искусства — единственной и непревзойденной.

Я медленно возвращаюсь в гостиницу Пальм, у которой один из лучших садов в городе, настоящий сад теплых стран, полный огромных и причудливых растений. Один путешественник, сидя со мной рядом на скамейке, рассказал мне за несколько минут все события текущего года, потом перешел к событиям прошлых лет и между прочим заметил:

— Это случилось в то время, когда здесь жил Вагнер.

Я удивился:

— Как, здесь, в этой гостинице?

— Именно. Здесь он дописывал последние ноты «Парсифаля» и держал корректуру.

И я узнал, что знаменитый немецкий композитор провел в Палермо целую зиму, покинув этот город лишь за несколько месяцев до смерти. Здесь, как и повсюду, он выказывал несносный характер, невероятную гордыню и оставил о себе воспоминание как о самом неуживчивом человеке.

Я захотел осмотреть помещение, которое занимал гениальный музыкант, ибо мне казалось, что он должен был оставить в нем частичку своего «я» и что мне попадется какая-нибудь вещь, которая ему нравилась, любимое кресло, стол, за которым он работал, какой-нибудь след его пребывания, его пристрастий или привычек.

Сперва я ничего не увидел, кроме прекрасного номера гостиницы. Мне сообщили, какие изменения он в нем велел произвести, показали место, как раз посередине комнаты, где стоял диван, на который он нагромождал пестрые, шитые золотом ковры.

Но вот я открыл дверцу зеркального шкафа.

Восхитительный сильный запах пахнул оттуда, как ласка легкого ветерка, пронесшегося над полем розовых кустов.

Сопровождавший меня хозяин гостиницы сказал:

— Здесь он держал свое белье, надушенное розовой эссенцией. Теперь уж этот запах не улетучится никогда.

Я упивался этим дыханием цветов, запертым в шкафу, забытым, заточенным в нем, и мне казалось, что я нахожу в этом дуновении что-то от Вагнера, частицу его самого, частицу его желаний, частицу его души, запечатлевшуюся в этих пустячных, тайных и любимых привычках, составляющих интимную жизнь человека.

Потом я пошел побродить по городу.

Нет людей, менее схожих между собой, чем сицилийцы и неаполитанцы. Неаполитанец из простонародья — всегда на три четверти паяц. Он жестикулирует, суетится, беспричинно воодушевляется, разговаривает жестами столько же, сколько и словами, и передает мимикой все, о чем говорит; он всегда любезен ради выгоды, ласков как из хитрости, так и по природе, и отвечает шуточками на неприятные замечания.

В сицилийце же много арабского. От араба у него серьезная важность, хотя, как итальянец, он обладает очень живым умом. Природная надменность, любовь к титулам, самый характер гордости и черты лица скорее приближают его к испанцу, чем к итальянцу. Но что непрестанно

вызывает в вас глубокое впечатление Востока, едва вы вступаете на почву Сицилии, — это тембр голоса, носовые интонации уличных разносчиков. Повсюду слышишь здесь пронзительную ноту арабских голосов — ноту, которая как бы спускается от лба к горлу, в то время как на севере она поднимается из груди в рот. И песня, протяжная, однообразная и нежная — вы слышите ее, проходя мимо открытых дверей дома, — по ритму и звучанию та же, которую поет всадник в белом, сопровождающий путешественников по безграничным голым просторам пустыни.

Зато в театре сицилиец снова становится настоящим итальянцем, и для нас чрезвычайно любопытно побывать на каком-нибудь оперном представлении в Риме, в Неаполе или Палермо.

Все впечатления публики прорываются наружу сразу же, с полной непосредственностью. Нервная до крайности, одаренная тонким, восприимчивым слухом, до безумия любящая музыку, вся толпа превращается в единое трепещущее живое существо, которое чувствует, но не рассуждает. За какие-нибудь пять минут она восторженно аплодирует и остервенело шикает одному и тому же актеру; она топает ногами от радости или гнева, а если певец невзначай сфальшивит, то изо

всех ртов одновременно вырывается странный, отчаянный, пронзительный вопль. Если мнения разделились, то шиканье и аплодисменты сливаются. Ничто не проходит незамеченным в этом зале, внимательном и взволнованном, который ежеминутно выражает свои чувства, а порой, когда его охватывает взрыв внезапного гнева, начинает реветь, как зверинец, полный взбесившихся диких зверей.

Сейчас сицилийцев приводит в восторг Кармен, и вы с утра до ночи слышите, как прохожие на улице напевают знаменитого «Тореадора».

Улицы в Палермо не представляют собою ничего особенного. Они широки и красивы в богатых кварталах, а в бедных похожи на обычные узкие, извилистые и красочные улицы городов Востока.

Женщины, одетые в яркие, красные, синие или желтые, лохмотья, болтают у своих домов и, когда вы проходите мимо, разглядывают вас черными глазами, сверкающими из-под чащи темных волос.

Порой перед конторой казенной лотереи, работающей без перерыва, как некое богослужение, и приносящей государству крупные доходы, можно наблюдать комическую и типичную сценку.

Против конторы стоит в нише мадонна, прикрепленная к стене; у ее ног горит фонарик. Из конторы выходит человек с лотерейным билетом в руке, опускает медный грош в церковную кружку, раскрывающую маленький черный зев под статуей Мадонны, а затем совершает крестное знамение нумерованной бумажкой, которую только что вверил попечению Святой Девы, подкрепив это милостыней.

Вы останавливаетесь время от времени перед продавцами видов Сицилии, и ваш взгляд задерживается на странной фотографии, изображающей подземелье с множеством мертвецов, гримасничающих скелетов в причудливых нарядах. Под ней надпись: «Кладбище капуцинов».

Что это такое? Если вы обратитесь с этим вопросом к жителю Палермо, он с отвращением ответит вам:

— Не ходите смотреть на эту мерзость. Это ужасная, дикая вещь, которая, к счастью, должна скоро исчезнуть. Впрочем, там уже несколько лет никого не хоронят.

Трудно добиться более подробных и точных указаний — так сильно, по-видимому, отвращение большинства сицилийцев к этим необыкновенным катакомбам.

В конце концов мне все же удалось узнать следующее. Почва, на которой построен монастырь капуцинов, обладает особенным свойством настолько ускорять процесс разложения мертвецов, что через год на костях остается только немного прилипшей к ним высохшей черной кожи, порой с волосами на подбородке и щеках.

Гробы ставят в небольшие боковые склепы, где в каждом помещается от восьми до десяти покойников; по прошествии года гроб вскрывают и вынимают мумию, ужасную, бородатую, сведенную судорогой мумию, которая словно воет, словно корчится в ужасных муках. Затем скелет подвешивают в одной из главных галерей, где семейство умершего время от времени навещает его. Люди, желавшие, чтобы их законсервировали таким способом, высказывали перед смертью свою волю, и за известную плату, ежегодно вносимую родственниками, они навеки останутся выставленными в ряд под этими мрачными сводами наподобие предметов, хранимых в музеях. Если родные перестают платить, то покойника хоронят обычным способом.

Мне сразу же захотелось осмотреть эту мрачную коллекцию мертвецов.

У ворот небольшого скромного монастыря мне

встречается старый капуцин в коричневой рясе и, не говоря ни слова, идет впереди меня, прекрасно зная, что хотят видеть приходящие сюда иностранцы.

Мы проходим через бедную часовню и медленно спускаемся по широкой каменной лестнице. И я вижу вдруг перед собой огромную галерею, широкую и высокую, стены которой уставлены множеством скелетов, одетых самым причудливым и нелепым образом. Одни висят в воздухе бок о бок, другие уложены на пяти каменных полках, идущих от пола до потолка. Ряд мертвецов стоит на земле сплошным строем; головы их страшны, рты словно вот-вот заговорят. Некоторые из этих голов покрыты отвратительной растительностью, которая еще более уродует челюсти и черепа; на иных сохранились все волосы, на других — клок усов, на третьих — часть бороды.

Одни глядят пустыми глазами вверх, другие вниз; некоторые скелеты как бы смеются страшным смехом, иные словно корчатся от боли, и все они кажутся объятыми невыразимым, нечеловеческим ужасом.

И они одеты, эти мертвецы, эти бедные, безобразные и смешные мертвецы, одеты своими родными, которые вытащили их из гробов, что-

бы поместить в это страшное собрание. Почти все они облачены в какие-то черные одежды; у некоторых накинуты на голову капюшоны. Впрочем, есть и такие, которых захотели одеть более роскошно, и жалкий скелет с расшитой греческой феской на голове, в халате богатого рантье, лежит на спине, страшный и комичный, словно погруженный в жуткий сон.

Картонная дощечка, как у слепых, висит у них на шее, и на ней написаны имя умершего и дата смерти. Эти числа вызывают содрогание. Вы читаете: «1880, 1881, 1882…»

Так это, значит, человек или то, что было человеком, восемь лет назад! Он жил, смеялся, разговаривал, ел, пил, был полон радости и надежд. И вот он теперь! Перед этим двойным рядом неописуемых существ нагромождены ящики и гробы, роскошные гробы черного дерева с медными украшениями, с небольшими застекленными четырехугольными отверстиями, чтобы можно было заглянуть внутрь. Они напоминают сундуки и ящики дикарей, купленные на каком-нибудь базаре отъезжающими «в дальний путь», как сказали бы прежде.

Направо и налево открываются другие галереи, продолжая до бесконечности это подземное

кладбище.

Вот женщины, еще более уродливо комичные, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили. Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцов, обрамляющих своей ослепительной белизной эти черные лица, жуткие, прогнившие, изъеденные тлением. Руки торчат из рукавов новых платьев, как корни срубленных деревьев, а чулки, облегающие кости ног, кажутся пустыми. Иногда на покойнике надеты одни лишь башмаки, огромные на его жалких, высохших ногах.

А вот и молодые девушки, безобразные создания в белых нарядах с металлическими венчиками вокруг лба, символом невинности. Они кажутся старухами, глубокими старухами, так искажены их лица. А им шестнадцать, восемнадцать, двадцать лет. Какой ужас!

Но вот мы приходим в галерею, полную маленьких стеклянных гробиков: это дети. Едва окрепшие косточки не выдержали, и трудно разглядеть, что, собственно, лежит перед вами, настолько они изуродованы, расплющены и ужасны, эти жалкие детишки. Но слезы наворачиваются у вас на глаза, потому что матери одели их в маленькие платьица, которые они носили

в последние дни своей жизни. И матери все еще приходят сюда поглядеть на них, на своих детей!

Часто около трупа висит фотография, которая показывает покойника, каким он был при жизни; нет ничего более потрясающего и жуткого, чем это сопоставление, чем этот контраст, чем те мысли, которые порождает это сравнение.

Мы проходим через галерею, более сумрачную, более низкую, предназначенную для бедных. В темном углу висит штук двадцать скелетов под слуховым окном, сквозь которое их обвевает резкими порывами свежий воздух. Они закутаны в какой-то черный холст, завязанный у ног и шеи, и склоняются один к другому. Кажется, что они дрожат от холода, что они хотят бежать, что они кричат: «Помогите!» Можно подумать, что это матросы с тонущего корабля, исхлестанного разгулявшимся ветром; они одеты в коричневую просмоленную парусину, которую моряки надевают в бурю, и еще содрогаются от ужаса последнего мгновения, когда их поглотило море.

А вот квартал священников. Большая почетная галерея! На первый взгляд они кажутся еще страшнее других, эти скелеты в красных, черных и фиолетовых облачениях. Но когда вы ближе присматриваетесь к ним, на вас нападает неудер-

жимый нервный смех при виде их странных и жутко комических поз. Одни поют, другие молятся. Им запрокинули головы и сложили руки. На макушке их оголенных черепов надеты шапочки, какие священники носят во время богослужения; у одних они лихо сдвинуты на ухо, у других спускаются до самого носа. Какой-то карнавал смерти, которому придает еще более комический характер позолоченная роскошь церковных облачений.

Говорят, что время от времени на землю скатывается та или другая голова: это мыши перегрызают связки шейных позвонков. Тысячи мышей живут в этой кладовой человеческого мяса.

Мне показывают человека, умершего в 1882 году. За несколько месяцев перед смертью, веселый и здоровый, он приходил сюда в сопровождении приятеля, чтобы выбрать себе место.

«Вот где я буду» — говорил он и смеялся. Друг его теперь приходит сюда один и целыми часами глядит на скелет, неподвижно стоящий на указанном месте.

По некоторым праздникам катакомбы капуцинов открыты для уличной толпы. Однажды какой-то пьяница заснул здесь и, проснувшись среди ночи, начал звать, взвыл, растерялся от

охватившего его безумного ужаса, стал бросаться во все стороны, пытаясь убежать, но никто его не услышал. Когда его нашли утром, он так сильно вцепился в решетку входных дверей, что потребовались огромные усилия, чтобы его оторвать.

Он сошел с ума.

С тех пор у дверей повесили большой колокол.

После посещения этих мрачных мест мне захотелось посмотреть на цветы, и я велел отвезти себя на виллу Таска, сады которой, находящиеся посреди апельсиновой рощи, полны дивных тропических растений.

На обратном пути в Палермо я увидел слева городок, расположенный на склоне горы, а на вершине ее — развалины. Этот город — Монреале, а развалины Кастеллаччо, последнее убежище, в котором, как мне сказали, укрывались сицилийские разбойники.

Великий мастер поэзии Теодор де Банвиль написал трактат о французской просодии — трактат, который следовало бы выучить наизусть всем тем, кто пытается сочетать рифмы. Одна из глав этой прекрасной книги называется «О поэтических вольностях»; вы переворачиваете страницу и читаете: «Их не существует».

Точно так же, прибыв в Сицилию, вы спраши-

ваете то с любопытством, то с беспокойством:

— А где же разбойники?

И все вам отвечают:

— Их больше не существует.

В самом деле, вот уже лет пять-шесть, как они перестали существовать. Благодаря тайному покровительству некоторых крупных помещиков, интересам которых они часто служили, но на которых накладывали дань, им удалось продержаться в сицилийских горах до прибытия генерала Палавичини, который до сих пор командует в Палермо. Этот генерал так энергично принялся их преследовать и уничтожать, что вскорости исчезли и последние из них.

Правда, в этой стране часто происходят вооруженные нападения и убийства, но это обыкновенные преступления, совершаемые отдельными злоумышленниками, а не организованными бандами, как в прежние времена.

В общем, Сицилия столь же безопасна для путешественников, как Англия, Франция, Германия или Италия, и тем, кто жаждет приключений в духе Фра-Дьяволо, придется их искать где-нибудь в другом месте.

По правде говоря, человек находится в полной безопасности почти повсюду за исключением

больших городов. Если подсчитать число путешественников, схваченных и ограбленных бандитами в диких странах, а также убитых кочевыми племенами пустыни, и сравнить число несчастных случаев, приключившихся в странах, которые слывут опасными, с теми случаями, какие происходят только за один месяц в Лондоне, Париже или Нью-Йорке, то станет ясно, насколько спокойнее этих столиц страны, внушающие страх.

Мораль: если вы хотите получить удар ножа или лишиться свободы, отправляйтесь в Париж, в Лондон, но не ездите в Сицилию. В этой стране можно разъезжать по дорогам днем и ночью без конвоя и оружия; вы здесь встретите только людей, полных благожелательности к иностранцам, если не считать нескольких почтовых и телеграфных чиновников. Я говорю, впрочем, лишь о чиновниках Катании.

Итак, на середине склона одной из гор, возвышающихся над Палермо, стоит маленький город Монреале, знаменитый своими старинными памятниками, и в окрестностях этого высоко взгромоздившегося городка подвизались последние разбойники острова. До сих пор сохранился обычай расставлять часовых вдоль всего пути,

который туда ведет. Хотят ли этим успокоить или напугать путешественников? Не знаю.

При виде этих солдат, расставленных на некотором расстоянии друг от друга на всех поворотах дороги, невольно приходит на память легендарный часовой французского военного министерства. В течение десяти лет в коридоре, который вел в квартиру министра, ежедневно ставили часового, и он требовал ото всех проходивших по коридору, чтобы они держались подальше от одной из стен; никто не знал, зачем это делалось. Вновь назначенный министр, отличавшийся умом пытливым и вступивший в должность после пятидесяти других, которые проходили мимо часового, не обращая на него внимания, заинтересовался причиной такой бдительности.

Никто не мог дать ему объяснений: ни правитель канцелярии, ни столоначальники министерства, уже полвека прочно сидевшие в своих креслах, — но один курьер, человек памятливый, а может быть, писавший мемуары, припомнил, что некогда там был поставлен часовой, потому что в коридоре перекрасили стену, а жена министра, не будучи предупреждена, запачкала краской платье. Краска высохла, а часовой остался.

Так и здесь: разбойники исчезли, а часовые на дороге в Монреале остались. Дорога эта извивается по горе и, наконец, доходит до города, чрезвычайно оригинального, очень колоритного и страшно грязного. Улицы, идущие уступами, словно вымощены острыми зубьями. Мужчины повязывают здесь головы красными платками, как испанцы.

Вот собор, большое здание, свыше ста метров длиной, в форме латинского креста с тремя абсидами и тремя нефами, отделенными друг от друга восемнадцатью колоннами из восточного гранита, опирающимися на беломраморное основание и на квадратный цоколь из серого мрамора. Поистине изумительный портал обрамляет великолепные бронзовые двери, которые создал Bonannus, civis Pisanus[3].

Внутренность этого храма отделана мозаикой на золотом фоне; богаче, совершеннее и поразительнее этой отделки ничего нельзя себе представить.

Эта мозаика, крупнейшая в Сицилии, сплошь покрывает стены в *шесть тысяч четыреста метров*. Вообразите себе эту огромную и велико-

---

[3] Примечания: 3
Бонанн, пизанский гражданин *(лат.)*.

лепную роспись, изображающую по стенам храма легендарную историю Ветхого Завета, миссии и апостолов. На золотом небе, развертывающем вокруг нефов фантастический горизонт, выступают в размерах больше человеческого роста пророки, возвещающие пришествие Бога, Христос и те, кто окружал его.

В глубине алтаря гигантский лик Иисуса, напоминающий Франциска I, царит над храмом, словно наполняя и подавляя его, — так огромен и могуч этот странный образ.

Нельзя не пожалеть, что потолок, разрушенный пожаром, восстановлен так неискусно. Кричащий тон позолоты и слишком яркие краски режут глаза.

Рядом с собором вход в старинный монастырь бенедиктинцев.

Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря, и забудут почти все другие, какие когда-либо видели.

Как можно не любить монастырские дворы, эти спокойные, прохладные, замкнутые места, как будто придуманные для того, чтобы будить мысль, которая изливается из уст, глубокая и ясная, в то время как вы идете медленным шагом под длинными, навевающими грусть аркадами?

Они словно созданы для того, чтобы порождать размышления, эти каменные аллеи, аллеи маленьких колонн, замыкающих небольшой садик, на котором глаз спокойно отдыхает, не отвлекаясь, не рассеиваясь.

Дворы наших северных монастырей отличаются порой слишком монашеской, слишком унылой суровостью, даже самые красивые из них, как, например, дворик монастыря Сен-Вандриль в Нормандии. Сердце в них сжимается, душа мрачнеет.

Загляните, например, в печальный двор картезианского монастыря Верны в диких горах мавров. Холод пронизывает вас там до мозга костей.

И, наоборот, чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нем хоть навсегда. Он обширен, образует правильный квадрат, полон тонкого и пленительного изящества; тот, кто его не видел, не способен и представить себе, как может быть гармонична колоннада. Изысканная соразмерность, невероятная стройность этих легких колонн, идущих попарно, одна возле другой, причем все они разные — то выложенные мозаикой, то совсем гладкие, то украшенные

несравненной по тонкости работы скульптурой или простым узором, вырезанным в камне и обвивающимся вокруг них, как растение, — сначала поражают взгляд, потом чаруют, восхищают и порождают ту эстетическую радость, которую глаза передают душе при виде вещей абсолютного художественного вкуса.

Подобно прелестным четам колонн капители тоже тончайшей работы и тоже отличны друг от друга. И, что редко бывает, восхищаешься одновременно великолепным эффектом целого и совершенством деталей.

Глядя на этот шедевр красоты и изящества, невольно вспоминаешь стихи Виктора Гюго о греческом художнике, который сумел запечатлеть:

Красу, подобную улыбке человека,
На очертаньях Пропилей.

Дивная галерея заключена в высокие, очень старые стены со стрельчатыми аркадами — это все, что уцелело от монастыря.

Сицилия — родина, подлинная, единственная родина колоннад. Все внутренние дворы старинных дворцов и старинных домов в Палермо украшены прелестными колоннадами, которые были бы знамениты во всякой другой стране,

кроме этого острова, столь богатого памятниками зодчества.

Маленький дворик при церкви Сан-Джованни дельи Эремити, одной из древнейших норманских церквей восточного стиля, хотя и не столь замечателен, как монастырский двор в Монреале, но тем не менее гораздо интереснее всего, что мне довелось видеть в этом роде.

Выходя из монастыря, вы попадаете в сад, откуда открывается вид на всю долину, покрытую цветущими апельсиновыми деревьями. Из этой душистой рощи непрерывно несется ветерок, дурманящий ум и волнующий чувства. Кажется, что смутное и поэтическое желание, которое неотвязно преследует душу, витает вокруг нее, неуловимое, сводящее с ума, готово здесь осуществиться. Этот аромат, внезапно окутывающий вас, примешивает к эстетическим радостям изысканное наслаждение, доставляемое благоуханием, и погружает на миг вашу душу и тело в блаженный покой, близкий к чувству счастья.

Я поднимаю глаза на высокую гору, возвышающуюся над городом, и вижу на ее вершине развалины, которые заметил еще накануне. Сопровождающий меня друг расспрашивает местных жителей, и нам отвечают, что этот

старинный замок был в самом деле последним убежищем сицилийских разбойников. И поныне почти никто не поднимается в старинную крепость Кастеллаччо. Не знают даже пути к ней, потому что она стоит на малодоступной вершине горы. Мы решаем туда взобраться. Один палермский житель, гостеприимно показывавший нам свою страну, настаивает на том, чтобы мы взяли проводника, но, не найдя никого, кто хорошо знал бы дорогу, обращается, не предупредив нас, к начальнику полиции.

И вскоре агент, профессия которого была нам неизвестна, начинает вместе с нами взбираться на гору, однако и сам идет неуверенно, и по дороге берет себе в помощь товарища, нового проводника, который должен вести и нас и его. Затем оба они начинают расспрашивать встречных крестьян и крестьянок, погоняющих своих ослов. Наконец какой-то священник советует нам идти все прямо вперед. И мы карабкаемся вверх, а за нами — наши проводники.

Дорога становится почти непроходимой. Приходится взбираться на скалы, подтягиваясь на руках. Это длится долго. Пламенное солнце, солнце восточных стран, изливает на наши головы отвесные лучи.

Наконец мы добираемся до вершины среди поразительного и великолепного хаоса огромных камней, торчащих из земли, серых, голых, круглых и остроконечных, которые окружают одичалый и полуразрушенный замок причудливым полчищем скал, уходящим далеко за пределы его стен.

Вид, открывающийся с этой вершины, один из самых изумительных. По склонам ощетинившейся горы спускаются глубокие долины, заключенные между другими горами, уходящими в глубь Сицилии бесконечной вереницей вершин и пиков. Против нас море, у наших ног Палермо. Город окружен апельсиновой рощей, которая носит название Золотой Раковины, и эта черно-зеленая роща тянется траурной каймой у подножия серых гор, рыжих гор, словно обожженных, разъеденных и позолоченных солнцем, — до того они обнажены и колоритны.

Один из наших проводников исчез. Другой идет за нами к развалинам. Они красивы в своей дикости и очень обширны. При входе чувствуется, что никто их не посещает. Повсюду под ногами гудит изрытая почва; местами видны входы в подземелья. Сопровождающий нас человек рассматривает их с любопытством и говорит,

что несколько лет назад здесь жило много разбойников. Это было их лучшее и самое грозное убежище. Едва мы начинаем спускаться, появляется первый проводник, но мы отказываемся от его услуг и без труда открываем весьма удобную тропинку, по которой могла бы пройти и женщина.

Можно подумать, что сицилийцы умышленно преувеличивают и множат рассказы о разбойниках, чтобы отпугнуть иностранцев; даже до сегодняшнего дня многие опасаются ступить на этот остров, столь же безопасный, как Швейцария.

Вот одно из последних приключений, которое приписывают преступникам-бродягам. За правдивость этой истории я могу поручиться.

Один выдающийся палермский энтомолог, г-н Рагуза, открыл нового жука, которого долго смешивали с Polyphilla Oliviei. И вот некий немецкий ученый, г-н Краац, убедившись, что этот жук принадлежит к совершенно особому виду, и желая заполучить несколько его экземпляров, написал в Сицилию одному из своих друзей, г-ну ди Стефани, который, в свою очередь, адресовался к г-ну Джузеппе Миралье с просьбой поймать несколько таких насекомых. Но жуки

исчезли по всему побережью. Как раз в это время г-н Ломбардо Марторана из Трапани сообщил г-ну ди Стефани, что только что поймал более пятидесяти полифилл.

Г-н ди Стефани поспешил предупредить об этом г-на Миралью следующим письмом:

> Дорогой Джузеппе!
>
> Polyphilla Olivieri, узнав о твоих смертоубийственных намерениях, избрал иной путь и скрылся на побережье Трапани, где мой приятель Ломбардо захватил уже более пятидесяти.

Тут приключение начинает принимать характер трагикомедии и эпического неправдоподобия.

В это время, по слухам, в окрестностях Трапани бродил разбойник по имени Ломбардо.

Г-н Миралья бросил письмо своего друга в корзинку. Лакей опорожнил корзинку на улицу, а мусорщик, проходивший мимо, подобрал ее содержимое и выбросил в поле. Какой-то крестьянин, увидав в поле красивую голубую бумажку, почти не смятую, поднял ее и положил в карман из предосторожности или из инстинктивного стремления к стяжательству.

Прошло несколько месяцев, потом этого человека как-то вызвали в полицейское управление, где он выронил письмо. Жандарм схватил письмо и представил судье, которому бросились в глаза слова «смертоубийственные намерения», «избрал иной путь», «скрылся», «захватил», «Ломбардо». Крестьянина посадили в тюрьму, допросили и заперли в одиночную камеру. Он ни в чем не сознался. Его содержали под замком и провели строжайшее следствие. Судебные власти опубликовали подозрительное письмо, но так как они по ошибке прочитали «Петронилла Оливьери» вместо «Полифилла», то энтомологи не обратили на него внимания.

Наконец удалось разобрать подпись г-на ди Стефани, и его вызвали в суд. Его объяснения были признаны неудовлетворительными. Вызванный, в свою очередь, г-н Миралья в конце концов разъяснил это таинственное дело.

Крестьянин просидел в тюрьме три месяца.

Итак, последний сицилийский разбойник оказался особого вида жуком, известным в науке под именем Polyphilla Ragusa.

Теперь путешествовать по страшной Сицилии в экипаже, верхом или даже пешком можно вполне безопасно. Впрочем, самые интересные

экскурсии можно совершить почти целиком в экипаже. Главная из них — это экскурсия к храму Сегесты.

Столько поэтов воспело Грецию, что каждый из нас носит ее образ в своем воображении, каждый думает, что немного знает ее, каждый представляет ее себе такой, какой желал бы увидеть.

Для меня эту мечту воплотила Сицилия; она показала мне Грецию, и когда я думаю об этой стране искусства, мне кажется, что я вижу перед собой высокие горы с мягкими классическими очертаниями и на их вершинах храмы, строгие храмы, может быть, немного грузные, но удивительно величественные, какие встречаешь на этом острове повсюду.

Все видели Пестум и восхищались тремя великолепными развалинами, лежащими среди этой голой равнины, которая вдали переходит в море, а с другой стороны замыкается широким полукругом голубоватых гор. Но если храм Нептуна лучше сохранился и, как говорят, выдержан в более чистом стиле, чем храмы Сицилии, то последние расположены среди таких дивных, таких неожиданных пейзажей, что трудно даже вообразить себе то впечатление, которое они производят.

Покинув Палермо, прежде всего проезжаешь через апельсиновую рощу, прозванную Золотою Раковиной; далее железная дорога идет вдоль берега моря — берега сплошь из бурых гор и красных скал. Наконец путь уклоняется в глубь острова, и вы выходите на станции Алькамо-Калатафими.

Далее вы едете по чрезвычайно волнистой местности, похожей на море с чудовищными неподвижными волнами. Лесов нет, очень мало деревьев, только виноградники и хлебные поля; дорога идет в гору между двумя прерывающимися рядами цветущих алоэ. Можно подумать, что они уговорились между собой вознести в небо в один и тот же год и почти в один и тот же день свои огромные странные стебли, неоднократно воспетые поэтами. Бесконечной вереницей тянутся эти воинственные растения, толстые, колючие, в броне и с оружием, словно подняв свои боевые стяги.

После примерно двухчасового пути вы вдруг видите две высоких горы, соединенных отлогим склоном, закругленным в виде полумесяца от одной вершины к другой, а посередине этого полумесяца — профиль греческого храма, одного из тех величественных и прекрасных памятников,

которые этот божественный народ воздвигал своим человекоподобным богам.

Приходится делать длинный объезд, чтобы обогнуть одну из этих гор, после чего перед нами появляется тот же храм, но уже со стороны фасада. Теперь нам кажется, что он прислонен к горе, хотя его отделяет от нее глубокий овраг, но она развертывается за ним и над ним, обнимает, окружает, как будто укрывает и ласкает его. И он с великолепной отчетливостью выделяется всеми своими тридцатью шестью дорическими колоннами на широкой зеленой завесе, служащей фоном огромному зданию, одиноко стоящему среди безбрежно широкого простора.

Когда глядишь на этот величественный и простой пейзаж, чувствуешь, что здесь можно было поставить только греческий храм и что поставить его можно было только здесь. Мастера декоративного искусства, обучавшие человечество, показали, особенно в Сицилии, каким глубоким, утонченным знанием эффектов и компановки они обладали. Дальше я буду говорить о храмах Джирженти. Храм Сегесты воздвигнут у подножия горы, наверно, гениальным человеком, которому в озарении открылось то единственное место, где надо было его воздвигнуть: этот храм

один оживляет беспредельность открывшейся панорамы, придает ей жизнь и божественную красоту.

На вершине горы, вдоль подножия которой нам пришлось следовать, чтобы дойти до храма, находятся развалины театра.

Когда попадаешь в страну, где греки жили или основали некогда свои колонии, достаточно разыскать их театры, чтобы найти место, с которого открываются самые красивые виды. Если они воздвигали свои храмы именно в тех местах, где последние производят наибольший эффект и лучше всего украшают пейзаж, то театры, наоборот, помещали именно там, где глазу открывалась наиболее волнующая перспектива.

Сегестский театр, расположенный на вершине горы, образует центр целого амфитеатра возвышенностей, окружность которого достигает по меньшей мере от ста пятидесяти до двухсот километров. Вдали, за ближайшими вершинами, глаз различает еще другие, а сквозь широкий пролет, прямо против вас, видно море, синее среди зеленых вершин.

На следующий день после осмотра Сегесты можно посетить и Селинунт — огромное нагромождение рухнувших колонн, одни из которых

упали рядами друг подле друга, как убитые солдаты, другие же рассыпаны хаотическими грудами.

Эти развалины гигантских храмов, самые обширные в Европе, наполняют целую равнину и усеивают еще один холм в конце этой равнины. Они тянутся по всему взморью, длинному, покрытому бледным песком, на котором лежит несколько рыбацких лодок, хотя нигде не видно жилья рыбаков. Впрочем, эти бесформенные кучи камней могут заинтересовать только археологов или людей с поэтической душой, которых волнуют следы прошлого.

Джирдженти — древний Агригент, — расположенный, как и Селинунт, на южном берегу Сицилии, представляет самое удивительное собрание храмов, какое только можно увидать.

На гребне длинного каменистого берега, совершенно голого, огненно-красного, без единой травинки, без единого куста, возвышаются над морем, берегом и гаванью на синем фоне южного неба — если глядеть снизу — величественные каменные очертания трех великолепных храмов.

Они как бы парят в воздухе среди этого великолепного и печального пейзажа. Все мертво, бесплодно и желто вокруг них, перед ними и

позади них. Солнце сожгло, испепелило землю. А может быть, и не солнце источило почву, а подземный огонь, который никогда не угасает в жилах этого вулканического острова. Ведь повсюду вокруг Джирдженти тянется своеобразная область серных копей. Здесь все из серы: земля, камни, песок — решительно все.

А они, эти храмы, вечные жилища богов, умерших так же, как и их братья, люди, по-прежнему стоят на диких холмах на расстоянии полукилометра друг от друга.

Вот прежде всего храм Лакинийской Юноны, где, по преданию, хранилась знаменитая картина с изображением Юноны, написанной Зевксисом, который выбрал себе для модели пять самых красивых девушек Акрагаса.

Потом храм Мира, один из наиболее сохранившихся храмов древности, потому что он в Средние века служил церковью.

Еще дальше — остатки храма Геркулеса.

И, наконец, гигантский храм Юпитера, тот самый, который снискал похвалу Полибия и был описан Диодором. Он построен в V веке и содержит тридцать восемь полуколонн по шесть с половиной метров в окружности. В каждом желобке такой колонны может поместиться

человек.

Сидя на краю дороги, идущей у подножия этого изумительного скалистого побережья, невольно предаешься мечтам и воспоминаниям об этом величайшем народе-художнике. Кажется, что видишь перед собою весь Олимп — Олимп Гомера, Овидия, Вергилия, Олимп очаровательных богов, плотских, страстных, как мы сами, поэтически олицетворявших все порывы нашего сердца, все грезы нашей души, все влечения наших чувств.

На фоне этого античного неба встает весь античный мир. Вас охватывает могучее и необычное душевное волнение, вам хочется преклонить колени перед этим величественным наследием, оставленным нам учителями наших учителей.

Конечно, Сицилия — прежде всего священная земля, ибо если мы в ней находим эти последние обители Юноны, Юпитера, Меркурия и Геркулеса, то здесь же встречаются и самые замечательные христианские церкви в мире. Воспоминание, которое остается у вас о соборах в Чефалу или в Монреале, а также о Дворцовой капелле, об этом чуде из чудес, еще более глубоко и живо, чем воспоминание о памятниках греческой архитектуры.

У подножия холма с храмами Джирдженти

начинается изумительная страна, которая представляется подлинным царством Сатаны; ведь если, как верили в прежние времена, Сатана обитает в обширной подземной области, где в расплавленной сере варятся грешники, то несомненно, что он основал свое таинственное царство именно в Сицилии.

Сицилия дает чуть ли не всю мировую добычу серы. На этом огненном острове серные копи насчитываются тысячами.

Прежде всего в нескольких километрах от города находится любопытный холм, Маккалуба, состоящий из глины и известняка и покрытый небольшими конусами в два-три фута высотой. Они напоминают нарывы, какую-то чудовищную болезнь природы, так как из каждого конуса течет горячая грязь, похожая на отвратительный почвенный гной; порой они выбрасывают на значительную высоту камни и со страшным хрипом выдыхают газы. Кажется, что они ворчат, эти грязные, стыдливые маленькие вулканы, прокаженные ублюдки, прорвавшиеся нарывы.

Оттуда мы отправляемся осматривать серные копи. Мы вступаем в область гор. Это поистине страна опустошения, жалкая, как бы проклятая земля, осужденная самой природой. Перед нами

открываются серые, желтые каменистые мрачные долины, носящие на себе печать Божьего гнева и в то же время словно гордящиеся своим одиночеством и нищетой.

Наконец нам удается разглядеть какие-то жалкие низенькие постройки. Там находятся копи. В этой местности их, кажется, насчитывают более тысячи.

При входе в ограду одной из копей нам прежде всего бросается в глаза странный холмик, серовато-желтый и дымящийся. Это и есть серный источник, созданный трудом человека.

Вот как добывают серу. Выходя из копей, она черновата, смешана с землей, с известняком и прочими породами. Она представляет собой нечто вроде камня, твердого и ломкого. Как только эти камни доставлены из штольни, их складывают в высокую кучу, которую затем поджигают изнутри. И вот медленный, непрерывный и глубокий пожар в течение целых недель пожирает центр этой искусственной горы, выделяя из нее чистую серу, которая плавится и стекает, как вода, по маленькому каналу.

Полученный таким образом продукт снова обрабатывают в чанах, где он кипит и окончательно очищается.

Копи, из которых добывают серу, похожи на любые другие копи. По узкой лестнице с огромными неровными ступенями вы спускаетесь в штольни, вырытые в сплошном слое серы. Этажи, расположенные одни над другими, соединены широкими отверстиями, подающими воздух в самые глубокие из них. И все же в конце спуска вы задыхаетесь от удушливых серных испарений и страшной, как в бане, жары, от которой сердце бьется как сумасшедшее и кожа покрывается испариной.

Время от времени вам попадается навстречу партия взбирающихся по крутой лестнице детей, нагруженных корзинами. Надрываясь под тяжестью ноши, несчастные мальчуганы хрипят и задыхаются. Им по десять-двенадцать лет, и они проделывают это ужасное путешествие по пятнадцать раз в день за плату в одно су за каждый подъем. Они низкорослые, худые, желтые, с огромными блестящими глазами, с худыми лицами и тонкими губами, открывающими зубы, блестящие, как их глаза.

Эта возмутительная эксплуатация детей — одно из самых тягостных зрелищ, какое только можно видеть.

Но на другом берегу острова, или, вернее ска-

зать, в нескольких часах езды от берега, можно наблюдать такое изумительное явление природы, что, увидев его, вы забываете о ядовитых копях, где убивают детей. Я говорю о Вулькано, этом фантастическом серном цветке, распустившемся среди открытого моря.

Вы отплываете в полночь из Мессины на грязном пароходе, где даже пассажиры первого класса не могут найти скамейки, чтобы присесть на палубе.

Ни малейшего ветерка — одно лишь движение судна нарушает тишину воздуха, словно дремлющего над водой.

Берега Сицилии и Калабрии благоухают таким сильным ароматом цветущих апельсиновых деревьев, что весь пролив надушен, как женская спальня. Вскоре город уходит вдаль, мы плывем между Сциллой и Харибдой, горы позади нас опускаются, и над нами появляется приплюснутая снеговая вершина Этны, которая при свете полной луны гора кажется увенчанной серебром.

Потом вы ненадолго засыпаете — монотонный шум винта убаюкивает — и открываете глаза уже при свете зарождающегося дня.

Вон там, прямо против вас, Липарские острова. Первый слева и последний справа выбрасывают

в небо клубы густого белого дыма. Это Вулькано и Стромболи. Между этими двумя огнедышащими горами вы видите Липари, Филикури, Аликури и несколько островков, невысоко подымающихся над водой.

Вскоре пароход останавливается перед островком и маленьким городком Липари. Несколько белых домов у подножия высокого зеленого берега, больше ничего, и ни единой гостиницы: иностранцы не приезжают на этот остров.

Он плодороден, очарователен, окружен восхитительными скалами причудливых форм, густого приглушенного красного цвета. Здесь имеются минеральные воды, которые раньше посещались, но епископ Тодазо велел разрушить построенные тут купальни, дабы оградить свою паству от притока и влияния иностранцев.

Липари заканчивается на севере оригинальной белой горой, которую издали под более холодным небом можно было бы принять за снеговую. Здесь добывают пемзу для всего света.

Я нанимаю лодку, чтобы посетить Вулькано.

Четыре гребца ведут ее вдоль плодородного берега, засаженного виноградниками. Странно видеть отражение красных скал в синем море. Вот и маленький пролив, разделяющий оба ост-

рова. Конус Вулькано выступает из волн, как огнедышащая гора, потонувшая в море до самой вершины.

Это дикий островок, наиболее высокая точка которого достигает четырехсот метров над уровнем моря, а поверхность равняется приблизительно двадцати квадратным километрам. Прежде чем добраться до него, приходится объехать другой островок, Вульканелло, поднявшийся внезапно из воды около двухсотого года до Рождества Христова и соединенный со старшим своим братом узкой полосой земли, которая в бурную погоду заливается волнами.

Но вот мы в глубине плоской бухты, прямо против дымящегося кратера. У его подножия стоит дом, в котором живет один англичанин: в эту минуту он, по-видимому, спит, иначе я не имел бы возможности взобраться на вулкан, эксплуатируемый этим промышленником, — но он спит, и я прохожу обширным огородом, затем миную небольшой виноградник, принадлежащий англичанину, и, наконец, целую рощу цветущего испанского дрока. Кажется, что огромный желтый шарф обмотан вокруг конуса горы, вершина которой тоже желтая, ослепительно желтая под яркими лучами солнца. Я поднимаюсь по узкой

тропинке, которая извивается по пеплу и лаве, поворачивает то вправо, то влево и возвращается назад, крутая, скользкая и твердая. Местами вы видите окаменевший каскад серы, который излился из расселины подобно водопадам, низвергающимся в швейцарских горах.

Это похоже на ручей из феерии, на застывший свет, на поток солнечных лучей.

Я наконец добираюсь до вершины — широкой площадки, окружающей большой кратер. Земля дрожит, и передо мной из отверстия величиной с человеческую голову неистово вырывается огромный фонтан пламени и пара, а с краев этого отверстия стекает жидкая сера, позолоченная огнем. Она образует вокруг этого фантастического источника желтое, быстро затвердевающее озеро.

Дальше другие расселины также извергают белый пар, и он поднимается тяжелыми клубами в синем воздухе.

Я не без страха ступаю по горячему пеплу и лаве и дохожу до самого края большого кратера. Трудно представить себе зрелище более неожиданное и поражающее.

На дне огромной чаши под названием «фосса», шириной пятьсот метров и около двухсот

глубиной, штук десять гигантских расселин и широких круглых отверстий изрыгают огонь, дым и серу со страшным шумом кипящих котлов. Спускаюсь по склону этой пропасти и прохожу у самого края разъяренных пастей вулкана. Все желто вокруг меня, у моих ног и надо мной, ослепительно, умопомрачительно желто. Все желто: почва, высокие стены кратера и самое небо. Желтое солнце льет в клокочущую бездну пылающий свет, который в соединении с жаром этой серной чаши причиняет боль, словно ожог. И видишь, как кипит текущая желтая жидкость, как расцветают причудливые кристаллы, как пенятся кислоты ярких и странных оттенков на раскаленных губах очагов.

Англичанин, почивающий в эту минуту у подножия горы, собирает, эксплуатирует и продает эти кислоты, эти жидкости — все то, что изрыгает кратер; ведь все это, по-видимому, стоит денег, и больших денег.

Я медленно возвращаюсь, с трудом переводя дух, запыхавшись, чувствуя удушье от невыносимого дыхания вулкана, и, вскоре достигнув вершины конуса, вижу все Липарские острова, рассыпанные, как бусинки, вдоль берега.

Вон там, прямо напротив, возвышается Стром-

боли, а позади меня — гигантская Этна, которая словно смотрит издали на своих детей и внуков.

На обратном пути я заметил с лодки скрывавшийся за Липари остров. Лодочник назвал его «Салина». На этом-то острове и выделывают мальвазию.

Мне захотелось выпить на месте бутылку этого знаменитого вина. Оно похоже на сироп из серы. Это подлинное вино вулканов, густое, сладкое, золотистое и настолько насыщенное серой, что вкус ее остается у вас во рту до самого вечера. Вино Сатаны.

Грязный пароходик, который доставил нас сюда, увозит меня и обратно. Сперва я вижу Стромболи. Это круглая высокая гора, вершина которой дымится, а подножие погружено в море, — просто огромный конус, поднимающийся из воды. На склонах горы видишь несколько домов, прилепившихся к ней, как морские раковины к скале. Затем глаза мои обращаются к Сицилии, куда я возвращаюсь, и уже не могут оторваться от Этны, грузно усевшейся на острове, подавляя его своей страшной, чудовищной тяжестью и возвышаясь снежной вершиной над всеми другими сицилийскими горами.

Все эти высокие горы выглядят карлицами

перед Этной, но и сама она кажется невысокой, настолько она широка и тяжела. Чтобы постигнуть размеры этого грузного великана, надо смотреть на него с открытого моря.

Налево показывается гористое побережье Калабрии, и Мессинский пролив раскрывается, как устье реки. Мы проникаем в него и вскоре входим в гавань.

Город Мессина не представляет ничего интересного. В тот же день я сажусь в поезд и еду в Катанию. Дорога идет по очаровательному берегу, огибает заливы причудливой формы, которые оживлены маленькими белыми деревушками, расположенными в глубине бухт и около песчаных пляжей. А вот и Таормина.

Если бы человек, располагающий всего одним днем для пребывания в Сицилии, спросил меня: «Что мне повидать в Сицилии?» — я бы, не колеблясь, ответил ему: «Таормину».

Это только пейзаж, но такой пейзаж, в котором вы найдете все то, что, словно нарочно, создано на земле, чтобы пленять взор, ум и воображение.

Деревня прилепилась к склону большой горы, словно скатившись с ее верха, но мы только проходим через нее, хотя там есть несколько интересных памятников старины, и направляемся

к греческому театру, чтобы оттуда полюбоваться заходом солнца.

Говоря о театре в Сегесте, я сказал, что греки как несравненные мастера декоративного искусства умели выбрать то единственное место, где должен быть построен театр, место, созданное для того, чтобы радовать эстетическое чувство.

Театр Таормины так изумительно расположен, что во всем мире не найдется места, которое могло бы выдержать сравнение с ним. Проникнув в ограду и осмотрев сцену, единственную, которая хорошо сохранилась до наших дней, вы поднимаетесь на обрушившиеся и поросшие травой скамьи амфитеатра, некогда предназначавшиеся для публики и способные вместить тридцать пять тысяч зрителей. Затем вы бросаете взгляд вокруг и прежде всего видите развалины, печальные, гордые, рухнувшие. Среди них стоят, все еще совершенно белые, прелестные мраморные колонны, увенчанные капителями. Далее, поверх стен, вы видите у своих ног безграничную морскую даль, берег, который тянется до самого горизонта, усеянный огромными скалами, окаймленный золотыми песками, оживленный белыми деревушками, а справа, превыше всего, господствуя над всем, заполняя своей массой

половину небосклона, — дымящая в отдалении, покрытая снегом Этна.

Где в наши дни найдется народ, который сумел бы создать нечто подобное? Где люди, которые для увеселения толпы сумели бы воздвигнуть здания, подобные этому?

А вот те люди, люди древности, обладали душой и глазами, непохожими на наши, и в их крови было нечто такое, что теперь исчезло: любовь к прекрасному и восхищение им.

Но мы едем в Катанию, откуда я намереваюсь взобраться на вулкан.

Время от времени он показывается между двумя горами, увенчанный неподвижным белым облаком паров, исходящих из кратера.

Повсюду вокруг нас почва коричневая, цвета бронзы. Поезд несется по берегу из лавы.

Все же чудовище еще далеко от нас: пожалуй, на расстоянии тридцати шести-сорока километров. Тут только постигаешь, до чего оно огромно. Его гигантская черная пасть время от времени изрыгала горячий поток горной смолы, который стекал по отлогим или крутым скатам, заполнял долины, погребал деревни, уносил людей, как река, и наконец, докатившись до берега, угасал в море, заставляя его отступать. Эти медленные,

вязкие красные волны образовали гряды прибрежных утесов, горы и овраги, затем затвердели и потемнели, создав вокруг огромного вулкана черную и странную местность, изрытую, бугристую, извилистую, невероятную, начертанную случайностью извержений и страшной фантазией горячей лавы.

Иногда Этна в течение нескольких веков пребывает в покое и только выпускает из кратера в небо тяжелые клубы дыма. Тогда под действием дождей и солнца лава старых потоков распыляется, превращаясь в своего рода золу, в песчаную и черную землю, на которой растут оливковые, апельсиновые, лимонные и гранатовые деревья, виноградники и хлеба.

Трудно найти местечко более зеленое, более привлекательное, более чарующее, чем Ачи-Реале, расположенный среди апельсиновой и оливковой рощ. Далее между деревьями порой снова мелькает широкая черная полоса, устоявшая перед временем, сохранившая первоначальные формы кипящей лавы, необычайные контуры, подобия сплетенных животных и сведенных рук и ног.

А вот и Катания, обширный и красивый город, весь выстроенный на лаве. Из окон «Гранд-отеля»

мы видим вершину Этны.

Прежде чем на нее взобраться, расскажем в нескольких словах историю этой горы. По верованию древних, Этна была кузницей Вулкана. Пиндар описал извержение 476 года, однако Гомер не упоминает об Этне как об огнедышащей горе. Впрочем, уже в доисторические времена сиканы вынуждены были бежать от нее. Всех ее извержений насчитывается около восьмидесяти.

Самые страшные были в 396, 126 и 122 годах до Рождества Христова, далее извержения 1169, 1329, 1537 годов и особенно сильное — в 1669-м, которое выгнало из жилищ свыше двадцати семи тысяч человек и уничтожило очень многих.

Тогда-то и вышли неожиданно из земли две высоких горы — Монти Росси.

Извержение 1693 года, сопровождаемое страшным землетрясением, разрушило около сорока городов и погребло под их развалинами почти сто тысяч человек. Извержение в 1755 году произвело страшные опустошения. Извержения 1792, 1843, 1852, 1865, 1874, 1879 и 1882 годов были столь же сильны и разрушительны. Лава то вырывается из главного кратера, то открывает для себя на склонах горы новые выходы в пятьдесят-шестьдесят метров шириной и, прорвавшись сквозь

эти расселины, стекает в равнину.

26 мая 1879 года лава, сперва вытекавшая из кратера, возникшего в 1874 году, вскоре прорвалась из нового конуса высотой в 170 метров, образовавшегося под ее напором на высоте 2450 метров над уровнем моря. Она быстро сбегала вниз и, перерезав дорогу из Лингваглосса в Рондаццо, остановилась близ речки Алькантара. Пространство, залитое этим потоком лавы, равнялось 22 860 гектарам, хотя извержение длилось не более десяти дней.

В то время кратер на вершине Этны извергал лишь густые клубы пара, песок и пепел.

Благодаря исключительной любезности г-на Рагуза, члена Альпийского клуба и владельца «Гранд-отеля», мы совершили с величайшей легкостью восхождение на вулкан — восхождение, несколько утомительное, но вовсе не опасное.

Сперва мы ехали в экипаже до Николози — через поля и сады, деревья которых выросли на разрыхленной лаве. Время от времени мы пересекали потоки застывшей лавы, сквозь которую прорублен проход для дороги. Почва повсюду черная.

После трех часов пути по отлогому скату мы доезжаем до последней у подножия Этны деревни

Николози, расположенной уже на высоте 700 метров и на расстоянии 14 километров от Катании.

Здесь мы оставляем коляску, берем проводника, мулов, одеяла, шерстяные чулки и перчатки и отправляемся дальше.

Уже половина пятого. Жгучее солнце восточных стран изливает свои лучи на эту необыкновенную землю, накаляет ее и жжет.

Животные идут медленно, усталым шагом, поднимая вокруг себя облака пыли. Последний мул, нагруженный багажом и провизией, то и дело останавливается, словно огорчаясь тем, что ему еще раз приходится проделывать этот бесполезный и трудный путь.

Теперь вокруг нас виноградники, растущие на лаве, одни — старые, другие — недавно посаженные. А вот ланда, ланда из лавы, покрытая цветущим дроком, золотая ланда; потом мы пересекаем огромный поток застывшей лавы 1882 года и останавливаемся, пораженные этой грандиозной рекой, черной и неподвижной, этой бурлящей и окаменелой рекой, докатившейся сверху, с дымящейся вершины, такой далекой-далекой, километров за двадцать отсюда. Эта река текла по долинам, огибала остроконечные вершины, пересекала равнины, и вот она теперь

у наших ног, внезапно остановившаяся в своем течении, когда иссяк ее огненный источник.

Мы поднимаемся, оставляя слева горы Монти Росси и открывая все время другие горы, множество других гор, которые наши проводники называют сыновьями Этны, выросшими вокруг этого чудовища, обвитого ожерельем вулканов. Их всего около трехсот пятидесяти, этих черных отпрысков старого вулкана; многие из них достигают высоты Везувия.

Теперь мы проезжаем через редкий лес, тоже выросший на лаве. Вдруг поднимается ветер. Сперва это резкие, сильные порывы, за которыми следует момент затишья, потом налетает бешеный, почти непрерывный ураган, который вздымает и мчит густые тучи пыли.

Мы останавливаемся за стеной из лавы, чтобы переждать, и задерживаемся здесь до ночи. Наконец приходится опять пускаться в путь, хотя буря не прекращается.

И вот понемногу нас охватывает холод, тот пронизывающий холод горных вершин, который леденит кровь и парализует тело. Он словно подстерегает нас, притаившись в самом ветре; он колет глаза и жжет кожу леденящими прикосновениями. Закутавшись в одеяла, мы идем, белые,

как арабы, надев теплые перчатки, закрыв головы капюшонами и предоставив нашим мулам самим выбирать дорогу. Они следуют гуськом, один за другим, спотыкаясь на неровной и темной тропе.

Вот наконец Casa del Bosco[4], лесная хижина, в которой живут пять-шесть дровосеков. Проводник заявляет, что дальше идти в такую бурю невозможно, и мы просим приюта на ночь. Дровосеки встают, зажигают огонь и уступают нам два теплых соломенных матраца, набитых, видимо, одними блохами. Вся хижина дрожит и колеблется под напором бури, и ветер бешено врывается под плохо скрепленные черепицы кровли.

Не придется нам увидать восход солнца на вершине гори.

После нескольких часов отдыха без сна мы снова пускаемся в путь. Настал день, и ветер стихает.

Теперь перед нами развертывается черная волнистая местность, которая незаметно поднимается к области вечных снегов, ослепительно блистающих у подножия последнего конуса высотой триста метров.

---

[4] Примечания: 4
Дом в лесу *(итал.).*

Хотя солнце восходит на безоблачно синем небе, но от холода, жестокого холода горных высот, стынут пальцы и лицо. Наши мулы медленно бредут гуськом по извилистой тропе, огибающей все капризные неровности лавы.

Вот первая снежная поляна: мы делаем крюк, чтобы ее обойти, — но вскоре за первой следует вторая, которую приходится пересекать по прямой линии. Животные в нерешительности нащупывают ногами путь и осторожно продвигаются вперед. Вдруг я чувствую, что проваливаюсь. Передние ноги моего мула пробили корку замерзшего снега, на которую они опирались, и животное погрузилось по самую грудь. Испуганный мул бьется, поднимается, снова проваливается всеми четырьмя ногами и опять поднимается, чтобы снова упасть.

То же происходит и с другими мулами. Нам приходится спешиться, чтобы успокаивать их, помогать им, вытаскивать их. На каждом шагу они погружаются по брюхо в эту белую и холодную пену, куда наши ноги также уходят до колен. Между полосами снега, покрывающего впадины, нам снова попадается лава, широкие равнины лавы, подобные огромным полям черного бархата, сверкающие под солнцем так же ярко, как

самый снег. Это *пустынная область*, мертвая страна, словно одетая в траур, сплошь белая и черная, ослепительная, страшная, великолепная, незабываемая.

После четырех часов тяжелого пути мы доходим до Casa Inglese[5], маленького каменного домика, окруженного льдами, почти погребенного в снегах, у подножия последнего конуса, который возвышается за ним, огромный, отвесный, увенчанный дымом.

Обычно здесь проводят ночь на соломе, чтобы утром взойти на вершину кратера и полюбоваться оттуда восходом солнца. Здесь мы оставляем своих мулов и начинаем взбираться по этой страшной стене из застывшего пепла, подающегося под ногами, где не за что ухватиться, не за что удержаться, где сползаешь назад через каждые два шага. Мы подвигаемся вперед, задыхаясь, тяжело переводя дух, втыкая в мягкую почву железное острие палки и поминутно останавливаясь.

При подъеме необходимо втыкать палку между колен, чтобы не поскользнуться и не слететь вниз: окат такой крутой, что на нем невозможно

---

[5] Примечания: 5
Английский дом *(итал.).*

удержаться даже сидя.

Приходится затратить около часа, чтобы взобраться на триста метров. Уже с некоторого времени горло щекочут удушливые серные пары. То справа, то слева мы видим высокие столбы дыма, вырывающиеся из расселин в почве, дотрагиваемся руками до больших раскаленных камней, наконец достигаем узкой площадки. Перед нами, как белый занавес, медленно поднимается густое облако, исходящее от земли. Мы делаем еще несколько шагов, закрывая нос и рот, чтобы не задохнуться от серы, и вдруг под самыми нашими ногами разверзается огромная страшная пропасть километров пять в окружности. Сквозь удушливые испарения едва можно разглядеть противоположный край этой чудовищной ямы, достигающей полутора километров в ширину, отвесные стены которой уходят в таинственную и страшную область огня.

Зверь сейчас спокоен: спит в самой глубине, — и только дым вырывается из этой гигантской трубы, высотой 3 312 метров.

Вокруг нас еще более необычайное зрелище. Всю Сицилию скрывают от наших взоров туманы, которые обрываются на берегу моря, окутывая одну лишь сушу; мы словно стоим в небе, над

облаками, среди голубого воздушного океана, на такой высоте, что Средиземное море, простирающееся перед нами, на сколько видно глазу, тоже кажется синим небом. Лазурь обнимает нас со всех сторон. Мы же стоим на вершине дивной горы, которая словно выходит из облаков и тонет в небесах, распростершихся над нашей головой, у наших ног — повсюду.

Но мало-помалу туман, разлитый над островом, поднимается вокруг нас и окружает огромный вулкан кольцом облаков, бездной облаков. Теперь и мы, в свою очередь, на дне совершенно белого кратера, откуда уже ничего не видно, кроме голубого неба там, наверху.

Говорят, что в другие дни картина бывает совершенно иная.

Обычно ждут восхода солнца, которое появляется из-за берегов Калабрии. Они далеко отбрасывают тень через море, до самого подножия Этны, темный необъятный силуэт которой покрывает всю Сицилию своим огромным треугольником, постепенно тающим, по мере того как восходит дневное светило. Тогда открывается панорама диаметром больше четырехсот километров и окружностью тысячу триста километров с Италией на севере и с Липарскими островами, оба

вулкана которых словно приветствуют своего отца; далеко на юге едва виднеется Мальта. В сицилийских портах корабли похожи на ползущих по морю насекомых.

Александр Дюма-отец дал нам восторженное и очень удачное описание этой картины.

Мы начинаем спускаться по крутому склону кратера больше на спине, чем на ногах, и вскоре вступаем в пояс густых облаков, окружающих вершину горы. Целый час мы пробираемся сквозь туман и, наконец, выходим из него и видим у наших ног зеленый остров с изрезанными берегами, с заливами, мысами, городами и обрамляющим его ярко-синим морским простором.

По возвращении в Катанию мы на другой же день отправляемся в Сиракузы.

Путешествие по Сицилии надо завершать посещением этого небольшого, но оригинального и очаровательного городка. Он прославился не менее самых крупных городов, а царствовавшие в нем тираны были столь же знамениты, как Нерон. Город производит вино, воспетое поэтами, и господствует над заливом, в который впадает небольшая речка Анапо, на берегах которой растет папирус — хранитель тайн человеческой мысли. В стенах Сиракуз заключена одна из пре-

краснейших Венер в мире.

Люди пересекают материки, чтобы поклониться какой-либо чудотворной статуе, я же совершил паломничество, чтобы поклониться Венере Сиракузской.

В альбоме одного путешественника я как-то увидел фотографию этой божественной мраморной самки и влюбился в нее, как влюбляются в живую женщину. Возможно, ради нее я и предпринял это путешествие, поскольку говорил и мечтал о ней постоянно, еще не видев ее.

Но мы приехали слишком поздно, чтобы попасть в музей, вверенный попечению профессора Франческо Саверио Кавалари, который, подобно новому Эмпедоклу, спустился в кратер Этны, чтобы выпить там чашку кофе.

Итак, мне оставалось пройтись по городу, построенному на островке и отделенному от суши тремя стенами, между которыми проходят три морских пролива. Город, небольшой и привлекательный, стоит на берегу залива, и его сады и бульвары спускаются к самой воде.

Затем мы отправляемся осмотреть Латомии — огромные ямы под открытым небом, которые сперва были каменоломнями, а впоследствии превратились в тюрьмы, где в течение восьми

месяцев были заключены афиняне, взятые в плен после поражения Никия. Они страдали в этом огромном рву от голода, жажды, невыносимой жары и умирали в грязи, где кишела всякая нечисть.

В одной из них, в Райской Латомии, в глубине пещеры имеется странное отверстие, которое носит название «ухо Дионисия»: по преданию, этот мифический персонаж подходил к краю дыры, чтобы слушать стоны своих жертв. Существуют и другие версии. Некоторые хитроумные ученые полагают, что эта пещера, соединенная с театром, служила подземным залом для представлений, ибо при ее необычайном резонансе малейший звук усиливается до невероятных размеров.

Самая любопытная из Латомий — несомненно, Латомия капуцинов; это большой широкий сад, разделенный сводами, арками, огромными скалами и окруженный белыми утесами.

Немного подальше можно осмотреть катакомбы, занимающие, как говорят, площадь в двести гектаров, где г-н Кавалари нашел один из самых красивых христианских саркофагов, какие только известны.

Затем мы возвращаемся в нашу скромную гостиницу над морем и долго сидим, погрузившись

в смутные грезы, глядя на красный и синий глаз корабля, стоящего на якоре.

Наступает утро, и так как о нашем посещении предупреждены, нам тотчас же открывают двери очаровательного маленького дворца, в котором заключены местные коллекции и произведения искусства.

Войдя в музей, я тотчас увидел ее в глубине одного зала, такую же прекрасную, как я себе и представлял.

У нее нет головы и недостает руки, но никогда еще формы человеческого тела не казались мне такими дивными и волнующими.

Это не опоэтизированная, не идеализированная женщина, не величественная или божественная женщина, как Венера Милосская, — это женщина, какова она в действительности, какую любят, какую желают, какую жаждут обнять.

Она полная, с сильно развитой грудью, мощными бедрами и немного тяжеловатыми ногами — Венера из плоти и крови. И когда видишь, как она стоит, мечтаешь увидеть ее лежащей. Отломанная рука прикрывает грудь, а уцелевшей рукой она приподнимает одежду, очаровательным жестом заслоняя сокровеннейшие свои прелести. Все ее тело изваяно и задумано ради

этого движения, все линии сосредоточены на нем, вся мысль устремлена на него. Этим простым и естественным жестом, полным стыдливости и бесстыдства, который прячет и указывает, скрывает и обнаруживает, привлекает и отстраняет, как будто и определяется все положение женщины на земле.

И мрамор живет, хочется его ощупать: кажется, что он подастся под рукой, как живое тело.

Бедра в особенности дышат жизнью и красотой. Как разворачивается во всей своей прелести эта волнистая округлая линия женской спины, что идет от затылка до ступней и выказывает все оттенки человеческой грации в контурах плеч, в округленности бедер, в легком изгибе икр, утончающихся к щиколоткам!

Художественное произведение достигает высшей степени совершенства лишь при условии, что оно одновременно и символ, и точное выражение реального.

Венера Сиракузская — это женщина и в то же время символ плоти.

Глядя на голову Джоконды, вы чувствуете себя во власти какого-то искушения мистической и расслабляющей любви. Существуют и живые женщины, глаза которых внушают нам эту мечту

о несбыточном, таинственном счастье. В них мы ищем чего-то иного, скрытого за тем, что есть на самом деле: нам кажется, будто они носят в себе и выражают какую-то долю этого неуловимого идеала. Мы гонимся за ним, никогда его не достигая, мы ищем его за всеми неожиданными проявлениями красоты, которые, как нам кажется, таят в себе скрытую мысль, мы ищем его в беспредельной глубине взгляда, которая на самом деле только оттенок радужной оболочки, в очаровании улыбки, которое зависит лишь от складки губ и мгновенного блеска эмали зубов, в грации движений, порожденной случайностью и гармонией форм.

Так поэты, бессильно пытавшиеся сорвать звезды с неба, всегда мучились жаждой мистической любви. Естественная экзальтация поэтической души, доведенная до крайности художественным возбуждением, заставляет эти избранные натуры создавать себе какую-то туманную любовь, безумно нежную, полную экстаза, никогда не удовлетворенную, чувственную, но не плотскую, настолько утонченную, что она исчезает от самой ничтожной причины, недосягаемую и сверхчеловеческую. И эти поэты, пожалуй, единственные мужчины, которые никогда не любили

ни одной женщины, настоящей женщины, из плоти и крови, с ее женскими достоинствами и недостатками, с ограниченным, но очаровательным женским умом, с женскими нервами, со всей волнующей природой самки.

Всякая женщина, вдохновляющая их мечту, является символом существа таинственного, но сказочного, того существа, какое они воспевают, эти певцы иллюзий. Она, эта живая, обожаемая ими женщина, является для них чем-то вроде раскрашенной статуи, вроде иконы, перед которой народ преклоняет колени. Где же это божество? Что оно представляет собой? В какой части неба обитает та незнакомка, которой поклонялись все эти безумцы, от первого мечтателя до последнего? Едва они касаются руки, отвечающей на их пожатие, как душа их уносится на крыльях невидимой грезы, далеко от земной действительности.

Обнимая женщину, они преображают, дополняют, искажают ее своим искусством поэтов. Это не ее губы они целуют: это губы, которые им пригрезились. Не в глубину ее синих или черных глаз погружается их восторженный взор, но во что-то неведомое и непознаваемое. Взор их любовницы — лишь окно, через которое они стремятся увидеть рай идеальной любви.

Но если некоторые женщины, волнующие нас, могут внушить нашей душе эту редкую иллюзию, то другие пробуждают в наших жилах тот бурный порыв любви, который положил начало человеческому роду.

Венера Сиракузская является совершенным выражением этой мощной, здоровой и простой красоты. Говорят, что этот чудный торс, изваянный из паросского мрамора, и есть та самая Венера Каллипига, которую описали Афиней и Лампридий и которую подарил сиракузянам император Гелиогабал.

Она без головы? Ну так что же! Символ от этого стал еще полнее. Это женское тело выражает всю истинную поэзию ласки.

Шопенгауэр сказал, что природа, желая увековечить человеческий род, превратила акт его воспроизведения в ловушку.

Эта мраморная статуя, которую можно видеть в Сиракузах, — подлинная ловушка для людей, которую угадал древний ваятель; это женщина, скрывающая и в то же время показывающая соблазнительную тайну жизни.

Ловушка? Ну так что ж! Она притягивает уста, привлекает руку, предлагает поцелуям осязаемую, подлинную, дивную плоть, белую и упругую

плоть, округленную, крепкую, сладостную для объятий.

Она божественна не потому, что выражает какую-либо мысль, но потому только, что прекрасна.

Любуясь ею, вспоминаешь о сиракузском бронзовом овне, одном из лучших экспонатов Палермского музея: он тоже как бы воплощает в себе животное начало мира. Могучий баран лежит, поджав под себя ноги, повернув голову влево. И эта голова животного кажется головой бога, скотского, нечистого и великолепного бога. Лоб у него широкий и кудрявый, глаза далеко расставлены, нос горбатый, длинный, крепкий и гладкий, с поразительным выражением грубой силы. Рога, откинутые назад, закручиваются и загибаются, выставляя в стороны острые концы под узкими ушами, которые тоже походят на два рога. И взгляд животного — бессмысленный, тревожный и жестокий — пронизывает вас. Чуешь зверя, когда подходишь к этой бронзе.

Кто же эти два дивных художника, которые сумели так ярко воплотить в двух столь различных образах простую красоту живого создания?

Это единственные две статуи, которые, как живые существа, оставили во мне горячее желание

увидеть их снова.

В дверях, уходя, я в последний раз бросаю прощальный взгляд на этот мраморный торс: прощальный взгляд, который бросают любимой женщине, покидая ее, — и тут же сажусь в лодку, чтобы приветствовать — это долг писателя — папирусы Анапо.

Мы пересекаем залив из конца в конец и видим на плоском голом берегу устье маленькой речки, почти ручья, куда и въезжает наша лодка.

Течение очень быстрое, и плыть против него нелегко. Мы пользуемся то веслами, то багром, чтобы скользить по воде, которая быстро бежит между двумя берегами, усеянными массой маленьких ярко-желтых цветочков, между двумя золотыми берегами.

Вот и камыши, которые мы задеваем проезжая: сгибаются и выпрямляются снова, — дальше из воды встают ярко-синие ирисы, а над ними реют бесчисленные стрекозы величиной с колибри, трепеща стеклянными перламутровыми крылышками. Далее, на крутых нависших берегах, растут гигантские лопухи и огромные вьюнки, обвивающие наземные растения и речные камыши.

Под нами, на дне реки, целый лес длинных вол-

нистых водорослей: они движутся, колышутся и словно плывут в колеблющей их воде.

Потом Анапо отделяется от своего притока, древней Цианеи. Мы продолжаем плыть, подталкивая лодку багром. Речка, извиваясь, открывает нашим взорам все новые и новые очаровательные уголки, цветущие и живописные. Наконец появляется остров, заросший странными деревцами. Жидкие трехгранные стебли девяти-двенадцати футов высотой, увенчаны круглыми пучками зеленых нитей, длинных, тонких и гибких, как волосы. Они похожи на головы людей, обращенных в растения и брошенных в воды священного источника языческими богами, некогда населявшими эти места. Это и есть древний папирус.

Крестьяне зовут этот камыш «parruca»[6].

А там дальше его еще больше, целый лес. Камыши дрожат, шелестят, склоняются, сталкиваются волосатыми лбами и словно ведут между собой беседу о неведомых делах далекого прошлого.

Не странно ли, что почтенное растение, которое сохранило для нас мысли умерших, которое было стражем человеческого гения, носит на

---

[6] Примечания: 6
Парик *(итал.).*

тщедушном теле пышную гриву, густую и развевающуюся, как у наших поэтов?

Мы возвращаемся в Сиракузы при заходе солнца и видим на рейде только что прибывший почтовый пароход, который сегодня же вечером увезет нас в Африку.

Под солнцем

Полю Арно

Жизнь, такая краткая, такая долгая, становится подчас невыносимой. Ее течение всегда одно и то же, и в конце всего — смерть. Жизни не остановишь, не изменишь, не поймешь. И часто нас охватывает возмущение и негодование перед тщетностью наших усилий. Что бы мы ни делали, мы умрем! Во что бы мы ни веровали, как бы ни мыслили, что бы ни пытались делать — мы умрем. И кажется, что умрешь завтра, так ничего больше не узнав и уже питая отвращение ко всему, что знаешь. И чувствуешь себя подавленным от сознания «извечного ничтожества вещей», бессилия человека и однообразия его действий.

Встанешь с места, походишь по комнате, облокотишься на подоконник. Люди в доме напротив — отец, мать, четверо детей — обедают, как они обедали вчера, как будут обедать завтра. Еще три года назад была с ними бабушка, теперь ее больше нет. Отец, с тех пор как мы стали соседями, сильно изменился. Он этого не замечает, он кажется довольным, он кажется счастливым.

Глупец!

Они говорят о чьем-то браке, потом о чьей-то смерти, потом о нежном мясе поданного цыпленка, потом о своей служанке, которая нечиста на руку. Они беспокоятся о тысяче вещей, ненужных и бессмысленных. Глупцы!

Вид квартиры, где они живут вот уже восемнадцать лет, вызывает во мне отвращение, негодование. И это жизнь! Четыре стены, две двери, окно, кровать, стулья, стол — и все! Тюрьма, тюрьма! Любое жилище становится тюрьмой, если живешь в нем долго! О, бежать, уехать, бежать от примелькавшихся мест, от людей, от все тех же движений в одни и те же часы и — главное — от все одних и тех же мыслей!

Когда чувствуешь, что все надоело, так надоело, что хочется плакать с утра до ночи, так надоело, что нет больше сил встать и выпить стакан воды; когда чувствуешь, что тебе надоели дружеские лица, которые слишком часто попадаются на глаза и начинают вызывать раздражение, твои противные и благодушные соседи, привычные и однообразные вещи, твой дом, твоя улица, твоя служанка, которая входит с вопросом: «Что прикажете, барин, к обеду?» — и удаляется своей отвратительной походкой, вскидывая каблуком

при каждом шаге обтрепанный подол грязной юбки; когда тебе надоел твой слишком верный пес, надоели постоянные пятна на обоях, регулярность трапез, сон в той же постели, повседневное повторение тех же поступков; когда тебе надоел ты сам, твой голос, все то, что ты беспрестанно повторяешь, узкий круг твоих мыслей; когда надоело собственное отражение в зеркале, гримасы, которые ты делаешь, бреясь и причесываясь, — тогда надо уехать и начать новую жизнь, полную разнообразных впечатлений.

Путешествие — это своего рода дверь, через которую выходишь из знакомой действительности, чтобы перейти в действительность неизведанную, кажущуюся сном.

Вокзал! Пристань! Поезд, который свистит и выплевывает первую струю пара! Огромный пароход, медленно пробирающийся вдоль мола, задыхаясь от нетерпения, и готовый устремиться туда, к горизонту, к иным берегам! Кто может смотреть на это, не дрогнув от зависти, не почувствовав, как просыпается в душе трепетное желание долгих странствий?

Люди обычно мечтают о какой-нибудь излюбленной стране: один — о Швеции, другой — об Индии, этот — о Греции, тот — о Японии. Меня

же влекло к Африке — это была властная потребность, тоска по неведомой пустыне, как бы предчувствие зарождающейся страсти.

Я покинул Париж 6 июля 1881 года. Я хотел увидеть эту страну солнца и песка в разгаре лета, в тяжком зное, при ярком, ослепительном свете.

Все знают прекрасное стихотворение великого поэта Леконта де Лиля:

> *Вот полдень, лета царь, покровом серебротканым*
>
> *Пал на пустынный мир под горней синевой.*
>
> *Пылает воздух сам в молчанье бездыханном;*
>
> *Земля затихла, спит в одежде огневой*[7].

Этот-то полдень пустыни, полдень, распростертый над морем песка, недвижным и беспредельным, и заставил меня покинуть цветущие берега Сены, воспетые мадам Дезульер[8], осве-

---

[7] Примечания: 7

Лиль Леконт де (1818–1894) — французский поэт, глава парнасской школы.

[8] Примечания: 8

Дезульер Антуанетта (1638–1694) — французская поэтесса, автор слащавых эклог и идиллий.

жительное купание по утрам и зеленую сень лесов, чтобы держать путь сквозь раскаленные пространства пустынь.

Еще одно обстоятельство придавало в ту пору Алжиру особенный интерес. Неуловимый Бу-Амама[9] вел тогда фантастическую войну, по поводу которой было сказано, написано и совершено столько глупостей. Утверждали также, что мусульманские племена подготовляют всеобщее восстание, что они решились на последнее усилие и что сейчас же после Рамадана война вспыхнет сразу по всему Алжиру. Было крайне любопытно увидеть арабов именно в такой момент, попытаться понять их душу — то, чем колонизаторы вовсе не интересуются.

Флобер говорил, бывало: «Можно представить себе пустыню, пирамиды, сфинкса, еще не видев их, но чего никак нельзя вообразить, — это голову турецкого цирюльника, сидящего на корточках у порога своей двери».

И тем более занятно узнать, что происходит в этой голове.

---

[9] Примечания: 9

Бу-Амама (р. 1840) — организатор антифранцузской борьбы в Алжире в 70–80-е гг. XIX в. С 1875 г. вел пропаганду восстания, в 1878 г. был отдан приказ об его аресте; в 1881 г. к Бу-Амаме присоединилось множество кочевых племен, и в апреле он возглавил восстание в Южном Оране. Разбитый французскими войсками, Бу-Амама бежал в Марокко.

Море

Марсель трепещет под веселым солнцем летнего дня. Кажется, что все здесь смеется: и большие разукрашенные кафе, и лошади в соломенных шляпах, как на каком-то маскараде, и его деловитый и шумный люд. Город словно навеселе — так певуче, так подчеркнуто, с таким вызовом звучит на улицах его говор. В другом месте марселец забавен: похож на иностранца, коверкающего французский язык, — в Марселе же, где все марсельцы собрались вместе, их акцент становится таким преувеличенным, что принимает характер фарса. Когда все говорят так — это уж слишком, черт возьми!

Марсель потеет на солнце, как красивая неопрятная девка, от которой, от негодницы, несет чесноком да и кое-чем еще. От него несет всей той неописуемой снедью, которую жуют негры, турки, греки, итальянцы, мальтийцы, испанцы, англичане, корсиканцы и сами марсельцы — все те, что лежат, сидят, ворочаются с боку на бок и валяются на набережных.

В доке Жольет, повернувшись носом к выходу

из гавани, разводят пары тяжеловесные суда, усеянные людьми, которые грузят на них какие-то тюки и товары.

Один из пароходов, «Абд-эль-Кадир»[10], неожиданно испускает рев; теперь ведь свистки упразднены: их заменяет нечто вроде звериного крика, ужасный вопль из дымящейся утробы чудовища.

Большое судно отчаливает, медленно пробирается между своими еще неподвижными собратьями, выходит из порта, и как только капитан выкрикнул в рупор команду: «Полный вперед!» — проникающую до самых недр судна, оно могучим порывом устремляется в открытое море, оставляя за собой длинную борозду, в то время как берега убегают и Марсель удаляется к горизонту.

На судне наступает время обеда. Народу не много: в Африку не ездят в июле. За столом — полковник, инженер, врач, два алжирских буржуа с женами.

Разговор идет о стране, куда мы направляемся, о том административном устройстве, которое для

---

[10] Примечания: 10

Абд-эль-Кадир (1807–1883) — знаменитый арабский эмир, успешно боровшийся в 1830–1840 г. против Франции, за независимость Алжира; потерпев окончательное поражение в 1847 г., пробыл шесть лет в плену, после чего присягнул на верность Франции.

нее необходимо.

Полковник настойчиво требует назначения военного губернатора, говорит о военной тактике в условиях пустыни и объявляет, что для армии телеграф бесполезен и даже опасен. Этот штаб-офицер, видимо, испытал по вине телеграфа какую-нибудь неприятность в военное время.

Инженер хотел бы вверить колонию генеральному инспектору путей сообщения, дабы последний строил каналы, плотины, дороги и тому подобное.

Капитан парохода остроумно замечает, что моряк был бы там гораздо более на месте, так как Алжир доступен только с моря.

Оба буржуа указывают на грубые оплошности губернатора, и все смеются, удивляясь, как можно быть таким неловким.

Потом пассажиры снова поднимаются на палубу. Кругом одно только море, спокойное море, без малейшей ряби, позлащенное луной. Тяжелый пароход словно скользит по водной глади, оставляя за собой длинную кипящую борозду, где вспененная вода кажется жидким огнем.

Над нашей головой простирается небо, иссиня-черное, усеянное звездами, которые время от времени заволакиваются громадным султаном

дыма, изрыгаемым пароходной трубой; фонарик наверху мачты кажется крупной звездой, странствующей среди других звезд. Слышен только шум винта в недрах парохода. Как очаровательны эти мирные вечерние часы на палубе бегущего судна!

Весь следующий день вы предаетесь думам, лежа под тентом, и океан окружает вас со всех сторон. А потом снова приходит ночь и снова настает день. Спали вы в тесной каюте, где койка похожа на гроб. Пора вставать, четыре часа утра.

Какое пробуждение! Длинная полоса берега, и там прямо перед вами растущее белое пятно — Алжир!

Город Алжир

Волшебная картина, неожиданная, чарующая! Алжир превзошел мои ожидания. Как прелестен этот белоснежный город при ярком дневном свете! Вдоль пристани тянется громадная терраса, поддерживаемая изящными аркадами. Над ней высятся большие европейские гостиницы и французский квартал, а еще выше взбирается по уступам арабский город — нагромождение причудливых белых домиков, прилепившихся друг к другу и разделенных улицами, похожими на светлые подземные ходы. Верхний этаж каждого здания подпирают ряды столбов, выкрашенных в белый цвет; крыши соприкасаются. Неожиданные спуски открывают доступ к жилым подвалам, таинственные лестницы ведут к жилищам, похожим на норы и густо населенным арабскими семьями. Мимо величаво проходит закутанная в покрывало женщина с голыми лодыжками — не очень соблазнительными, черными от пыли, налипшей на потную кожу.

Вид на город с мола восхитительный. Восторженно любуешься сверкающим водопадом

домов, словно скатывающихся друг на друга с вершины горы до самого моря. Кажется, что это пенистый поток, где пена какой-то сумасшедшей белизны; но вот пена как бы еще более сгущается — то горит на солнце ослепительная мечеть.

Поразительный народ кишит здесь повсюду. Бродят бесчисленные нищие: кто в одной рубахе или в одеянии из двух ковров, сшитых вместе наподобие ризы, кто в старом мешке с отверстиями для головы и рук; всегда босые и с голыми икрами, они бранятся друг с другом, дерутся — вшивые, ободранные, вымазанные в грязи, пахнущие зверем.

Тартарен[11] сказал бы, что от них несет тэрком (турком), и тут несет тэрком повсюду. Кроме того, здесь шныряет множество чернокожих ребят, помесь кабилов, арабов, негров и белых, настоящий муравейник чистильщиков сапог, которые липнут к вам как мухи: вороватые, дерзкие, порочные уже с трехлетнего возраста, хитрые, как обезьяны, они осыпают вас арабскими ругательствами и вечно пристают к вам со своим французским

[11] Примечания: 11

Намек на комического героя повести Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона» (1872).

«cie mosieu?»[12]. Они обращаются к вам на «ты», и к ним обращаются на «ты». Все здесь, впрочем, говорят друг другу «ты». Извозчик, которого вы останавливаете на улице, спрашивает вас: «Куда тебя везти?» Отмечаю это к сведению парижских извозчиков: по части фамильярности их здесь превзошли.

В день приезда я наблюдал один маленький эпизод, незначительный сам по себе, но он как бы суммирует историю Алжира и колонизации.

Когда я сидел в кафе, какой-то темнокожий мальчишка насильно завладел моими ногами и с бешеной энергией принялся чистить мне башмаки. После того как он тер их с четверть часа, придав им более чем зеркальный блеск, я дал ему два су. Он произнес: «Mecі mosieu»[13], — но не тронулся с места, продолжая неподвижно сидеть на корточках у моих ног, ворочая глазами, как будто в припадке. «Убирайся же, черномазый», — сказал я ему. Он не ответил ни слова, не шевельнулся, но затем вдруг прижал к груди

---

[12] Примечания: 12

Искаженное французское выражение «cirer, monsieur?» («почистить, сударь?»).

[13] Примечания: 13

Искаженное французское выражение «merci, monsieur» («спасибо, сударь»).

свой ящик со щетками и пустился бежать со всех ног. И я увидел, как рослый негр лет шестнадцати показался из-за двери, за которой он прятался, и бросился за моим чистильщиком. В несколько прыжков он настиг его, дал ему затрещину, обыскал его, отобрал два су, положил себе в карман и преспокойно удалился, посмеиваясь, в то время как ограбленный бедняга выл самым отчаянным образом.

Я был возмущен. Сосед по столу, офицер африканской службы, мой приятель, сказал мне:

— Полноте, здесь попросту создается своя иерархия. Пока люди недостаточно сильны, чтобы отнимать су у других, они чистят сапоги, но как только почувствуют себя в состоянии обирать более слабых, они бросают всякую работу, подстерегают чистильщиков и грабят их. — Мой собеседник, смеясь, прибавил: — Почти все здесь поступают таким же образом.

Европейский квартал Алжира, красивый издали, вблизи производит впечатление нового города, выросшего в совершенно неподходящем для него климате. У пристани вам бросается в глаза вывеска: «Алжирский скетинг-ринг», — и с первых же шагов вас поражает, смущает ощущение плохо примененного к этой стране прогресса,

грубой, неуклюжей цивилизации, мало вяжущейся с местными нравами, со здешним небом и с людьми. Скорее мы сами кажемся варварами среди этих варваров, правда, грубых, но живущих у себя дома и соблюдающих выработанные веками обычаи, смысла которых мы, видимо, до сих пор еще не усвоили.

Наполеон III сделал как-то разумное замечание (может быть, подсказанное кем-нибудь из министров): «В Алжире нужны не завоеватели, а просветители». Мы же продолжаем оставаться грубыми, неуклюжими завоевателями и чваниться своими готовыми истинами. Навязанные нами нравы, наши парижские дома, наши обычаи шокируют в этой стране, как грубые промахи, противоречащие требованиям эстетики, благоразумия, здравого смысла. Все, что мы ни делаем, кажется какой-то нелепостью, каким-то вызовом, бросаемым этой стране, и не столько даже ее коренному населению, сколько самой земле.

Спустя несколько дней по приезде я наблюдал в квартале Мустафа бал под открытым небом. Это был совершенно такой же праздник, как в Нейи[14]: те же лавки с пряниками, тиры, лоте-

[14] Примечания: 14
Нейи — одно из предместий Парижа.

реи, кукольный театр, упражнения с ножами, ясновидящие, женщины-рыбы, приказчики, танцующие с продавщицами заправские кадрили, словно в Бюльe[15], — в то время как за оградой, в которую пускали только за плату, на широком песчаном поле, служившем для военного учения, сотни арабов, неподвижно лежа в своих белых лохмотьях под лунным сиянием, сосредоточенно прислушивались к рефренам кабацких танцев, отплясываемых французами.

[15] Примечания: 15

Бюльe — зал в Париже, предназначенный для собраний, митингов и публичных балов.

Провинция Оран

От Алжира до Орана день езды по железной дороге. Сначала проезжаешь плодородную, тенистую, густонаселенную равнину Митиджи. Это как раз то место, которое показывают новоприбывшему, чтобы убедить в процветании нашей колонии. Без сомнения, Митиджа и Кабилия — прекрасные места, но ведь в настоящее время Кабилия более населена, чем департамент Па-де-Кале (из расчета на квадратный километр), а Митиджа скоро ее догонит. Что же еще собираются колонизировать здесь? Но к этому вопросу я еще вернусь позже.

Поезд бежит вперед и вперед; возделанные поля исчезают; земля становится голой и красной, настоящей африканской. Горизонт ширится — бесплодный пылающий горизонт. Мы следуем вдоль громадной долины Шелиффа, сжатой со всех сторон мрачными, серыми, обожженными горами, на склонах которых нет ни единого деревца, ни единой травинки. Местами линия холмов уходит вниз, разрывается — как бы для того, чтобы лучше показать ужасную скудость почвы,

изъеденной солнцем. Вот перед нами огромная равнина, совершенно плоская, ограниченная вдали еле видимой цепью возвышенностей, теряющихся в дымке. А там, на диких скалах, виднеются время от времени большие белые точки, круглые, словно яйца, снесенные здесь гигантскими птицами. Это часовни марабутов[16], воздвигнутые во славу Аллаха.

На желтой бесконечной равнине попадается иногда купа деревьев, стоят люди, рослые загорелые европейцы, глядя на убегающий поезд, а неподалеку от них видны маленькие, похожие на грибы палатки, откуда выходят бородатые солдаты. Это земледельческий поселок, охраняемый сторожевым отрядом.

Дальше на бесплодной и пыльной равнине можно разглядеть подобие дымка — такого далекого, что он еле виден, легкое облачко, которое тянется ввысь и точно бежит по земле. Это всадник поднимает копытами своего коня тонкую жгучую пыль. И каждое такое облачко на равнине говорит о присутствии человека, едва заметный светлый бурнус которого вы понемногу учитесь узнавать.

---

[16] Примечания: 16

Марабут — мусульманский святой, а также вообще религиозный мусульманин, ведущий аскетическую жизнь.

Местами попадаются лагеря туземцев. С трудом различаешь эти дуары на берегу пересохшего ручья, где дети пасут пару коз, овец или коров (слово «пасут» в данном случае звучит бесконечной насмешкой). Бурые полотняные палатки, окруженные сухим кустарником, сливаются с однообразным цветом почвы. На железнодорожной насыпи чернокожий человек — ноги у него голые, жилистые и без икр, — закутанный в белесые лохмотья, степенно разглядывает несущегося мимо него чугунного зверя.

Еще дальше группа кочевников в пути. Караван движется, оставляя за собой облако пыли. Женщины и дети — верхом на ослах или на маленьких лошадках; несколько всадников с необыкновенно благородной осанкой важно едут впереди.

И так повсюду. На остановках поезда иногда видишь европейскую деревню: несколько домов, похожих на дома Нантера или Рюэя[17], вокруг нескольких опаленных деревьев, и к одному из них прикреплены трехцветные флаги по случаю четырнадцатого июля[18]; у входа на вокзал —

---

[17] Примечания: 17
Нантер и Рюэй — дачные местности под Парижем.

[18] Примечания: 18
Национальный праздник в честь свержения Бастилии 14 июля 1789 г.

важный жандарм, тоже похожий на жандарма из Рюэя или Нантера.

Жара невыносимая. Нельзя дотронуться до металлических предметов даже в вагоне. Вода из фляжек обжигает рот. Воздух, врывающийся в вагон через дверь, пышет как из печи. В Орлеанвиле на вокзале градусник показывает сорок девять в тени!

К обеду приезжаем в Оран.

Оран — настоящий европейский коммерческий город, скорее испанский, чем французский, и не представляет особого интереса. На улицах можно встретить красивых черноглазых девушек с матовой кожей и белоснежными зубами. Говорят, что при ясной погоде на горизонте видны берега Испании, их родины.

Едва ступишь на эту африканскую землю, как тебя охватывает странное желание ехать все дальше к югу, поэтому я взял билет в Сайду и сел в поезд небольшой узкоколейной дороги, которая взбирается на высокие плато. Вокруг этого города рыщет со своими всадниками неуловимый Бу-Амама.

После нескольких часов пути вы достигаете первых склонов Атласа. Поезд подымается в гору, пыхтит, еле движется, извивается по склонам

пустынных возвышенностей, проходит мимо огромного озера, образовавшегося путем слияния трех рек; воды его разлились по трем долинам и запружены знаменитой плотиной на реке Хабра. Гигантская стена пятьсот метров длины сдерживает над бескрайней равниной четырнадцать миллионов кубометров воды.

(Плотина эта рухнула в следующем году, потопив сотни людей, разорив целую страну. Это случилось как раз в момент большой национальной подписки в пользу пострадавших от наводнения венгерцев или испанцев. Но никто не обратил внимания на бедствие французов.)

Потом мы проезжаем узкими ущельями между двумя горами, которые выглядят как после недавнего пожара, до такой степени красна и оголена их поверхность, — огибаем вершины, мчимся вдоль склонов, делаем объезды в десять километров, чтобы избежать препятствий, а потом несемся на всех парах по равнине, но все еще слегка петляем, как бы по привычке.

Вагоны крохотные. Паровоз, не больше паровичка городской железной дороги, изнемогает, задыхается, стонет, впадает в ярость, плетется так медленно, что его можно догнать пешком, а то вдруг опять мчится с бешеной прытью.

Вся страна сплошь пустынна и безотрадна. Царь Африки, Солнце, великий и лютый хищник, пожрал всю живую плоть с этих долин, оставив лишь камни и красную пыль, где ничто не может зародиться.

Сайда! Это маленький городок французского типа, в котором вроде бы живут одни генералы: их там и правда по меньшей мере человек десять-двенадцать, и они как будто постоянно держат военный совет. Так и хочется крикнуть: «Генерал! А где сегодня Бу-Амама?»

Гражданское население не питает никакого уважения к мундиру.

Местная гостиница оставляет желать лучшего. Комната выбелена известкой. Я ложусь спать на соломенный тюфяк. Жара невыносимая. Закрываю глаза, собираясь заснуть. Увы!

Мое окно открыто и выходит на маленький дворик. Слышен лай собак. Они далеко, очень далеко и лают по очереди, словно перекликаясь, но скоро они приближаются, подступают; вот они уже здесь, около домов, в виноградниках, на улицах. Они уже здесь, и их сотен пять, а то и вся тысяча, этих голодных свирепых псов, охранявших на высоких плато лагеря испанцев. Когда хозяева их были перебиты или уехали, собаки

стали бродяжить, подыхая от голода, затем набрели на город и обложили его, как вражеская армия. Днем они спят в оврагах, под скалами, в горных лощинах, но чуть только наступает ночь, являются в Сайду в поисках пропитания.

Человек, возвращаясь поздно домой, идет с револьвером в руке, а его провожают по пятам и обнюхивают два-три десятка желтых собак, похожих на лисиц.

Сейчас они лают беспрерывно, страшно; можно сойти с ума от этого лая. Потом возникает другой звук — пронзительный визг: это явились шакалы; иногда же слышен только один голос, более сильный и не похожий на прочие: голос гиены, подражающей лаю собаки, чтобы приманить ее и растерзать.

Этот ужасный гам длится до самого утра.

До французской оккупации Сайда охранялась маленькой крепостью, сооруженной Абд-эль-Кадиром.

Новый город лежит в небольшой долине и окружен голыми горами. Узенькая речка, через которую почти можно перепрыгнуть, орошает окрестные поля, где произрастает прекрасный виноград.

К югу горы образуют как бы стену; это послед-

ние ступени, ведущие на высокие плато.

По левую руку поднимается ярко-красная скала метров пятьдесят высотой с развалинами нескольких каменных зданий на самой вершине. Это все, что осталось от Сайды Абд-эль-Кадира. Издали кажется, что эта скала прилепилась к горному отрогу, но когда вы взберетесь на нее, вас охватывает удивление и восторг. Глубокий ров, вырытый между отвесными стенами, отделяет старое укрепление эмира от ближайшего склона. Этот склон из пурпурного камня изрыт кое-где лощинами, куда устремляются зимние дожди. В глубине рва среди олеандровой рощи течет река. Если смотреть сверху, то перед нами как будто восточный ковер, разостланный по коридору. Покров из цветов кажется сплошным; лишь кое-где вкраплены пятна зеленой листвы.

В это ущелье спускаются по тропинке, годной разве что для коз.

Речка — по местным представлениям, река (уэд Сайда), по-нашему, ручей — извивается по камням под большими цветущими кустами, падает со скал, пенится, струится и журчит. Вода теплая, почти горячая. Громадные крабы с необыкновенной быстротой бегают по берегу, поднимая клешни при моем приближении. Боль-

шие зеленые ящерицы исчезают в листве. Подчас скользнет между камнями змея.

Ущелье суживается, как будто вот-вот сомкнется. Я вздрагиваю от сильного шума над головой. Это улетает из своего убежища вспугнутый орел; он взмывает вверх, к синему небу, и поднимается медленными, мощными ударами крыльев, таких широких, что, кажется, они задевают за стены ущелья.

Спустя час выходишь на дорогу, которая ведет в Айн-эль-Хаджар, поднимаясь по пыльному склону.

Какая-то женщина, старуха, в черной юбке и белом чепце плетется, согнувшись, впереди меня с корзинкой через левую руку, держа в другой руке вместо зонтика от солнца огромный красный дождевой зонт. Как, здесь женщина! Крестьянка в этой угрюмой стране, где можно встретить разве только высокую статную негритянку с лоснящейся кожей, выряженную в желтые, красные или синие ткани и оставляющую за собой запах немытого человеческого тела, способный вызвать тошноту даже у самых выносливых!

Старуха садится в пыли, изнемогая, задыхаясь от тропического зноя. Ее лицо покрыто бесчисленными мелкими морщинами, как измятый в

руках лоскут; вид у нее усталый, подавленный, полный отчаяния.

Я заговорил с ней. Это была эльзаска, которую после войны[19] переселили с четырьмя сыновьями в эти безотрадные края. Она спросила:

— Вы приехали оттуда?

При этом «оттуда» у меня сжалось сердце.

— Да.

И она заплакала, а потом рассказала мне свою незамысловатую историю.

Им обещали землю. Они приехали — она и дети. Троих сыновей погубил этот убийственный климат. Остался один, и тоже больной. Их поля, хотя и большие, ничего не приносят, оттого что нет ни капли воды. И старуха твердила: «Сущая зола, сударь, пережженная зола: ни кочна капусты не вырастишь, ни кочна, ни кочна», — заладив про капусту, видно, воплощавшую для нее все земное счастье.

Я никогда не видел ничего более жалкого, чем эта простая женщина из Эльзаса, попавшая на здешнюю раскаленную почву, где не вырастить ни одного кочна. Как часто, должно быть, бедная старуха вспоминала об утраченной родине, о

---

[19] Примечания: 19

Франко-прусская война 1870–1871 гг., завершившаяся для Франции потерей Эльзаса и Лотарингии.

зеленой стране своей молодости!

Прощаясь со мной, она спросила:

— Не знаете, не будут ли давать землю в Тунисе? Говорят, там хорошо. Все будет лучше, чем здесь. И, может быть, там я выходила бы своего мальчика.

Все наши поселенцы по ту сторону Телля могли бы сказать приблизительно то же самое.

Меня тянуло ехать все дальше и дальше, но так как вся страна была охвачена войной[20], я не отважился ехать один. Помог случай: отправлялся поезд с провиантом для войск, стоявших в районе шоттов[21].

В этот день дул сирокко. С утра поднялся южный ветер, иссушая землю своим тяжелым, изнуряющим, губительным дыханием. В семь часов маленький поезд отправился в путь, увозя два отряда пехоты под командованием офицеров, три вагона-цистерны с водой и инженеров

---

[20] Примечания: 20

В мае 1881 г. вспыхнуло восстание туземного населения Туниса — тотчас после того, как тунисского бея принудили подписать договор о признании французского протектората (12 мая 1881 г.); одновременно начались восстания и в Алжире, главным образом из-за обнищания арабов, вызванного французской колониальной системой, а отчасти вследствие вторжения из Туниса пограничных кабильских мятежных племен.

[21] Примечания: 21

Шотт — соляное озеро, болото.

Франко-Алжирской компании: ведь уже три недели, как ни один поезд не доходил до конца железнодорожной линии, и она, возможно, была разрушена арабами.

Паровоз «Гиена» с шумом трогается в путь, устремляясь к горе направо, как будто желает врезаться в нее. Затем внезапно он сворачивает в узкое ущелье, делает петлю и снова показывается в пятидесяти метрах выше того места, где только что был. Опять сворачивает, описывает дуги, одну над другой, и, поднимаясь зигзагами, как бы разматывает длинную ленту, которая достигает вершины горы.

Вот большие здания, фабричные трубы, нечто вроде покинутого города. Это великолепные заводы Франко-Алжирской компании. Здесь до избиения испанцев[22] обрабатывали альфу[23]. Это место называется Айн-эль-Хаджар.

---

[22] Примечания: 22

Восстания туземных племен Алжира и Туниса в 1881 г. иногда, особенно под влиянием религиозного фанатизма, выливались в форму поголовного истребления европейцев, в частности испанского населения. Но Мопассан далее указывает и на экономическую подоплеку ненависти к испанским колонистам-плантаторам, которые сосредоточили в своих руках плантации альфы и вызывающе вели себя по отношению к туземному населению.

[23] Примечания: 23

Альфа — растение, стебли которого употребляются на выработку бумаги, ковров, обуви.

Мы все еще поднимаемся. Локомотив пыхтит, хрипит, замедляет ход, останавливается. Три раза пытается он двинуться в путь и три раза не может тронуться с места. Он дает задний ход для разбега, но не в силах одолеть слишком крутой подъем.

Офицеры приказывают солдатам вылезти, и те, рассыпавшись вдоль поезда, принимаются толкать его. Мы снова едем, но медленно, со скоростью пешехода. Раздаются смех и шутки: пехотинцы подтрунивают над машиной, но вот наконец мы на высоком плато.

Машинист, высунувшись всем корпусом наружу, беспрестанно смотрит на путь, который может быть перерезан неприятелем, а мы напряженно вглядываемся в горизонт, настораживаясь всякий раз, как вдалеке полоска пыли указывает на присутствие всадника, пока еще невидимого. Мы вооружены ружьями и револьверами.

Иногда мимо нас пробежит шакал или взлетит громадный ястреб, покидая скелет верблюда, почти начисто обглоданный. Карфагенские куры, очень похожие на куропаток, спасаются в рощицах карликовых пальм.

На маленькой станции Тафрауа стоят две пехотные роты. Здесь было перебито много испанцев.

В Кральфаллах наскоро укрепляется рота зуа-

вов, сооружая себе прикрытия из рельсов, балок, телеграфных столбов, тюков альфы — изо всего, что попадается под руку. Мы завтракаем. Три офицера, все трое молодые и веселые — капитан, лейтенант и младший лейтенант, — угощают нас кофе.

Поезд снова трогается. Он бежит, не останавливаясь, по безграничной равнине, похожей благодаря зарослям альфы на спокойное море. Посылая нам в лицо раскаленный воздух пустыни, сирокко становится невыносимым. Иногда на горизонте обрисовываются какие-то неясные очертания. То они кажутся озером, то островом, то скалами в воде. Это мираж. На скате холма обожженные камни и человеческие кости — останки какого-нибудь испанца, — а дальше опять павшие верблюды, ободранные ястребами.

Проезжаем через лес. Ну и лес! Океан песка, где редкие кусты можжевельника напоминают пучки салата на гигантском огороде! Но, начиная отсюда, уже никакой зелени, кроме альфы, особого рода зеленовато-голубого камыша, который растет круглыми кустами и покрывает всю землю, насколько можно охватить взглядом.

По временам вдали как будто появляется всадник, но тут же он исчезает — быть может, он нам

только померещился.

Приезжаем в Уэд-Фаллет, лежащий среди унылой и голой пустыни. Я иду пройтись с двумя спутниками дальше к югу. В удушающем зное мы взбираемся на высокий холм. Сирокко пышет огнем, высушивает пот на лице, едва только он выступит, обжигает губы, глаза, горло. Под каждым камнем можно увидеть скорпиона.

Вокруг стоящего поезда, который издали выглядит большим черным зверем, растянувшимся на сухой земле, солдаты нагружают повозки, присланные из соседних лагерей.

Потом они уходят, в пыли, медленно, усталым шагом, под палящим солнцем. Долго-долго видно, как они идут туда, налево, а потом уж не различаешь больше ничего, кроме поднимаемых ими серых облаков пыли.

Нас осталось теперь всего шестеро около поезда. Ни к чему не прикоснешься, все пылает. Медные части в вагонах кажутся раскаленными докрасна. Невольно вскрикнешь, если коснешься рукой стали оружия.

Несколько дней назад племя резайна, примкнув к мятежникам, прошло через шотт, до которого мы не добрались, потому что пора было возвращаться. Во время перехода через это пе-

ресохшее болото жара была такая, что бегущее племя потеряло всех своих ослов, павших от жажды, и даже шестнадцать детей, умерших на руках у матерей.

Локомотив свистит. Мы покидаем Уэд-Фаллет. Замечательный случай из военной жизни сделал это место известным по всей стране.

Здесь стояла колонна солдат под прикрытием 15-го линейного полка. Однажды ночью два туземца-разведчика появляются у передового поста, проехав десять часов в седле, чтобы передать спешное распоряжение от командующего из Сайды. Как полагается, они машут факелом, чтоб их признали. Часовой — рекрут из Франции, — не зная обычаев и правил службы, принятых во время южной кампании, и не предупрежденный своими офицерами, стреляет в курьеров. Бедняги все же продолжают подвигаться вперед; солдаты на посту берутся за оружие, занимают позиции, и начинается отчаянная стрельба. Выстояв под выстрелами — их было сделано не менее полутораста, — оба араба наконец удаляются, и один из них с пулей в плече. На следующий день они возвратились в ставку, привезя обратно свои депеши.

Бу-Амама

Мудрено сказать, даже в настоящее время, кто такой был Бу-Амама. Этот неуловимый шутник, сбивший с толку нашу африканскую армию, исчез так бесследно, что начинаешь сомневаться, уж впрямь ли он существовал.

Заслуживающие доверия офицеры, которые, по их словам, встречались с ним, описывали мне его по одному, но другие, не менее положительные лица, уверенные в том, что видели Бу-Амаму, изображают его совсем по-иному.

Во всяком случае, этот разбойник был только предводителем немногочисленной шайки, которую, по-видимому, побудила к восстанию нужда. Эти люди дрались лишь для того, чтобы опустошать хлебные склады или грабить поезда. Они действовали, очевидно, не из чувства ненависти или религиозного фанатизма, но под влиянием голода. При нашей системе колонизации, которая состоит в том, чтобы разорять арабов, неустанно обирать их, безжалостно преследовать и доводить до крайней степени нищеты, нам придется увидеть еще не одно восстание.

Другим поводом для этой войны, возможно, было появление на высоких плато испанцев, торговцев альфой.

В этом океане альфы, на этом безотрадном зеленоватом безжизненном пространстве под палящим солнцем, жил целый народ, орды смуглых людей, авантюристов, покинувших родную страну из-за нужды или по какой-нибудь иной причине. Более дикие, чем арабы, и куда более опасные, отрезанные от мира, живущие вдали от города, от всякого закона, от всякой власти, они вели себя, как их предки на новооткрытых землях: были грубы, кровожадны, неистово жестоки по отношению к туземцам.

Месть арабов была ужасна.

Вот в нескольких словах внешний повод к восстанию.

Два марабута открыто проповедовали мятеж среди одного южного племени. Лейтенант Вейнбреннер был послан с поручением арестовать каида[24] этого племени. Французскому офицеру дано было в качестве охраны *четыре* человека. Его убили.

---

[24] Примечания: 24

Каид — туземный чиновник в Алжире и Тунисе, выполняющий обязанности военачальника, администратора, судьи, ведающий сбором податей и пр.

Полковнику Инноченти было поручено отомстить за эту смерть, и на помощь ему послали саидского агу[25].

Но вот гум[26] саидского аги встретился по дороге с отрядом племени трафи, тоже направлявшимся в распоряжение полковника Инноченти. Между двумя племенами возникла ссора; трафи отложились и перешли на сторону Бу-Амамы. Тут-то и произошло дело при Шеллале, о котором говорилось уже сотни раз. После того как обоз полковника Инноченти был разграблен, полковник, к которому общественное мнение отнеслось, кажется, чрезвычайно снисходительно, отправился форсированным маршем по направлению к Крейдеру, чтоб пополнить свою колонну; этим он совершенно открыл дорогу врагу, чем последний и воспользовался.

Отметим любопытный факт. В один и тот же день и в один и тот же час официальные депеши извещали о пребывании Бу-Амамы в двух местах, отстоящих друг от друга на полтораста

---

[25] Примечания: 25

Ага — титул военачальников и начальников некоторых групп придворных слуг, а также носитель данного титула.

[26] Примечания: 26

Гум — вооруженный отряд, выделяемый туземным племенем и обыкновенно находящийся под командой французского офицера.

километров.

Пользуясь предоставленной ему полной свободой, этот предводитель проследовал в двенадцати километрах от Жеривиля, убив по дороге бригадира Бренжара, посланного в сопровождении всего нескольких человек наладить телеграфную связь в охваченной восстанием местности, а затем вернулся на север.

После этого он прошел через территорию племен хасассен и харрар и, по всей вероятности, отдал им приказ о поголовном истреблении испанцев, что и было в скором времени приведено в исполнение.

Наконец он прибыл в Айн-Кетифу и два дня спустя расположился лагерем у Хаси-Тирсина, всего лишь в двадцати двух километрах от Сайды.

Военные власти, почувствовав наконец беспокойство, предупредили 10 июня Франко-Алжирскую компанию о необходимости ввиду волнения в стране отозвать всех своих агентов. Всю ночь напролет циркулировали поезда до конечной станции железнодорожного пути, но в течение нескольких часов невозможно было вывезти все конторы, рассеянные на площади в полтораста квадратных километров. И на рассвете 11-го началась резня.

Ее производили главным образом два племени — хасассены и харрары, — полные смертельной ненависти к испанцам, живущим на их земле.

И все же из боязни восстания эти племена оставили в покое, хотя они вырезали около трехсот мужчин, женщин и детей. Арабские всадники, задержанные с награбленным добром, с платьем испанок, спрятанным под седлами, были, говорят, отпущены на свободу якобы за недостатком улик.

Итак, 10-го вечером Бу-Амама стоял лагерем в Хаси-Тирсине, в двадцати двух километрах от Сайды. А в это самое время генерал Серез телеграфировал губернатору, что мятежный предводитель пытается пройти на юг.

В последующие дни смелый марабут разграбил селения Тафрауа и Кральфаллах и нагрузил всех своих верблюдов добычей, захватив на несколько миллионов товаров и продовольствия.

Он снова вернулся в Хаси-Тирсин, чтобы пополнить свои силы, затем разделил своих людей на два отряда, один из которых отправился в Айн-Кетифу. Здесь он был задержан и разбит гумом шарраули (колонна Брюнетьера).

Другой отряд, под командованием самого Бу-Амамы, оказался запертым между колонной

генерала Детри, стоящей у Эль-Майя, и колонной полковника Маларе, расположившейся близ Крейдера, в Ксар-эль-Крелифе. Ему надлежало пройти между ними, что было нелегко. Тогда Бу-Амама послал своих всадников к лагерю генерала Детри, который бросился со всей колонной преследовать их до Айн-Сфисифы, далеко за шотт, будучи убежден, что настигает самого марабута. Хитрость удалась. Путь был свободен. На другой день после отъезда генерала мятежный предводитель занял его лагерь. Это было 14 июня.

Со своей стороны полковник Маларе, вместо того чтобы охранять Крейдерский проход, стал лагерем у Ксар-эль-Крелифы, в четырех километрах в сторону от нее. Бу-Амама тотчас же послал сильный отряд всадников, с тем чтобы он проскакал мимо лагеря полковника, который дал по ним лишь шесть пушечных залпов. А в это время караван нагруженных верблюдов преспокойно проследовал через шотт вблизи Крейдера, в единственном месте, где проход не был затруднен. Оттуда марабут должен был переправить свои запасы на хранение к моррарам, своему племени, в четырехстах километрах к югу от Жеривиля.

Откуда, спросят у меня, такие точные сведения? Да отовсюду. Они, конечно, будут оспариваться

некоторыми лицами по одному поводу, другими — по другому. Я ничего не могу утверждать, так как только собрал объяснения, показавшиеся мне наиболее правдоподобными. В такой стране, как Алжир, вообще невозможно добиться точной справки о том, что происходит или происходило на расстоянии трех километров от того места, где вы находитесь. Что касается военных известий, то в течение всей этой кампании они словно доставлялись нам каким-нибудь злым шутником. В один и тот же день Бу-Амама бывал обнаружен в шести различных местах шестью корпусными командирами, которые были убеждены, что он у них в руках. Если бы к полной коллекции официальных депеш добавить кое-какие сообщения телеграфных агентств, получился бы презабавный сборник. Некоторые депеши, невероятность которых была слишком очевидна, были, впрочем, задержаны алжирской администрацией.

Остроумная карикатура, нарисованная одним колонистом (довольно хорошо, как мне показалось) объясняет положение. На ней изображен старый генерал, толстый, усатый, в расшитом мундире, стоящий лицом к пустыне. Он обозревает недоумевающим взором громадную голую холмистую равнину, границы которой теряют-

ся вдали, и бормочет: «Они здесь!.. Где-нибудь здесь!» — потом, обращаясь к адъютанту, неподвижно стоящему за его спиной, возглашает решительно:

— Телеграфируйте правительству, что враг передо мной и я отправляюсь его преследовать.

Единственные сколько-нибудь достоверные сведения, которые можно было получить, исходили от испанских пленных, бежавших от Бу-Амамы. Я имел возможность говорить через переводчика с одним из этих людей, и вот что он мне рассказал.

Его звали Блас Рохо Пелисайре. Десятого июня вечером, когда он с товарищами сопровождал обоз из семи повозок, они обнаружили по дороге какие-то изломанные телеги, а между колесами — зарезанных возчиков. Один из них еще был жив. В то время как они оказывали ему помощь, на них напал отряд арабов. У испанцев было только одно ружье; они сдались, но тем не менее были все перерезаны за исключением Бласа Рохо, которого, видимо, помиловали за молодость и приятную внешность. Как известно, арабы очень неравнодушны к мужской красоте. Его отправили в лагерь, где он нашел других пленных. В полночь одного из них убили без всякой при-

чины. Это был «машинист» (один из возчиков, которому было поручено наблюдение за тормозами повозок) по имени Доминго.

На следующий день, 11-го Блас узнал, что ночью было убито еще несколько пленных. Это был день большой резни. Лагерь оставался на том же месте (вечером арабы привели двух женщин и ребенка), а 12-го все снялись с лагеря и шли весь день. Вечером 13-го остановились в Дайят-Керебе, 14-го продолжали путь по направлению к Ксар-эль-Крелифе. Это был день сражения с полковником Маларе. Пленный не слышал пушечных выстрелов, и это заставляет предполагать, что Бу-Амама послал только часть своих всадников проскакать мимо французского экспедиционного корпуса, между тем как обоз с добычей, при котором находился Блас, проходил через шотт на расстоянии нескольких километров, в полной безопасности.

В течение недели шли зигзагами. Придя в Тис-Мулен, не ладившие друг с другом гумы разделились, и каждый взял с собой своих пленных.

Бу-Амама оказался милостивым к пленным, особенно к женщинам, которые по его приказанию ночевали в отдельной палатке и охранялись стражей.

Одна из пленниц, красивая восемнадцатилет-

няя девушка, стала во время пути наложницей одного из вождей племени трафи, который угрожал ей смертью в случае сопротивления, но марабут отказался благословить их союз.

Блас Рохо был приставлен к Бу-Амаме, но так его и не увидел. Он видел только сына марабута, руководившего военными операциями. Это был высокий молодой человек, на вид лет тридцати, бледный худощавый брюнет с большими глазами и маленькой бородкой. У него было два рыжих коня, из которых один, французской породы, принадлежал ранее, как говорят, майору Жаке.

Пленный ничего не знал о деле под Крейдером.

Неподалеку от Ба-Яла Блас Рохо бежал, но, не зная местности, был принужден идти берегами пересохших рек и после трех дней и трех ночей пути пришел в Мархум. Бу-Амама имел с собой пятьсот всадников и триста пехотинцев да еще караван верблюдов для перевозки добычи.

В течение двух недель после избиения европейцев поезда день и ночь сновали взад и вперед по маленькой железнодорожной линии шоттов, то и дело подбирая несчастных, изувеченных испанцев и высоких красивых девушек, обнаженных, изнасилованных и окровавленных. По

единодушному признанию населения, военные власти могли бы предотвратить эту бойню, если бы были хоть немного предусмотрительнее. Но они так и не справились с кучкой повстанцев. В чем же причины этого бессилия нашего усовершенствованного оружия против арабских самострелов и мушкетов? Пусть это расследуют и объяснят другие.

Во всяком случае, арабы имеют перед нами одно преимущество, против которого мы напрасно стараемся бороться. Они дети своей страны. Обходясь несколькими финиками и щепоткой муки, не зная усталости в этом климате, который изнуряет северян, всегда верхом на лошади, неприхотливой, как они сами, и, подобно им, не чувствительной к зною, они делают за день сто — сто тридцать километров. У них нет необходимости тащить за собой снаряжение, обоз или провиант, и они передвигаются с необыкновенной быстротой, проходят между двумя расположившимися лагерем отрядами, чтобы захватить и ограбить деревушку, считавшую себя в полной безопасности, после чего бесследно исчезают, а затем внезапно возвращаются, когда, по общему мнению, они должны быть далеко.

В европейской войне армия, как бы быстро ни

передвигалась, все же не может пройти незамеченной. Обилие снаряжения роковым образом замедляет ее переходы и всегда обнаруживает выбранную дорогу. Арабский отряд, наоборот, оставляет за собой не больше следов, чем птичья стая. Эти странствующие всадники носятся вокруг нас так же быстро и с такими же неожиданными поворотами, как ласточки.

Когда арабы сами бросаются в атаку, их можно победить, и они почти всегда бывают разбиты, несмотря на свою отвагу, но преследовать всадников невозможно: никогда не удается догнать их во время бегства. Потому-то они тщательно избегают встречи в бою и довольствуются обыкновенно короткими нападениями, изматывающими наши войска. Они стремительно, бешено налетают на своих поджарых конях, как ураган белых плащей и пыли.

Несясь во весь опор, они стреляют из своих длинных ружей с серебряными насечками, а потом, резко повернув, удаляются во весь дух так же, как и появились, только на земле остается лежать там и сям конвульсивно вздрагивающий белый комок, упавший, точно раненая птица с окровавленными перьями.

Провинция Алжир

Французы, постоянно живущие в Алжире, знают из всей этой страны только равнину Митиджи. Они безмятежно живут в одном из самых очаровательных городов мира, заявляя, что арабы — народ, не поддающийся никакому управлению и годный лишь на то, чтобы его истреблять или изгонять в пустыню.

Из арабов они, впрочем, видели только оборванцев с юга, которыми кишат улицы Алжира. В кафе говорят о Лагуате, о Бу-Сааде, о Сайде как о местностях, находящихся на краю света. Редко встретишь даже офицера, который знал бы эти три провинции. Он ведь обычно не выезжает из своего округа до самого возвращения во Францию.

Следует, впрочем, прибавить, что, если вы отклоняетесь от крупных проезжих дорог, путешествовать на юге становится очень опасно. Такое путешествие возможно только с помощью и при содействии военных властей. Начальники пограничных округов считают себя прямо-таки самодержавными монархами, и всякое новое

лицо, отважившееся проникнуть на их землю, рискует сильно потерпеть… от арабов. Всякий одинокий путешественник будет немедленно задержан каидами, отправлен под конвоем к ближайшему офицеру и отведен в сопровождении двух спаги на гражданскую территорию.

Но если представить хоть какую-нибудь рекомендацию, вы встретите со стороны офицеров из бюро по арабским делам самый любезный прием, какой только можно себе представить. Офицеры живут уединенно, далеко от европейцев и принимают путешественника радушнейшим образом; живя уединенно, они много читали, они образованны, интеллигентны, и побеседовать для них наслаждение; живя уединенно в этой обширной безотрадной стране с ее безграничными просторами, они привыкли мыслить, как мыслят одинокие труженики. Я уехал из Франции предубежденным, как и все французы, против этих бюро, а вернулся, совершенно переменив мнение.

Именно благодаря содействию некоторых из этих офицеров я и мог совершить большую экскурсию вне проторенных путей, переходя от одного племени к другому.

Рамадан только что начался. В колонии настро-

ение было неспокойное, так как боялись общего восстания по окончании этого магометанского поста. Рамадан длится тридцать дней. В течение этого времени ни один слуга Магомета не должен ни пить, ни есть, ни курить с того утреннего часа, когда солнце восходит, до того часа, когда глаз уже не отличит белой нитки от красной. Это суровое предписание не всегда выполняется буквально: вспыхивает не одна сигарета, едва лишь огненное светило скроется за горизонтом и прежде чем глаз перестанет различать цвет нитки: красный или белый.

За исключением этой поспешности ни один араб не преступает строгого закона поста, закона полного воздержания. Мужчины, женщины, мальчики с пятнадцати лет, девочки, достигшие брачного возраста, то есть между одиннадцатью и тринадцатью годами, круглый день остаются без пищи и питья. Голодать еще не так трудно, но воздерживаться от питья в такую мучительную жару ужасно. Никаких поблажек во время поста не полагается. Никто, впрочем, не посмеет и просить об этом; даже публичные женщины, улад-найль, которыми кишат арабские центры и большие оазисы, постятся, как марабуты, а может быть, даже строже, чем они. А те арабы, которые

считаются цивилизованными и в обычное время готовы, казалось бы, следовать нашим обычаям, разделять наши взгляды, помогать нашему делу, с наступлением Рамадана опять становятся дико фанатичными и набожными до одури.

Легко себе представить, до какой степени доходит экзальтация этих ограниченных и упрямых людей при соблюдении такого сурового религиозного обряда. Весь день эти несчастные, у которых от голода подводит живот, предаются размышлениям, глядя, как победители руми[27] у них на глазах едят, пьют и курят. И арабы твердят про себя, что если убить одного из этих руми во время Рамадана, то попадешь прямо на небо и что срок нашего владычества приходит к концу: ведь марабуты непрестанно им обещают, что мы все будем сброшены в море ударами их дубин.

Именно во время Рамадана развивают свою деятельность айссауа — глотатели скорпионов, пожиратели змей и религиозные фокусники; они одни, да еще, быть может, некоторые иноверцы и кое-кто из представителей благородных семейств не проявляют религиозного фанатизма.

Эти исключения необыкновенно редки, я мог

---

[27] Примечания: 27
Руми — так арабы называют христиан-европейцев.

бы привести только одно.

Некий офицер из округа Богар, отправляясь в двадцатидневный поход на юг, просил трех сопровождавших его спаги не соблюдать Рамадана, так как он понимал, что ничего нельзя требовать от людей, измученных постом. Два солдата отказались, третий ответил: «Господин лейтенант, я не соблюдаю Рамадана: я ведь не марабут, я благородного происхождения».

Он действительно происходил из большого шатра, был потомком одного из самых древних и самых знатных родов в пустыне.

До сего времени существует странный обычай, который возник со времени оккупации и представляется совершенно нелепым, если подумать о чудовищных последствиях, какие может иметь для нас Рамадан. Так как вначале надо было расположить к себе побежденных, а уважение к мусульманской религии — лучший способ их задобрить, было решено, что во время священных дней поста французская пушка будет ежедневно оповещать о начале и о конце воздержания. Итак, по утрам, при первом румянце зари, пушечный выстрел возвещает о начале поста, и каждый вечер, минут через двадцать после заката солнца, во всех городах, во всех фортах и во всех военных

селениях раздается другой пушечный выстрел, по сигналу которого зажигаются тысячи сигарет, осушаются тысячи глиняных кувшинов и по всему Алжиру приготовляется неисчислимое количество блюд из кускуса.

Мне привелось присутствовать в большой мечети столицы Алжира на религиозной церемонии, которой начинается Рамадан.

Здание это совсем простое, с выбеленными известью стенами, с толстым ковром на полу. Арабы входят поспешно, босиком, с обувью в руках, становятся длинными правильными рядами, ровными, как ряды солдат на учении, и разделенными большими промежутками, кладут на пол башмаки и все взятые с собой мелкие вещи, а затем замирают неподвижно, как статуи, обратившись лицом к маленькой часовне, указывающей направление в сторону Мекки.

В этой часовне богослужение совершается муфтием[28]. Голос его, старческий, слабый, блеющий и очень монотонный, тянет нечто вроде печальной песни, которую, раз услыхав, никогда уже не забудешь. Интонация часто меняется, и тогда все присутствующие одним ритмическим движени-

---

[28] Примечания: 28
Муфтий — мусульманский священник.

ем безмолвно и поспешно падают ниц, касаясь лбом земли, несколько секунд лежат распростертыми, а затем поднимаются без всякого шума, ни на секунду не заглушая дрожащего тихого напева муфтия. И таким образом все присутствующие беспрестанно склоняются и выпрямляются фантастически быстро, бесшумно и равномерно. Здесь вы не услышите ни стука отодвигаемых стульев, ни кашля, ни перешептывания, как в католической церкви. Чувствуется, что первобытная вера витает вокруг, преисполняя этих людей, сгибая их и выпрямляя, как картонных плясунов, та молчаливая и властная вера, которая порабощает тело, заставляет каменеть лица и сжиматься сердца. Невыразимое чувство уважения, смешанное с жалостью, охватывает вас при виде этих исхудалых фанатиков: живот уж никак не помешает им класть земной поклон, — и они исполняют религиозные обряды с механичной отчетливостью прусских солдат на маневрах.

Стены белые, ковры на полу красные, человеческие фигуры белые, синие или красные, а иногда и других цветов в зависимости от причудливого праздничного одеяния, но все люди закутаны в широкие плащи и сохраняют гордую осанку; на их голову и плечи льется мягкое сияние све-

тильников.

Группа марабутов расположилась на возвышении, все они отвечают муфтию на таких же высоких нотах. И это продолжается без конца.

Касбу надо осматривать вечером, во время Рамадана. Словом «касба», означающим «крепость», в конце концов стали называть весь арабский город. Так как в течение дня постятся и спят, то питаются и живут ночью. Тогда эти узкие улочки, крутые, как горные тропинки, тесные и извилистые, точно прорытые зверями ходы, которые беспрестанно петляют, пересекаются, сливаются, столь таинственные, что там невольно говоришь вполголоса, наполняются толпой из «Тысячи и одной ночи». Такое именно впечатление выносишь оттуда. Совершаешь прогулку по стране, о которой рассказывала султанша Шахерезада. Вот низкие двери, толстые, как стены тюрьмы, и с восхитительным искусством окованные железом; вот женщины в покрывалах; вот промелькнувшие на мгновение лица в глубине приоткрытых двориков, а вот и все неясные звуки, доносящиеся из недр этих домов, запертых, как сундуки с потайным замком. На пороге нередко лежат мужчины, едят и пьют. Подчас эти группы распростертых тел загораживают весь узкий проход.

Шагаешь через голые икры, задеваешь чьи-то руки, ищешь местечко, куда ступить среди груды белых тканей, из которой торчат головы, руки и ноги.

Евреи не запирают своих берлог, служащих им лавками. Тайные дома разврата, полные шума, так многочисленны, что через каждые пять минут ходьбы встречаешь их два или три.

В арабских кафе вереницы мужчин, теснясь друг к другу, расположились, поджав ноги, на скамье у самой стены или просто на полу и пьют кофе из микроскопических чашечек. Неподвижные и молчаливые, они держат в руке чашку, иногда поднося ее к губам медленным жестом, и сидят до того скученно, что двадцать человек умещается там, где у нас было бы тесно и десятерым.

А фанатики со спокойным видом расхаживают среди этих мирных потребителей кофе, проповедуя восстание и возвещая конец порабощению.

Говорят, что предвестники крупных восстаний появляются всегда в ксаре (арабская деревня) Бухрари.

Если смотреть на Атласские горы с огромной равнины Митиджи, то видишь гигантскую расселину, которая раскалывает хребет в южном направлении: он как будто разрублен ударом

топора. Эта трещина называется ущельем Шиффа. Здесь-то и проходит дорога в Медеа, Бухрари и Лагуат.

Входишь в расселину горы, следуешь вдоль мелководной речки Шиффа, углубляешься в узкое ущелье, дикое и лесистое. Повсюду источники. Деревья карабкаются по крутым склонам, цепляясь за что попало, точно идут на приступ.

Проход становится все теснее. Всюду на вас угрожающе смотрят отвесные скалы; между их вершинами голубой лентой тянется небо; затем вдруг за крутым поворотом показывается маленький постоялый дворик над обрывом, заросшим деревьями. Это постоялый двор Обезьяньего ручья.

У входа поет в водоеме вода: струится, падает, наполняет свежестью этот уголок, напоминая о мирных швейцарских долинах. Здесь вы отдыхаете, в тени вас одолевает дремота, но вот над вашей головой зашевелилась ветка, вы вскакиваете — и в самой гуще деревьев начинается стремительное бегство обезьян, прыжки, скачки, кувырканье и крики.

Среди обезьян есть громадные, есть и совсем маленькие; их здесь сотни, может быть, тысячи. Лес ими населен, переполнен, кишит, как мура-

вейник. Некоторые из них, пойманные хозяевами харчевни, ласковы и спокойны. Одна, совсем молоденькая, изловленная на прошлой неделе, еще немного дичится.

Если вы сидите неподвижно, они подходят, следят, наблюдают за вами. Можно сказать, что путешественник является большим развлечением для обезьян — обитателей этой долины. Бывают, однако, дни, когда их совсем не видно.

За постоялым двором Обезьяньего ручья долина становится еще теснее; и вдруг слева — два больших водопада. Они несутся вниз почти с самой вершины горы, два светлых водопада, две серебряные ленты. Если бы вы знали, как радостно видеть водопад на этой африканской земле! Долго-долго поднимаешься в гору. Ущелье становится менее глубоким, менее лесистым. Взбираешься выше: гора постепенно оголяется, теперь кругом луга, — когда же достигаешь вершины, видишь дубы, ивы, вязы — деревья нашей родины. Ночуешь в Медеа, маленьком белом городке, в точности похожем на провинциальный городок Франции.

После Медеа на нас опять обрушивается неумолимая ярость солнца. Впрочем, мы пересекаем лес, но что за лес — тощий, редкий, где повсюду

обнажается опаленная поверхность земли, которая вскоре будет совсем сожжена. А дальше вокруг нас уже нет никакой жизни.

По левую руку открывается долина, бесплодная и красная, без единой травинки. Она уходит вдаль и похожа на таз, полный песка. Вдруг ее медленно пересекает от одного края до другого большая тень, скользя беглым пятном по голой почве. Она, эта тень, единственная настоящая обитательница здешних унылых и мертвых мест. Она точно царствует здесь подобно таинственному и мрачному духу.

Я поднимаю глаза и вижу, как улетает, широко раскрыв крылья, великий пожиратель падали, тощий ястреб, который парит над своими владениями, под другим властителем и убийцей обширной страны — под солнцем, этим жестоким солнцем.

Когда спускаешься к Бухрари, перед тобой, насколько видит глаз, открывается бесконечная долина Шелиффа. Это сама нищета, желтая нищета земли во всем своем безобразии. Долина эта, которую пересекает грязное русло безводной реки, выпитой до дна небесным огнем, кажется ободранной, как старый нищий араб. Огонь, заменяющий здесь самый воздух, наполняющий ее

до краев, на этот раз все победил, все пожрал, все испепелил, все уничтожил.

Что-то касается вашего лба; в другом месте это был бы ветер, здесь же это огонь. Что-то колышется там на каменистых кряжах; в другой стране это был бы туман, здесь же это огонь или, вернее, видимый глазом зной. Не будь земля выжжена до основания, эта странная дымка напоминала бы пар, поднимающийся от живого тела, прижигаемого раскаленным докрасна железом. И все здесь странного цвета, ослепляющего и вместе с тем бархатистого, цвета горячего песка, к которому примешивается как бы лиловатый оттенок, бросаемый расплавленным небом.

Насекомые не водятся на этой пыльной земле, разве кое-где крупные муравьи. Тысячи маленьких существ, которых видишь у нас, не могут существовать в этом пекле. В некоторые особенно знойные дни мухи мрут, как при наступлении холодов на севере. Только с большим трудом можно разводить здесь кур. Бедняжки бродят с раскрытым клювом и растопыренными крыльями; вид у них жалкий и смешной.

Уже три года, как иссякают последние источники, и всемогущее солнце точно торжествует великую победу. Но вот несколько деревьев,

несколько чахлых деревьев, там, направо, на вершине запыленного холма Богар.

Налево, в скалистой впадине, вырисовывается на фоне неба большая деревня, венчающая холм и едва отличаемая от почвы, настолько она приняла ее однообразную окраску. Это ксар Бухрари.

У подножия пыльного холма, на котором расположилось это обширное арабское селение, приютилось несколько домов, которые образуют смешанную общину.

Ксар Бухрари — одно из самых замечательных арабских селений Алжира. Оно расположено как раз на южной границе этой области, недалеко от горного хребта Телль, между европеизированными областями и большой пустыней. Местоположение ксара Бухрари придает ему исключительную политическую важность, так как он является чем-то вроде соединительного звена между арабами, живущими в прибрежных областях, и арабами Сахары. Вот почему там издавна бился пульс всех восстаний. Сюда приходят приказы, и отсюда они передаются дальше. Самые отдаленные племена посылают своих людей узнать, что делается в Бухрари. Со всех концов Алжира обращены сюда внимательные взоры.

Одна лишь французская администрация не

интересуется тем, что затевают в Бухрари. Она обратила его в полноправную общину наподобие тех общин во Франции, которые управляются мэром, старым заспанным крестьянином, с помощью полевого сторожа. Входи и выходи кто хочет. Арабы, приехавшие неизвестно откуда, могут разгуливать повсюду, вести разговоры, строить какие угодно козни без всякого стеснения.

Смешанная община, находящаяся у подножия ксара, на расстоянии двухсот-трехсот метров от него, управляется гражданским администратором, располагающим самыми широкими полномочиями на этой безлюдной территории, наблюдать за которой почти бесполезно. Он не вправе, однако, посягать на компетенцию своего соседа мэра.

Напротив, на горе, расположен Богар, где живет командующий военным округом. У него в руках все средства власти и притом самые действенные, но он не имеет никакого влияния в ксаре, полноправной общине, ведь ксар населен одними арабами. К этому опасному пункту относятся почтительно, тогда как за окрестностями наблюдают с большой тщательностью: лечат проявления болезни, не заботясь о ее причине.

Что же происходит? Командующий военным

округом и гражданский администратор по взаимному соглашению организуют без ведома мэра нечто вроде негласной полиции, которая тайно осведомляет их обо всем происходящем.

Не странно ли, что этот арабский центр, всеми признанный опасным, располагает большей свободой, чем любой город во Франции, между тем как ни одному французу, если только он не заручился содействием влиятельного лица, нельзя проникнуть на военную территорию отдаленных южных округов и передвигаться по ней?

В смешанной общине есть гостиница. Я провел там ночь — это было как в жаркой бане. Воздух казался объятым пламенем Страшного суда. В нем не было ни малейшего движения, от зноя он как бы застыл.

При первых лучах зари я встал. Взошло солнце, неумолимое, все испепеляющее. Под моим открытым окном, откуда была видна безмолвная и уже пышущая зноем даль, ждал маленький распряженный дилижанс. На желтой табличке можно было прочесть: «Курьер Юга».

Курьер Юга! Неужели же можно ехать дальше на юг в этом ужасном августе месяце! «Юг» — какое короткое обжигающее слово! Юг! Огонь! Там, на Севере, упоминая о странах, где тепло, говорят:

«Полуденные края». Здесь говорят: «Юг».

Я всматривался в это слово, такое краткое и представлявшееся мне удивительным, как будто никогда его не видел. Казалось, я открывал в нем таинственный смысл. Ведь самые знакомые слова, так же как и лица, на которые часто смотришь, имеют тайное значение, которое нам открывается вдруг, в один прекрасный день, неизвестно почему.

Юг! Пустыня, кочевники, неизведанные края, а дальше чернокожие, целый новый мир, нечто вроде начала вселенной! «Юг!» — Как властно звучит это слово на границе Сахары!

После полудня я пошел осмотреть ксар.

Бухрари — первое селение, где можно встретить улад-найль. Вас охватывает изумление при виде этих куртизанок пустыни.

Многолюдные улицы полны арабов, которые лежат на порогах, поперек дороги, сидят на корточках, тихо разговаривают или спят. Их развевающиеся белые одежды точно подчеркивают ровную белизну домов. Ни одного темного пятна, все бело, и вдруг где-нибудь в дверях появляется во весь рост женщина — волосы ее высоко уложены — очевидно, по примеру ассирийских женщин — и увенчаны огромной золотой диаде-

мой. На ней ярко-красное длинное платье. Руки и ноги украшены сверкающими браслетами, а правильное лицо татуировано голубыми звездами.

А вот и другие, множество других куртизанок с такими же монументальными прическами, похожими на четырехугольную гору, по бокам которой спущены толстые косы, закрывающие все ухо, затем подобранные на затылке и снова теряющиеся в густой массе волос. Эти женщины всегда носят диадемы, подчас очень дорогие. Грудь покрыта ожерельями, медалями, тяжелыми украшениями; на двух массивных серебряных цепочках, спускающихся до низа живота, висит большой замок из того же металла искусной ажурной чеканки; ключ от него висит на другой цепочке.

На некоторых из этих женщин только узкие браслеты. Это начинающие. Другие, давно занимающиеся этим ремеслом, иногда носят на себе на десять-пятнадцать тысяч драгоценностей. Я видел одну, на которой было ожерелье из восьми рядов двадцатифранковых монет. Так хранят они свой капитал, свои сбережения, добытые с таким трудом. У них на ногах массивные, очень тяжелые серебряные обручи. Действительно, как только у куртизанки наберется на двести-триста

франков серебряных монет, она отдает их в переплавку мозабиту (ювелиру), который возвращает их в виде чеканных колец, символических замков, цепочек или широких браслетов. Диадемы на голове того же происхождения.

Монументальная прическа куртизанок, искусное и сложное переплетение кос, требует почти целого дня работы и невероятного количества масла, поэтому они причесываются только раз в месяц, а когда занимаются своими любовными делами, заботливо оберегают это высокое и замысловатое сооружение из волос, которое спустя короткое время начинает издавать нестерпимый запах.

Улад-найль надо видеть вечером, когда они пляшут в мавританском кафе.

Все тихо в селении. Белые фигуры лежат, растянувшись вдоль домов. Жаркая ночь, небо усеяно звездами, и эти африканские звезды горят таким светом, которого я раньше никогда не видел у звезд, — светом огненных алмазов, трепетным, живым, резким.

Вдруг за поворотом улицы вас поражает шум, дикая, стремительная музыка: отрывистый звон бубен и непрерывный, пронзительный, оглушающий, неистовый визг флейты, на которой

без устали играет рослый детина цвета черного дерева, хозяин заведения.

У дверей куча бурнусов — это арабы; они смотрят, не входя внутрь, и образуют большое яркое пятно, освещенное светом, вырывающимся из помещения кафе.

Внутри — ряд неподвижных белых фигур, сидящих на досках вдоль белых стен под очень низким потолком, а на полу на корточках в своих, как жар горящих, одеждах, сверкающие драгоценностями, с татуированными лицами и высокими прическами, украшенными диадемами, расположились в ожидании улад-найль и напоминали египетские барельефы.

Мы входим. Никто не двигается с места. Тогда, чтобы усадить нас, арабов по обыкновению хватают, расталкивают, сбрасывают со скамей, и они невозмутимо отходят. Другие теснятся, чтобы дать им место.

В глубине на эстраде четыре музыканта в экстатических позах неистово бьют по туго натянутой коже тамбуринов, а хозяин, рослый негр, величаво прохаживается и продолжает отчаянно и беспрестанно дуть в свою неугомонную флейту, ни на секунду не давая себе передохнуть.

И вот две улад-найль поднимаются, становятся

на противоположных концах свободного пространства между скамьями и начинают пляску. Их танец — плавное хождение, ритм которого отмечается ударами пятки, от чего на ногах звенят все кольца. При каждом ударе все тело изгибается, как бы прихрамывая; руки, поднятые кверху и вытянутые на высоте глаз, при каждом покачивании медленно поворачиваются, а пальцы быстро и нервно вздрагивают. Лица, немного повернутые вбок, строгие, невозмутимые, застывшие, остаются поразительно неподвижными, как лица сфинксов, а взгляд все время искоса устремлен на руки, словно зачарованный их плавной игрой, которая беспрестанно прерывается судорожным движением пальцев.

Так идут улад-найль одна навстречу другой. Подойдя друг к другу, они берутся за руки, и тела их как будто пронизывает дрожь; женщины откидываются назад, волоча по полу длинное кружевное покрывало, ниспадающее с головы до пят. Они соприкасаются, выгнувшись назад, как в истоме, прелестным движением влюбленных голубок. Большое покрывало бьется, как крыло. Затем, внезапно выпрямившись и вновь обретя бесстрастность, они расходятся, и каждая продолжает свое медлительное прихрамывающее

скольжение до рядов зрителей.

Они далеко не все красивы, но все оригинальны. И ни с чем не сравнимы сидящие на корточках арабы, среди которых проходят своей спокойной, отбивающей такт поступью эти женщины, покрытые золотом и огненно-красными тканями.

Движения своего танца они иногда немного разнообразят.

Раньше эти проститутки были все из одного племени — улад-найль. Они собирали таким способом приданое и, сколотив состояние, возвращались на родину, чтобы выйти замуж. Племя уважало их не меньше, чем других женщин, — таков был обычай. Хотя в настоящее время по-прежнему принято, чтобы девушки племени улад-найль составляли себе состояние таким способом, но и все другие племена также поставляют куртизанок в арабские центры.

Хозяин кафе, в котором они себя показывают и предлагают, — всегда какой-нибудь негр. Завидев входящих иностранцев, этот предприниматель сейчас же налепляет себе на лоб серебряный пятифранковик, который неизвестно каким образом держится у него на коже, и прохаживается по заведению, яростно дуя в свою примитивную флейту и настойчиво показывая монету, которой

себя украсил, в виде приглашения посетителю платить ему в этом же размере.

Те из улад-найль, которые происходят из «большого шатра», проявляют в обращении с гостями, согласно своему происхождению, щедрость и деликатность. Стоит только залюбоваться на секунду густым ковром, который служит постелью, и не успеет случайный любовник прийти к себе на квартиру, как слуга благородной проститутки уже несет ему эту вещь, вызвавшую его восхищение.

Так же, как и у подобных женщин во Франции, у них имеются любовники, живущие за счет их трудов. Случается, что утром где-нибудь во рву находят одну из них с перерезанным горлом, без единого украшения. Человек, которого она любила, исчезает бесследно и никогда больше не возвращается.

Помещение, где они принимают гостей, представляет собой узенькую комнатку с глиняными стенами. В оазисах потолок заменяют просто наваленные друг на друга камыши, в которых живут целые полчища скорпионов. Постелью служат несколько ковров, положенных один на другой.

Когда богатые арабы или французы хотят устро-

ить ночью роскошную оргию, они снимают до утра мавританскую баню со всей прислугой. Они едят и пьют в банных помещениях, а диванами, предназначенными для отдыха, пользуются для других целей.

Вопрос о нравах заставляет меня коснуться весьма рискованной темы.

Наши понятия, наши обычаи, наши чувства так резко отличаются от всего, с чем сталкиваешься в Алжире, что мы почти не смеем упоминать у нас о пороке, настолько распространенном в этой стране, что даже тамошние европейцы перестали удивляться ему или возмущаться. В конце концов, вместо негодования он вызывает только смех. Это очень щекотливый вопрос, но умолчать о нем нельзя, если хочешь рассказать о жизни арабов и дать представление о своеобразном характере этого народа.

На каждом шагу встречаешь здесь ту противоестественную любовь между лицами одного пола, которую проповедовал Сократ, друг Алкивиада.

Часто в истории мы находим примеры этой странной и нечистоплотной страсти, которой предавался Цезарь, которая была широко распространена среди римлян и греков, которую Генрих III ввел в моду во Франции и в которой подозре-

вали многих великих людей. Но эти примеры только исключения, тем более заметные, что они довольно редки. В Африке же эта ненормальная любовь так глубоко вошла в быт, что арабы, кажется, считают ее столь же естественной, как и обычную.

Откуда это извращение? Оно зависит, конечно, от многих причин. Самая очевидная — это недостаток женщин, захваченных богачами, владеющими четырьмя законными женами и столькими наложницами, скольких они могут прокормить. Может быть, также и знойный климат, обостряющий чувственные желания, притупил у этих людей с их неистовым темпераментом тонкость и благородство чувств, духовную чистоплотность, которые ограждают нас от отвратительных привычек и отношений.

Может быть, наконец, здесь играет роль нечто вроде традиции нравов Содома, порочная наследственность у здешнего кочевого народа, полудикого, почти лишенного цивилизации, остающегося и посейчас таким же, каким он был в библейские времена.

Осмелюсь привести несколько примеров, недавно имевших место и прекрасно характеризующих силу этой страсти у арабов.

У Хаммама, когда он только начинал свою карьеру, служил одним из банщиков мальчик-негр из Алжира. Пробыв некоторое время в Париже, этот молодой человек вернулся к себе в Африку. И вот однажды утром в казарме нашли двух убитых солдат. Розыски вскоре показали, что убийцей был не кто иной, как бывший служащий Хаммама, разом умертвивший двух своих любовников. Между этими людьми, познакомившимися через него, установились интимные отношения, а он, узнав об их связи и ревнуя обоих, зарезал того и другого.

Такие случаи встречаются очень часто.

Вот еще другая драматическая история.

Один молодой араб, происходящий из «большого шатра», славился по всей области своими любовными похождениями, причем бесчестно конкурировал с куртизанками улад-найль.

Братья много раз упрекали его, но не за то, что распутничал, а за то, что продавался. Так как он ни в чем не изменял своего поведения, они дали ему неделю сроку, чтобы отказался от своего ремесла. Он не обратил внимания на это предупреждение.

На девятый день утром его нашли на арабском кладбище мертвым, задушенным, обнаженным,

с закутанной головой. Когда открыли его лицо, то увидали на лбу монету, вдавленную сильным ударом каблука, и на этой монете маленький черный камень.

А вот рядом с драмой и комедия.

Один офицер-спаги безуспешно искал себе денщика. Все солдаты, которых он к себе брал, были плохо одеты, грязны, неряшливы и совершенно не подходили для этой службы. В одно прекрасное утро является к нему молодой кавалерист-араб, очень красивый, сообразительный, с хорошей выправкой. Лейтенант взял его на пробу. Малый оказался просто находкой: расторопный, чистоплотный, молчаливый, внимательный и ловкий. Все шло прекрасно в течение недели. Затем утром, придя домой с обычной прогулки, лейтенант увидел у двери старого спаги, занятого чисткой его сапог. Лейтенант вошел в переднюю: другой спаги подметал пол. В комнате третий убирал постель, а четвертый распевал песни на конюшне. Денщик же, молодой Мохаммед, курил в это время папиросы, лежа на ковре.

Ошеломленный лейтенант подозвал одного из неожиданных заместителей своего денщика и спросил его, показывая на остальных:

— Что вы все тут делаете, черт вас возьми?

Араб сейчас же пояснил:

— Господин лейтенант, мы присланы туземным лейтенантом.

Действительно, у каждого французского офицера всегда есть соответствующий туземный офицер, который ему подчинен.

— А, туземным лейтенантом! Зачем же?

Солдат продолжил:

— Господин лейтенант нам сказал: «Ступайте к французскому офицеру и сделайте за Мохаммеда всю работу. Мохаммед не должен работать: он жена нашего офицера».

Такая утонченная предупредительность стоила туземному офицеру двух месяцев ареста.

Этот порок настолько укоренился в арабских нравах, что каждый пленный, попавший арабам в руки, немедленно бывает использован ими для наслаждения. Если мучителей много, несчастный может умереть под этой пыткой сладострастия. Судебные власти, призванные констатировать убийство, часто устанавливают также, что тело убитого после смерти было изнасиловано убийцей.

Имеются и другие случаи, весьма обычные и до такой степени отвратительные, что я не могу привести их здесь.

Спускаясь однажды вечером из Бухрари незадолго до заката солнца, я увидел трех улад-найль, двух в красном и одну в синем, стоявших среди группы мужчин, которые сидели по-восточному или лежали на земле. Женщины были похожи на дикарские божества, возвышающиеся над распростертым ниц народом.

Глаза всех были устремлены на форт Богар, туда, на высокий холм в противоположном конце пыльной долины. Все были неподвижны и внимательны, словно ожидали какого-нибудь необычайного события. У всех в руках была еще не закуренная, только что свернутая сигарета.

Вдруг над крепостью взвился белый дымок, земля слегка содрогнулась от глухого отдаленного гула, и мгновенно каждая сигарета оказалась во рту. Это французская пушка извещала побежденный народ о конце ежедневного воздержания.

Зар'эш

Однажды утром я завтракал в форте Богар у капитана из бюро по арабским делам, у одного из самых обязательных и способных офицеров, когда-либо служивших на юге, как говорили мне сведущие люди; разговор зашел о поручении, которое должны были в ближайшее время выполнить два молодых лейтенанта. Надо было объехать большую территорию по округам Богар, Джельфа и Бу-Саада, чтобы определить местонахождение водных пространств. Опасались всеобщего восстания после Рамадана и хотели подготовить путь для экспедиционной колонны через земли племен, населяющих эту часть страны.

Точной карты этих областей еще не имеется. Существуют только общие топографические съемки, сделанные проезжавшими здесь изредка офицерами, приблизительные обозначения источников и колодцев, заметки, нацарапанные на седельной луке, и беглые зарисовки, сделанные на глаз без каких-либо приборов.

Я тотчас же попросил разрешения примкнуть

к маленькой экспедиции. Оно было дано мне с величайшей любезностью.

Мы выехали два дня спустя.

Было три часа утра, когда спаги принялся стучать в дверь нищей гостиницы Бухрари, чтобы разбудить меня.

Когда я открыл дверь, передо мной предстал человек в красной куртке с черной вышивкой, в широких сборчатых шароварах, доходивших до колен, где начинались алые кожаные чулки, какие носят всадники пустыни. Это был араб среднего роста. Его горбатый нос был рассечен ударом сабли, и левая ноздря совершенно изуродована. Его звали Бу-Абдаллах. Он сказал мне:

— Мсье, твоя лошадь готовая.

Я спросил:

— Лейтенант приехал?

Он ответил:

— Он сейчас приехать.

Вскоре из темной и голой долины донесся отдаленный шум, затем появились и исчезли чьи-то тени и силуэты. Я различил только странные фигуры трех верблюдов, нагруженных чемоданами, походными кроватями и кое-какими предметами, которые мы взяли с собой для двадцатидневного путешествия по пустынным

краям, малознакомым даже офицерам.

Немного погодя — и опять со стороны форта Богар — послышался стремительный галоп группы всадников, и оба лейтенанта, отправшихся в экспедицию, показались со своей охраной, которая состояла еще из одного спаги и одного арабского всадника по имени Деллис, происходившего из «большого шатра» и принадлежащего к знатному туземному роду.

Я немедленно вскочил на коня, и мы отправились в путь.

Была еще ночь, глубокая, тихая, как бы неподвижная. Проехав некоторое время в северном направлении, по долине Шелиффа, мы на рассвете свернули направо, в небольшую ложбину.

В здешних краях нет ни вечерних, ни утренних сумерек. Почти никогда не увидишь медленно ползущих красивых облаков, горящих пурпуром, изрезанных по краям, причудливых, разноцветных, кровавых или огневых, которые оживляют, окрашивают наш северный небосклон в час, когда солнце встает, и в час, когда солнце заходит.

Здесь появляется сначала какой-то неясный свет, который затем усиливается, распространяется и в несколько мгновений заливает все пространство. Потом вдруг, сразу у вершины горы

или у края бесконечной равнины, показывается солнце — уже такое, каким оно бывает высоко в небе, а не раскрасневшееся и будто еще не выспавшееся, как при восходе в наших туманных краях.

Но что всего необычнее для утренней зари в пустыне — это тишина.

Кому не знаком у нас первый птичий крик задолго до рассвета, когда небо только еще начинает бледнеть, затем другой, ответный крик с соседнего дерева и, наконец, непрерывная разноголосица свиста, перекликающихся трелей, щебетания и отдаленное, протяжное пение петухов — все это шумное пробуждение живых существ, этот веселый гомон в листве?

Здесь — ничего похожего. Огромное солнце встает над этой опустошенной им землей и уже будто смотрит на нее хозяйским глазом, как бы проверяя, не уцелело ли на ней что-нибудь живое. Не слышно ни единого крика животных — разве что лошадиное ржание; не видно ни единого признака жизни — разве что долгое, медленное и молчаливое следование стад на водопой в часы нашего привала у колодца.

Сразу же наступает палящий зной. Поверх фланелевого капюшона и белой каски мы наде-

ваем громадный медоль — соломенную шляпу с необъятными полями.

Мы медленно ехали по долине. На сколько мог видеть глаз, все было голо, все было желтовато-серого, пламенного, великолепного цвета. Иногда в пересохшем русле реки, на обмелевшем дне, где мутнеет остаток воды, несколько зеленых тростников выделялись резким маленьким пятнышком; иногда в какой-нибудь горной лощине два-три дерева указывали на присутствие родника. Мы еще не вступили в изнуренную жаждой страну, через которую нам вскоре предстояло направить свой путь.

Подъем был бесконечно долог. Другие небольшие долины ответвлялись от нашей. И чем ближе время подходило к полудню, тем все более скрывались дали за легкой дымкой зноя, за испарениями разогретой земли, принимая то голубую, то розовую, то белую окраску; все эти оттенки казались такими мягкими, такими нежными, такими бесконечно привлекательными по сравнению с ослепительной яркостью окружающего нас пейзажа.

Наконец мы достигли вершины горы и увидели выехавшего нам навстречу в сопровождении нескольких всадников каида Эль-Ахедар бен-

Яхья, у которого мы должны были остановиться. Это был араб знатной крови, сын бах-аги Яхья бен-Айса, прозванного «бах-ага — деревянная нога».

Он проводил нас к лагерю, раскинутому у ручья, под сенью четырех деревьев-великанов, подножия которых омывает вода; они представляли собою единственную растительность на всем протяжении кряжистых и голых вершин, которые тянулись до самого горизонта.

Сейчас же был устроен завтрак. Каиду нельзя было принять в нем участие из-за Рамадана, но, желая убедиться, что мы ни в чем не терпим недостатка, он уселся против нас, рядом со своим братом Эль-Хауэс бен-Яхьей, каидом племени улад-алан-бершие. К нам подошел мальчик лет двенадцати, несколько хрупкого сложения, но полный гордой и пленительной грации, которого я заметил уже раньше, несколько дней назад, среди улад-найль в мавританском кафе Бухрари.

Я был удивлен изяществом и сверкающей белизной одежд этого тоненького арабского мальчугана, его благородными манерами и почтением, какое все к нему, казалось, проявляли. И когда я выразил недоумение, как ему в таком возрасте позволяли проводить время среди

куртизанок, мне ответили: «Это младший сын бах-аги. Он приходит туда изучать жизнь и знакомиться с женщинами».

Как далеки мы здесь от наших французских нравов!

Мальчик также узнал меня и степенно подошел пожать мне руку. Потом, имея еще право, по молодости лет, не соблюдать поста, он сел с нами и принялся обдирать кусок жареной баранины тонкими худыми пальчиками. И мне показалось, что его старшие братья, каиды, которым было, я думаю, лет под сорок, подтрунивали над поездкой мальчугана в ксар, допытываясь, откуда у него шелковый шарф на шее — уж не подарок ли это какой-нибудь женщины.

В этот день мы отдохнули наконец днем под тенью деревьев. Я проснулся, когда начало уже вечереть, и взошел на соседний холм, чтобы окинуть взглядом весь горизонт.

Солнце, вот-вот готовое закатиться, отливало красным цветом на оранжевом небе. И повсюду, от севера к югу, от востока к западу, горные цепи, которые простирались перед моим взором, на сколько видел глаз, были необычайного розового цвета, цвета перьев фламинго. Это напоминало феерический оперный апофеоз в странном и

неправдоподобном освещении, что-то нарочитое, надуманное, неестественное и вместе с тем полное неизъяснимого очарования.

На следующий день мы спустились в равнину по ту сторону горы, в бесконечную равнину, пересечь которую нам стоило трех дней пути, хотя замыкавшая ее с противоположной стороны горная цепь Джебель-Гада ясно обрисовывалась перед нами.

Мы попадали то в унылую полосу песков, или, вернее, земляной пыли, то в целый океан кустиков альфы, в беспорядке разбросанных по равнине, из-за которых нашим лошадям приходилось все время петлять.

Поразительны эти африканские равнины.

Они кажутся голыми и плоскими, как паркет, а между тем их поверхность волниста, как море после бури, которое издали кажется совершенно спокойным и гладким, хотя по нему идут друг за другом широкие ровные валы. Песчаные волны почти неприметны, никогда не теряешь из виду гор на горизонте, но в двух километрах от вас, за параллельной складкой, могла бы укрыться целая армия, и вы не заметили бы ее.

Вот почему так трудно преследовать Бу-Амаму на заросших альфой плоскогорьях Южного

Орана.

Каждое утро с зарей отправляемся в путь через эти бесконечные суровые просторы и каждый вечер встречаем группу всадников, закутанных в белое, которые отводят нас в заплатанные, устланные коврами палатки. Изо дня в день ешь одно и то же, перекидываешься двумя-тремя словами, а затем спишь или мечтаешь.

И если бы вы знали, как далеко-далеко чувствуешь себя от мира, от жизни, от всего на свете под этим маленьким низким шатром, где сквозь дыры видны звезды, а из-под приподнятых краев — огромные пространства бесплодных песков.

Она однообразна, всегда неизменно та же, всегда сожжена и мертва, эта земля. И, однако, там ничего не желаешь, ни о чем не сожалеешь, ни к чему не стремишься. Этот спокойный, струящийся светом безрадостный пейзаж удовлетворяет зрение, ум, утоляет чувства и мечты, потому что он завершен, абсолютен, потому что по-иному его нельзя себе представить. Даже скупая зелень там кажется неуместной, как нечто фальшивое, раздражающее, грубое.

Каждый день в те же часы то же зрелище: пламя, пожирающее мир. И как только зайдет солнце, над безбрежной пустыней встает луна. Но

с каждым днем молчание пустыни мало-помалу покоряет вас, проникает в вашу душу, подобно тому, как неумолимое солнце сжигает вам кожу; и хочется стать кочевником, таким же, как эти люди, которые меняют место, никогда не покидая родины, и бродят среди этих бесконечных и почти одинаковых просторов.

Ежедневно офицер, объезжающий военный округ, посылает вперед туземного всадника предупредить каида, у которого он завтра будет есть и ночевать, чтобы тот мог заранее заготовить в своем племени провиант для людей и корм для животных. Это обычай, соответствующий во Франции постою у городских жителей, становится довольно разорительным для туземцев в том виде, как он проводится в жизнь.

Сказать «араб» все равно, что сказать «вор», исключений нет. И вот как происходит тут дело. Каид обращается к предводителю какого-нибудь колена своего племени и требует от его людей выполнения этой повинности.

Чтобы избавиться от таких налогов и тягот, предводитель откупается. Каид прикарманивает выкуп и обращается к другому предводителю, который зачастую отделывается таким же способом. Но в конце концов кому-нибудь нужно же

исполнить приказание.

Если у каида есть враг, то повинность падает на него, и тот поступает с простыми арабами точно так же, как каид с шейхами[29].

Таким образом, налог, который выразился бы в двадцати-тридцати франках на каждое племя, неизменно обходится ему в четыреста-пятьсот франков.

Пока еще невозможно изменить все это по множеству причин, о которых здесь было бы слишком долго распространяться.

Как только вы подъезжаете к привалу, вдали показывается приближающаяся к вам группа всадников. Один из них движется впереди, отдельно от других. Все едут шагом или рысью, а затем вдруг пускаются в галоп, в такой бешеный галоп, которого наши северные лошади не вынесли бы более двух минут. Это галоп скаковых лошадей, не уступающий в скорости экспрессу. Араб при этом сидит почти прямо в седле, его белые одежды развеваются. И вдруг на всем скаку он осаживает коня, который оседает на ноги. Одним прыжком араб соскакивает на землю и, почтительно подойдя к офицеру, целует ему руку.

---

[29] Примечания: 29
Шейх — вождь племени у арабов.

Каково бы ни было звание араба, его происхождение, могущество и состояние, он почти всегда при встрече с офицерами целует им руку.

Затем каид опять садится в седло и провожает путников к шатру, который он велел для них приготовить. Принято думать, что арабские шатры — белые, сверкающие на солнце. На самом деле они грязно-коричневого цвета с желтыми полосами. Ткань, из которой они сделаны — очень плотная, из верблюжьей или козьей шерсти, — выглядит грубой. Шатер низок (в нем с трудом можно стоять во весь рост) и очень широк. Он притянут к кольям довольно неровно, и края его приподняты, так что воздух со всех сторон проникает внутрь.

Несмотря на эти предосторожности, днем в этих матерчатых жилищах удушливая жара, зато ночью в них превосходно, и чудесно спишь на мягких роскошных коврах Джебель-Амура, хотя они и кишат насекомыми.

Ковры составляют единственную роскошь богатых арабов. Их накладывают один на другой, нагромождают целыми грудами и относятся к ним с величайшей бережливостью, поэтому, когда надо пройти по ковру, все снимают обувь, словно у дверей мечети.

Как только гости рассядутся, или, вернее, разлягутся на земле, каид приказывает подать кофе. Этот кофе удивительно вкусен. Между тем способ его приготовления несложен. Его не мелют, а толкут, затем прибавляют изрядное количество амбры и кипятят в воде.

Нет ничего забавнее арабской посуды. Когда вас принимает у себя богатый каид, его шатер украшен бесценными тканями, великолепными подушками, роскошными коврами. И вот подается старый жестяной поднос, а на нем четыре надбитые, треснутые, отвратительные чашки, словно их купили в плохонькой лавчонке на окраине Парижа. Чашки все разнокалиберные — и английский фарфор, и имитация под японский, и рыночная крейская посуда[30] — самый безобразный грубый фаянс, когда-либо производившийся на свете.

Кофе подают в старом чугуне, или в солдатском котелке, или, наконец, в неописуемом оловянном кофейнике, искалеченном, помятом, видавшем виды на своем веку.

Странный это народ, ребячливый и до сих пор еще примитивный, как в первобытные времена.

---

[30] Примечания: 30

Фаянсовая посуда, которую производили во французском городе Крей (департамент Уазы).

Он проходит свой земной путь, не привязываясь ни к чему, не стараясь обосноваться поудобнее. Вместо жилья у него тряпье, натянутое на палки; нет даже самых нужных вещей, без которых мы, кажется, не могли бы существовать. Ни кроватей, ни простынь, ни столов, ни стульев, ни одной из тех необходимых мелочей, которые доставляют удобства в жизни. Нет ни мебели для хранения имущества, ни ремесла, ни искусства, ни каких бы то ни было навыков. Арабы едва способны сшить из козьих кож мехи для воды и во всех случаях жизни прибегают к таким примитивным приемам, что приходится только поражаться.

Они не умеют даже починить свой шатер, изорванный ветром: бурая ткань его вся в дырках, сквозь которые беспрепятственно льет дождь. Эти кочевники словно не чувствуют привязанности ни к земле, ни к жизни и отмечают место, где покоятся их мертвецы, просто каким-нибудь камнем, большим камнем, принесенным с соседней горы. Их кладбище напоминает поле, где некогда обрушилось здание европейского типа.

У негров есть хижины, у лапландцев землянки, у эскимосов юрты, у самых диких из дикарей есть какое-нибудь жилище, вырытое в земле или кое-как сколоченное на ее поверхности. Они

привязаны к своей матери-земле. Арабы нигде не оседают, вечно странствуют, не чувствуя ни привычки, ни нежности к этой земле, которую мы себе подчиняем, оплодотворяем, которую мы любим всеми фибрами души, всем нашим человеческим сердцем; они не приспособлены к нашему труду, равнодушны к тому, о чем мы привыкли заботиться, и вечно скачут галопом на своих лошадях, как будто стремясь куда-то, куда им никогда не доехать. Их обычаи все так же первобытны. Наша культура скользит по ним, не оставляя следа.

Они пьют прямо из козьего меха, но иностранцам подают воду в целой коллекции невообразимых сосудов. Тут имеется все — от жестяной кастрюльки до продавленного бидона. Если бы при каком-нибудь набеге среди добычи им попался парижский цилиндр, они, наверное, сохранили бы его и подали бы в нем воду первому же генералу, проезжающему по их землям.

Их кухня состоит всего из четырех-пяти блюд. Порядок их следования всегда один и тот же.

Сначала подают барашка, зажаренного на костре. Его приносят целиком на плече, прихватив острием деревянного кола, который служит вертелом; вид этой ободранной висящей туши

невольно вызывает мысль о какой-то средневековой казни. Вечером на фоне красного неба эта туша и несущий ее суровый человек в белом производят впечатление зловещей и шутовской нелепости.

Барана кладут в плоскую, плетенную из альфы корзину, вокруг которой, поджав по-турецки ноги, располагаются едоки. Вилок нет и в помине; мясо рвут прямо руками или отрезают маленьким туземным ножом с роговой ручкой. Поджаренная, подрумяненная на огне, хрустящая кожа считается самым тонким яством. Ее отдирают длинными пластами и жуют, запивая или водой, всегда мутной, или верблюжьим молоком пополам с водой, или кислым молоком, перебродившим в козьем мехе, что придает ему сильный привкус мускуса. Этот посредственный напиток арабы называют «лебен».

За первым блюдом подается в миске, или в умывальном тазу, или в старой лоханке нечто вроде похлебки с вермишелью. Основу этого варева составляет желтоватый сок с примесью индийского и красного перца; в этом соку плавают сухие абрикосы и финики. Не рекомендую гурманам подобного бульона.

Если угощающий вас каид в достаточной ме-

ре гостеприимен, то затем подают хамис: это замечательное блюдо. Я, может быть, доставлю кому-нибудь удовольствие, если приведу здесь способ его приготовления.

Оно изготовляется из кур или баранины. Нарезав мясо на мелкие куски, его поджаривают в масле. Вслед за этим обдают мясо горячей водой и сливают полученный таким образом жиденький бульон (мне кажется, что лучше было бы употреблять для этого дела слабый бульон, приготовленный заранее). Наконец, кладут в бульон много красного перца, чуточку индийского, небольшое количество обыкновенного перца, соли, луку, фиников, сухих абрикосов и все это варят до тех пор, пока абрикосы и финики не разварятся совершенно. Тогда этим соусом заливают мясо. Получается восхитительное блюдо.

Обед заканчивается неизменным национальным блюдом кускус или кускусу. Арабы приготовляют кускус из крошечных шариков теста величиной с дробинку, которые они скатывают руками. Эти шарики варят особым способом и обливают каким-то специальным бульоном. Но я воздержусь от дальнейшей передачи рецептов, иначе меня обвинят в том, что я говорю только о кухне.

Иногда подают еще медовые слоеные пирожки, чрезвычайно вкусные.

Всякий раз, когда вы пьете, хозяин-каид говорит вам: «Saa!» («На здоровье!») Ему следует отвечать: «Allah y selmeck!» — что соответствует нашему «благослови вас бог». Эти формулы повторяются за обедом раз десять.

Каждый вечер, около четырех часов, мы располагаемся в новом шатре, то у подошвы горы, то среди безграничной равнины.

Но весть о нашем приезде уже разнеслась по всему племени, и вскоре повсюду на бесплодных равнинах и на холмах появляются вдали белые точки, которые движутся по направлению к нам. Это арабы спешат лицезреть офицера и предъявить ему свои жалобы и требования. Почти все верхом, но есть среди них и пешие; многие на маленьких осликах. Они сидят верхом на крупе, у самого хвоста животного, которое трусит мелкой рысью; длинные голые ноги седока волочатся с обеих сторон по земле.

Спрыгнув на землю, они тотчас же подходят и садятся на корточки вокруг шатра, а затем застывают в неподвижности, устремив глаза в одну точку и дожидаясь. Наконец каид делает знак, и прием посетителей начинается. Ведь каждый

совершающий объезд офицер чинит суд, как полновластный правитель.

Жалобы подают самые невероятные, потому что ни у одного народа нет такого сутяжничества, склочничества, крючкотворства и мстительности, как у арабов. О том, чтобы добиться истины, рассудить по справедливости, нечего и думать. Каждая сторона приводит с собой фантастическое количество лжесвидетелей, которые клянутся прахом своих отцов и матерей и утверждают под присягой самую наглую ложь.

Вот несколько примеров.

Кади[31] (корыстолюбие этих мусульманских чиновников заслуженно вошло в пословицу) призывает какого-нибудь араба и делает ему следующее предложение:

— Ты дашь мне двадцать пять дуро[32] и приведешь семь свидетелей, которые подтвердят в письменном виде, что Икс должен тебе семьдесят пять дуро. Ты их получишь.

Араб приводит свидетелей, которые дают это

---

[31] Примечания: 31

Кади — мусульманский судья, отправляющий гражданские и религиозные функции.

[32] Примечания: 32

Дуро — испанская серебряная монета стоимостью чуть более пяти франков.

показание и подписывают его. Тогда кади вызывает Икса и говорит ему:

— Ты дашь мне пятьдесят дуро и приведешь ко мне девять свидетелей, которые покажут, что Б. (первый араб) должен тебе сто двадцать пять дуро. Ты их получишь.

Второй араб приводит своих свидетелей.

Тогда кади вызывает первого араба и на основании показаний семерых свидетелей приказывает второму выплатить ему семьдесят пять дуро. Но второй араб, в свою очередь, предъявляет свои требования, и кади на основании показаний его девяти свидетелей заставляет первого араба заплатить сто двадцать пять дуро.

Доля чиновника в этом деле равна, таким образом, семидесяти пяти дуро (тремстам семидесяти пяти франкам), полученным с обеих его жертв.

Это достоверный факт.

И, несмотря на это, арабы почти никогда не обращаются к судье-французу — его ведь нельзя подкупить, — в то время как кади за деньги готов на все, что угодно.

Кроме того, они испытывают непреодолимое отвращение к сложным формам нашего судопроизводства. Всякая письменная процедура приводит их в ужас, так как в них до крайности

развит суеверный страх перед бумагой, на которой может быть начертано имя бога или же какие-нибудь колдовские знаки.

В начале французского господства, когда мусульманам случалось находить какую-нибудь исписанную бумажку, они набожно прикладывались к ней губами, зарывали ее в землю или засовывали в какую-нибудь дыру в стене или в стволе дерева. Это обыкновение приводило так часто к неприятным неожиданностям, что арабы очень скоро от него избавились.

Вот еще пример арабского мошенничества.

Вблизи Богара в одном племени совершено убийство. Подозрение падает на чужака-араба, но прямых улик против него нет. Действительно, среди этого племени находился в то время один бедняк, недавно пришедший из соседнего племени по своим денежным делам. Какой-то свидетель обвиняет его в убийстве. За ним другой, потом третий. Их набирается девяносто человек, дающих самые точные показания. Человек из чужого племени приговорен к смерти и обезглавлен. Спустя немного времени устанавливают полную невиновность казненного. Арабы просто-напросто хотели отделаться от стеснявшего их иноплеменника и помешать тому, чтобы человек

их племени оказался опороченным!

Тяжбы длятся годами, причем решительно нет возможности пролить свет на истинное положение дела из-за показаний лжесвидетелей. Тогда прибегают к очень простому средству: представителей тяжущихся семейств, равно как и всех свидетелей, сажают в тюрьму. Затем, по истечении нескольких месяцев, их выпускают, и обычно они успокаиваются примерно на год. Потом все начинается сначала.

У племени улад-алан, которое мы встретили на своем пути, есть одна тяжба, которая длится уже три года без какой-нибудь надежды на окончание. Оба истца время от времени садятся ненадолго под замок, а потом принимаются за прежнее.

Впрочем, арабы всю жизнь обворовывают, обманывают и убивают друг друга. Но они самым тщательным образом скрывают от нас все дела, от которых пахнет порохом.

В племени улад-мохтар к нам приходит высокого роста человек и просит, чтобы его взяли на излечение во французский госпиталь.

Офицер расспрашивает его о болезни. Тогда араб распахивает одежду, и мы видим глубокую рану в области печени, уже застаревшую и гно-

ящуюся. Попросив раненого повернуться, мы увидели другую рану на спине, на том же уровне, окруженную опухолью величиной с детскую голову. При надавливании по краям из нее вышли обломки костей. Этот человек, очевидно, был ранен выстрелом из ружья, причем пуля, пробив грудь, вышла через спину, раздробив два-три ребра. Но он решительно отрицал это, упорствовал и клялся, что болезнь его — «дело божье».

Впрочем, в этой стране с ее сухим климатом раны никогда не бывают особенно опасны. Гнилостные и воспалительные процессы, вызванные микробами, здесь не имеют места, так как эти микроскопические организмы водятся только во влажном климате. От ран здесь всегда излечиваются, конечно, если выстрел не убивает наповал или не поражает какой-нибудь важный орган.

На следующий день мы приехали к каиду Абд-эль-Кадир бель-Хуту. Он из выслужившихся арабов. Племя, которым он мудро управляет, менее воровато и менее других заражено сутяжничеством. Существует, быть может, особая причина этого относительного спокойствия.

Так как водные источники имеются только на южном, совершенно необитаемом склоне Джебель-Гада, то естественно, что вода поступает из

водоемов, составляющих общую собственность всего племени, поэтому здесь не могут иметь места отводы источников, что является главной причиной ссор и вражды по всему югу.

Здесь к нам опять обратился туземец, желающий попасть во французский госпиталь. Когда его спросили, какой болезнью он страдает, он поднял полы гандура и показал свои ноги. Они были испещрены синими пятнами, слабы, вялы, дряблы, как перезревший плод, и так отекли, что палец погружался в тело, как в тесто, надолго оставляя маленькую вдавлину. Словом, у бедняги были все признаки ужасающего сифилиса. На вопрос, каким образом он получил эту болезнь, араб поднял руку и поклялся памятью своих предков, что это — «дело божье».

Поистине бог у арабов совершает весьма своеобразные дела.

Выслушав все заявления, мы пробуем немного уснуть в ужасной духоте шатра.

Затем наступает вечер; мы ужинаем. Глубокая тишина нисходит на раскаленную землю. Вдали в дуарах начинают выть собаки, им отвечают шакалы.

Мы располагаемся на ковре под открытым небом, усеянным звездами, которые блестят

так трепетно, что кажутся влажными, и вот начинается долгая-долгая беседа. Нас обступают воспоминания, сладкие, отчетливые, которые так и просятся на язык в эти теплые звездные ночи. Вокруг офицерской палатки лежат на земле арабы, а в стороне, в один ряд, стоят стреноженные лошади, и каждую охраняет караульный.

Лошадь не должна ложиться, она всегда должна быть на ногах: ведь конь начальника не может устать, Как только лошадь собирается лечь, араб сейчас же заставляет ее подняться.

Ночь все темнеет. Мы укладываемся на пышных шерстяных коврах и, проснувшись иногда, видим вокруг на голой земле спящие белые фигуры, похожие на трупы в саванах.

Однажды, после десятичасового перехода по раскаленной пыли, когда мы только что прибыли на привал у колодца с мутной и солоноватой водой, которая показалась нам тем не менее восхитительной, я было собрался улечься в шатре, как вдруг лейтенант схватил меня за плечи и спросил, показывая на южный край горизонта:

— Вы там ничего не видите?

Вглядевшись, я ответил:

— Серенькое облачко.

Лейтенант улыбнулся.

— Так вот сядьте и последите за этим облачком.

Удивленный, я спросил, зачем это. Мой спутник объяснил:

— Если не ошибаюсь, надвигается песчаный ураган.

Было около четырех часов дня, и жара в шатре держалась еще на сорока восьми градусах. Воздух точно заснул под косыми нестерпимыми лучами палящего солнца. Ни дуновения, ни звука, только слышно, как жуют ячмень наши стреноженные лошади да доносится неясный шепот арабов, которые в каких-нибудь ста шагах дальше готовят нам обед.

Казалось, однако, что вокруг нас сгущается зной иного свойства, чем обычная жара: зной, более тяжелый, более удушливый, вроде того, какой стесняет дыхание, когда находишься вблизи большого пожара. Это не было горячее, резкое, порывистое дуновение, огненная ласка, предвещающая приближение сирокко: это было какое-то таинственное накаливание всего сущего до последнего атома.

Я смотрел на облако, которое быстро росло, но имело вид самого обыкновенного облака. Теперь оно было грязно-бурого цвета и поднималось

очень высоко над горизонтом. Потом оно растянулось вширь, как грозовые тучи у нас на севере. Право, я не замечал в нем решительно ничего особенного.

Наконец облако заволокло всю южную сторону. Нижняя его часть стала иссера-черной, а вершина медно-красного цвета казалась прозрачной.

Я услышал шум у себя за спиной и обернулся. Арабы закрывали вход в наш шатер и накладывали на его края тяжелые камни. Все бегали, звали друг друга и суетились, как это бывает на войне перед началом атаки.

Мне вдруг показалось, что стало темнеть. Я взглянул на солнце. Оно подернулось желтой дымкой и стало лишь бледным круглым пятном, которое все тускнело и тускнело.

И я увидел поразительное зрелище. Вся южная сторона небосвода исчезла, и туманная масса, поднявшись до самого зенита, надвигалась на нас, поглощая предметы, с каждым мгновением уменьшая поле зрения и все собой закрывая.

Я инстинктивно отступил к шатру. И как раз вовремя. Ураган несся с быстротой поезда и приближался к нам желтой громадной стеной, и вдруг нас втянуло в яростный вихрь песка и ветра, в свирепую бурю взметенных, невесомых

частиц земли, обжигающую, слепящую, оглушающую и удушливую.

Наш шатер, укрепленный огромными камнями, трепало, как парус в бурю, но он все-таки устоял, а шатер наших спаги, укрепленный хуже, вздрагивал несколько секунд под порывами ветра, вздувавшего ткань, и вдруг сорвался с земли и улетел, тотчас же исчезнув во мраке окружавших нас облаков пыли.

В десяти шагах уже ничего не было видно сквозь эту песчаную ночь. Песком дышали, песок пили, песок ели. Он наполнял глаза, засыпал волосы, попадал за воротник, в рукава, даже в обувь.

Так продолжалось всю ночь. Нас мучила жгучая жажда, но вода, молоко, кофе — все было полно песка, хрустевшего на зубах. Жареный барашек был посыпан им как перцем; кускус казался сваренным из одного мелкого песка; мука превратилась в мелко истолченный камень.

К нам в гости явился большой скорпион. Такая погода по вкусу этим животным, и все они выползают наружу. Собаки в соседнем дуаре не выли в эту ночь.

Затем к утру все кончилось, и солнце, великий смертоносный тиран Африки, встало во всем своем великолепии на ясном небе.

Тронулись в путь довольно поздно, так как это песчаное наводнение помешало нам выспаться.

Перед нами возвышалась горная цепь Джебель-Гада, через которую предстояло перейти. С правой стороны открывалось ущелье; мы шли вдоль хребта, пока не достигли прохода. Тут мы опять наткнулись на заросли альфы, ужасной альфы. Вдруг мне показалось, что я набрел на стершийся след дороги, на дорожную колею. Я остановился, удивленный. Дорога? Здесь? Что за чудо! Мне тут же дали объяснение. Бывший каид этого племени, заразившись примером европейцев, живущих в Алжире, захотел побаловать себя в пустыне роскошью — каретой. Но чтобы ездить в карете, необходимы дороги, и потому сей мудрый правитель заставил в течение многих месяцев всех своих подданных трудиться над прокладкой пути. Несчастные арабы, работая без заступов, без лопат, без всяких орудий, рыли землю почти исключительно руками и тем не менее проложили дорогу длиной несколько километров. Этого было достаточно для их владыки, и он стал кататься по Сахаре в необычном экипаже вместе с туземными красавицами, за которыми посылал в Джельфу своего фаворита, арабского юношу лет шестнадцати.

Надо видеть Алжир: страну обнищавшую, голую, разутую, — надо знать арабов с их невозмутимой важностью, чтобы понять всю смехотворность этой картины: развратник и щеголь с ястребиным профилем катает по пустыне босоногих кокоток, усадив их в грубую деревянную повозку на разнокалиберных колесах, которую пустил во весь опор… его возлюбленный в роли кучера. Это щегольство под тропиками, этот разврат среди Сахары, этот шик в глубине Африки поразили меня своим незабываемым комизмом.

Наш отряд в то утро был многочислен. Кроме каида с сыном нас сопровождали два всадника-туземца и худощавый старик с остроконечной бородой, крючковатым носом, крысиной физиономией, подобострастными манерами, согбенной фигурой и лживым взглядом. Это был тоже каид, прежний каид этого племени, смещенный за лихоимство. Он должен был служить нам проводником на следующий день, так как предстоявшая нам дорога малоизвестна даже арабам.

Между тем мы понемногу приближались к выходу из ущелья. Отвесная скала закрывала вид, но как только мы ее обогнули, я остановился, пораженный неожиданностью, несомненно, самой сильной из всех испытанных мною за это

путешествие.

Перед нами расстилалась широкая равнина, а за ней ослепительно сверкало под солнечными лучами озеро — огромное озеро, противоположный берег которого не был виден, уходя куда-то влево, а ближайший западный берег был почти прямо передо мной. Озеро в этой стороне, посреди Сахары? Озеро, о котором никто не сказал мне ни слова, о котором не упоминал ни один путешественник? Не сошел ли я с ума?

Я обратился к лейтенанту.

— Что это за озеро?

Он засмеялся и ответил:

— Да это не вода, это соль. Впрочем, всякий ошибся бы — до того обманчив ее вид. Это озеро Себкра; его здесь называют «Зар'эш» (Зар'эш-Шерги), и оно имеет около пятидесяти-шестидесяти километров длины на двадцать, тридцать или сорок ширины в зависимости от места. Цифры, разумеется, приблизительные, так как через эту страну проезжают очень редко и второпях, как, например, мы сейчас. От соляных озер (их два, другое дальше на западе) получил название и весь этот край, который зовут здесь Зар'эш. Начиная от Бу-Саады равнина носит название «Ходна», по имени соляного озера, находящегося у Мсилы.

Я смотрел, удивленный, зачарованный, на громадную соляную скатерть, сверкавшую под яростным африканским солнцем. Вся эта ровная кристаллическая поверхность блестела, как зеркало необъятной величины, как кусок стали; для воспаленных глаз невыносим был блеск этого необычайного озера, хотя оно еще отстояло от нас километров на двадцать, чему с трудом можно было поверить — до того оно казалось мне близким.

Мы спустились по ту сторону Джебель-Гада и приблизились к заброшенной крепости под названием «Пост у источника» (Бордж-эль-Хаммам), где должны были сделать привал, так как переход, против обыкновения, был на этот раз очень короткий.

Крепость с зубчатыми стенами, построенная в начале покорения страны, чтобы можно было занять эту пустынную местность в случае восстания и разместить там отряд в относительной безопасности, ныне пришла в совершенный упадок. Сравнительно хорошо сохранилась, впрочем, крепостная стена, да несколько комнат поддерживались в годном для жилья виде.

Как и в предыдущие дни, к нам до самого вечера шли вереницы арабов, чтобы изложить

офицеру свои необыкновенно запутанные дела и воображаемые обиды единственно из желания поговорить с французским начальником.

Вокруг нас все время бродила какая-то сумасшедшая женщина — неизвестно было, откуда она взялась и каким образом существовала в этой безотрадной пустыне. Выходя из дома, мы всякий раз натыкались на ее полуголую, скорченную в странной позе, отталкивающую фигуру.

Поэтически настроенные путешественники много рассказывали об уважении, которым арабы окружают сумасшедших. Так вот вам пример такого уважения: сумасшедших убивают… их же родственники! В этом признались нам многие каиды, прижатые к стене нашими расспросами. Иногда действительно какой-нибудь из этих несчастных и почитается за святого именно в силу своего слабоумия. Такие случаи не составляют исключения в Африке. Обычно же семья старается поскорее освободиться от сумасшедшего. А так как жизнь племени, управляемая туземными начальниками, остается скрытым от нас миром, мы чаще всего и не подозреваем о таких исчезновениях.

Днем я был в пути недолго, и потому часть ночи провел за писанием. Было очень жарко, и около

одиннадцати часов я вышел, чтобы разостлать ковер у двери и поспать под открытым небом.

Полная луна заливала пространство сияющим светом, от которого блестели, точно лакированные, все озаренные ею предметы. Горы, желтые и при свете солнца, желтые пески, желтый горизонт, были еще желтее под ласковым шафрановым сиянием ночного светила.

Там, передо мной, Зар'эш, обширное озеро окаменевшей соли, казалось раскаленным добела. От него словно исходил фантастический, фосфоресцирующий свет, который зыбился сверкающей сказочной дымкой; это зрелище было так необычайно, так нежно, так пленительно для глаз и воображения, что я больше часу любовался им, не решаясь закрыть глаза.

А повсюду вокруг меня бурнусы уснувших арабов тоже сверкали под лаской луны и казались громадными хлопьями белого снега.

На рассвете мы тронулись в путь.

Равнина по дороге в Себкру была слегка полога и усеяна худосочным ржавыми кустиками альфы. Старый араб с крысиным лицом шел впереди, мы следовали за ним скорым шагом. Чем ближе мы подходили к соленому озеру, тем полнее была иллюзия. Разве это не вода, не огромная водная

поверхность? С левой стороны она занимала в ширину все пространство между двумя горами, то есть от тридцати до сорока километров. Мы шли прямо к озеру, так как намеревались пересечь его в самом узком месте.

По другую сторону Зара я различал нечто вроде золотисто-желтого холма, или, вернее, вала, который как бы отделял озеро от горы. По левую руку от нас эта линия тянулась вдоль белой полосы соли до самого горизонта; по правую руку, где расстилалась бесконечная, голая, зажатая между двумя горами равнина, я видел ту же желтую черту, терявшуюся вдали. Лейтенант сказал мне:

— Это дюны. Эта песчаная полоса тянется больше чем на двести километров, причем ширина ее все время меняется. Мы завтра перейдем ее.

Почва становилась какой-то странной и была покрыта корочкой селитры, которую разбивали копыта лошадей. Стали попадаться травы, тростники; чувствовалось, что где-то невдалеке расстилается водная гладь. Эта равнина, замкнутая горами, впитывавшая четыре реки (пересыхающие реки), служившая стоком для неистовых зимних ливней, превратилась бы в огромное болото, если бы не свирепое солнце, иссушавшее, несмотря ни на что, ее поверхность.

Иногда в углублении почвы виднелись мутные лужи солоноватой воды, и гаршнепы взлетали перед нами, быстро описывая характерные для них петли.

Вдруг мы очутились на самом берегу Себкры и двинулись по этому высохшему океану.

Все белело снежно-серебристой, воздушно-легкой, переливчатой белизной. И даже продвигаясь по кристаллической поверхности, занесенной, точно легким снегом, соленой пылью, поддающейся под ногами лошадей, как рыхлый лед, мы все еще не могли отделаться от странного впечатления, что перед нами водная гладь. Одно только разве доказывало опытному глазу, что это не водная поверхность: горизонт. Обычно черта, отделяющая воду от неба, ясно видна, так как цвет воды бывает несколько темнее. Правда, подчас все как будто стушевывается: море приобретает тогда окраску и неопределенность тающей голубой дымки, которая теряется в бледнеющей синеве бездонного неба, — но стоит приглядеться внимательно в течение нескольких мгновений, чтобы все же различить линию раздела, как она ни бледна и ни затуманена. Здесь же ничего нельзя было увидеть: горизонт скрывал белый туман, какой-то молочный пар, непередаваемо легкий,

ласкающий взор, и мы искали земную грань в воздушном пространстве или она чудилась нам гораздо ниже, посреди соляной пустыни, над которой колыхались эти белесые странные облака.

Пока мы были над Зар'эшом, у нас оставалось точное представление о расстояниях и предметах, но как только очутились внизу, наши зрительные впечатления потеряли всякую отчетливость: нас внезапно окутала фантасмагория миража.

Порой горизонт, казалось, отходил от нас необычайно далеко, и посреди застывшего озера, которое только что представлялось нам ровным, гладким и плоским, как зеркало, вырастали причудливые громадные скалы, непомерно большие тростники, острова с утесистыми берегами. Затем, по мере того как мы приближались, эти странные видения разом исчезали, точно театральная декорация, а на месте нагроможденных скал обнаруживалось несколько мелких камешков. Тростники при ближайшем рассмотрении превращались в засохшие травы вышиной с вершок, выросшие до невероятной величины благодаря любопытному оптическому обману. Крутые берега становились небольшими буграми соляной коры, а горизонт, который, казалось, лежал на расстоянии тридцати километров,

затягивался не дальше чем в ста метрах завесой зыбкого тумана, поднимавшегося над раскаленными пластами соли под действием жестокого солнца пустыни.

Так продолжалось около часа, потом мы достигли другого берега.

Сначала мы пересекли небольшую поляну, изрытую дождевыми потоками, покрытую корой пересохшей глины с примесью селитры.

Мы ехали по едва ощутимому склону. Показались травы, за ними нечто вроде камышей, потом мелкие голубые, напоминающие полевую незабудку цветочки на высоких тоненьких, как нити, стебельках, такие душистые, что все кругом благоухало. Этот нежный запах произвел на меня впечатление освежающей ванны. Мы глубоко вдыхали его, и грудь точно расширялась, впивая этот упоительный аромат.

Наконец перед нами предстал ряд тополей, целая тростниковая роща, дальше — другие деревья, а за ними наши шатры, раскинутые на границе зыбучих песков, неровные волны которых, вздыбившись, застыли на высоте восьми-десяти метров.

Зной становился невыносимым, усиливаясь, без сомнения, от отраженных Себкрой лучей.

В шатрах, душных, как баня, оставаться было невозможно, и, едва сойдя с лошади, мы отправились искать тень под деревьями. Сначала надо было пройти сквозь рощу тростников. Я шел впереди и вдруг пустился в пляс, испуская радостные крики. Я увидел перед собой виноградные лозы, абрикосовые, финиковые, гранатовые деревья, усыпанные плодами, ряд фруктовых садов, некогда цветущих, а теперь занесенных песком; они принадлежали джельфскому аге. Завтрак без жареной баранины! Какое счастье! Без кускуса! Какое блаженство! Виноград! Винные ягоды! Абрикосы! Все это не вполне созрело, но что за беда — это была настоящая оргия, сошедшая, помнится, не вполне безболезненно. Что касается воды, то она оставляла желать многого. Это была жидкая грязь, в которой плавали личинки. Ее, конечно, совсем не пили.

Все забрались в тростник и заснули. Внезапно я вскочил от ощущения холода: громадная лягушка пустила мне в лицо струю воды. В этих краях следует быть начеку и неблагоразумно спать таким вот образом в редко встречающихся зарослях, особенно вблизи песков, где во множестве водится лефа, прозванная рогатой гадюкой, укус которой смертелен и действует почти мгновенно.

Агония в большинстве случаев не длится и часа. Впрочем, эта змея сама по себе очень ленива и становится опасной, только если на нее случайно наступить или лечь поблизости. Найдя ее на дороге, можно даже при некотором навыке и осторожности взять ее в руки, быстро схватив за голову позади ушей.

Я лично воздержался от такого эксперимента.

Эта маленькая страшная змея живет и в альфе, и среди камней — всюду, где может найти себе приют. Когда впервые ложишься спать на земле, мысль об этом пресмыкающемся сильно тревожит, но потом о нем думаешь меньше, а под конец и совсем забываешь. Что касается скорпионов, то к ним относятся с полным пренебрежением. Они там так же обычны, как у нас пауки. Когда скорпиона обнаруживали около нашей стоянки, то обкладывали сухой травой и поджигали. Обезумевшее насекомое, чувствуя близкую гибель, поднимало хвост, загибало над головой и само наносило себе смертельный укол. По крайней мере, меня уверяли, что скорпион себя убивает, я же видел лишь, как он погибал в пламени.

Вот при каких обстоятельствах я впервые увидел рогатую гадюку.

Однажды в полдень, когда мы проезжали че-

рез огромную равнину, заросшую альфой, моя лошадь стала вдруг проявлять явные признаки беспокойства: опускала голову, фыркала, останавливалась, косилась на каждый куст. Признаюсь, я очень плохой наездник, а от этих внезапных остановок я не только всякий раз натыкался животом на огромную острую луку арабского седла, но и боялся окончательно потерять равновесие. Лейтенант, мой спутник, хохотал от души. Вдруг лошадь моя сделала скачок и уперлась на месте, разглядывая на земле что-то такое, чего я не мог различить. Предчувствуя катастрофу, я предпочел слезть и стал искать причину ее испуга. Передо мной был тощий куст альфы. Я на всякий случай ударил по нему палкой, и оттуда выползла какая-то змейка и исчезла в соседнем кусте.

Это была лефа.

В тот же вечер на скалистой голой равнине лошадь моя снова шарахнулась в сторону. Я спрыгнул на землю в уверенности, что увижу опять рогатую гадюку, но ничего не нашел. Когда же я сдвинул с места ближайший камень, из-под него выбежал длинноногий наук песочного цвета, ловкий и необыкновенно проворный, и исчез под скалой, прежде чем я успел его поймать. Подошедший ко мне спаги назвал его ветровым

скорпионом — образный термин, подчеркивающий его прыть. По-моему, это был тарантул.

Как-то раз, ночью, во время сна, что-то леденящее коснулось моего лица. Я вскочил в испуге, но песок, шатер — все терялось во мраке, и я различал только большие белые пятна — арабов, спавших вокруг нас. Не укусила ли меня лефа, проползая мимо? Или, быть может, скорпион? Откуда это холодное прикосновение? Взволнованный, я зажег фонарь и стал оглядывать землю, подняв ногу для удара, и тут увидел перед собой безобразную жабу, одну из тех фантастических белых жаб, что водятся в пустыне: она смотрела на меня, раздув брюхо и расставив лапы. Отвратительная тварь, видимо, пробиралась своей обычной дорогой и случайно задела меня по щеке.

В отместку я заставил ее выкурить папиросу, от чего она тут же околела. Вот как это делается: насильно открывают ее узкую пасть, суют в нее конец скрученной тонкой бумаги, набитой табаком, и зажигают сигарету с другого конца. Жаба, задыхаясь, пыхтит изо всей силы, чтобы избавиться от этого орудия пытки, но волей-неволей ей приходится втянуть воздух. Тогда земноводное опять начинает пыхтеть, раздуваясь, умори-

тельно задыхаясь, но ему приходится выкурить сигарету до конца, разве что над ним сжалятся. Обыкновенно жаба околевает от удушья, раздувшись как шар.

В качестве особого вида спорта, который можно наблюдать в Сахаре, иностранцам часто показывают поединок между лефой и вараном.

Кто из нас не встречал на юге Франции маленьких бесхвостых ящериц, бегавших вдоль старых каменных стен? Прежде всего спрашиваешь себя: в чем тут секрет, почему они без хвоста? Но вот однажды вы читаете в тени изгороди и вдруг видите, что из расщелины стены выползает уж и бросается на безвредного милого зверька, греющегося на камне. Ящерица спасается бегством, но уж, более проворный, хватает ее за хвост, за длинный извивающийся хвост, и половина его остается в острых зубах врага, а изуродованная ящерица исчезает в какой-нибудь щели.

Так вот варан, тот самый земноводный крокодил, о котором упоминается у Геродота, разновидность большой ящерицы, живущей в Сахаре, мстит за свою породу страшной лефе.

Бой между этими животными чрезвычайно интересен. Его устраивают обычно в старом ящике из-под мыла. Туда сажают варана, который на-

чинает метаться с необыкновенной быстротой в поисках выхода, но как только в ящик вытряхнут из мешочка змею, затихает, лишь глаза его так и бегают. Потом он делает несколько проворных движений, как бы скользя навстречу неприятелю, затем снова выжидает. Лефа, со своей стороны, наблюдает за ящерицей, чует опасность и готовится к бою, потом одним броском кидается на врага, но варан уже далеко — несется как стрела, за ним едва можно уследить. Теперь настает его очередь, и, метнувшись назад, он нападает с поразительной быстротой. Лефа оборачивается и протягивает маленькую раскрытую пасть, готовясь поразить его своим смертоносным укусом, но враг, задев змею, уже ускользнул на недосягаемое расстояние в противоположный конец ящика и снова смотрит на нее оттуда.

И так продолжается четверть часа, двадцать минут, иногда и дольше. Лефа, вне себя, свирепеет, подползает к варану, который постоянно убегает так проворно, что за ним и глазом не поспеешь, или возвращается, кружится, останавливается и ускользает вновь, доводя своего опасного противника до потери сил, до бешенства. Затем вдруг, выбрав минуту, он стремительно бросается на лефу, и видишь уже только, как корчится змея,

схваченная сильной треугольной челюстью ящерицы за шею позади ушей, как раз за то место, за которое ее берут арабы.

Глядя на борьбу этих маленьких животных на дне ящика из-под мыла, невольно думаешь о бое быков в величественных цирках Испании. Однако опаснее было бы потревожить этих ничтожных на вид бойцов, чем столкнуться с яростью громадного ревущего животного, вооруженного острыми рогами.

В Сахаре часто можно встретить отвратительного вида змею, длиной нередко больше метра и не толще мизинца. В окрестностях Бу-Саады это безобидное пресмыкающееся внушает арабам суеверный ужас. По их уверениям, эта змея как пуля пробивает самое твердое тело, и ничто не может устоять перед ней, когда она прыгнет, завидев какой-нибудь блестящий предмет. Один араб рассказывал мне, что брат его был пронзен такой змеей, которая заодно погнула и его стремя. Очевидно, этот человек был прострелен пулей в ту самую минуту, когда увидел вблизи гадину.

В окрестностях же Лагуата такие змеи, напротив, не внушают никакого страха, и дети ловят их руками.

Мысль об этих ужасных обитателях пустыни

некоторое время мешала мне спать в тростниковых зарослях Райян-Шерги. Услышав малейший шорох, я тут же вскакивал.

Приближался вечер; я разбудил своих спутников, чтобы прогуляться по дюнам и попробовать отыскать лефу или же песочную рыбу.

Животное, именуемое песочной рыбой и прозванное арабами «доб», — другая разновидность большой ящерицы. Она живет в песке, вырывает в нем себе нору и, говорят, довольно приятна на вкус. Мы часто нападали на ее след, но поймать ее так и не удавалось. В песке водится еще одно крошечное насекомое, отличающееся очень своеобразным нравом, — муравьиный лев. Он роет воронку чуть пошире монеты в сто су и соответствующей глубины, а затем садится на дно в засаду. Едва только какое-нибудь насекомое — паук, личинка или другая букашка — подползет к обрывистому краю его норы, он забрасывает свою жертву песком, оглушает, ослепляет, и она скатывается на дно воронки. Тут он схватывает ее и поедает.

В этот день муравьиный лев был нашим главным развлечением. Вечером по обыкновению последовали жареный барашек, кускус и кислое молоко. Теперь, когда наступает время обеда, я

часто мечтаю об Английском кафе.

Затем мы улеглись на коврах перед шатрами, так как из-за жары оставаться внутри было невозможно. И мы наблюдали странное соседство двух явлений: зыбких, подобно волнующемуся морю, песков впереди нас и гладкой, подобно спокойному морю, поверхности соли позади.

На следующий день мы перешли через дюны. Казалось, что это океан, воды которого в разгар урагана обратились в песчаную пыль; казалось, что это безмолвное бушевание громадных неподвижных волн желтого песка. Они высокие, как холмы, эти волны, неровные, непохожие одна на другую; они вздымаются, совсем как бушующие валы, но еще выше их, и отливают муаром. А на это разъяренное, немое и недвижное море льет свой безжалостный, неотразимый огонь всепожирающее южное солнце.

Надо взбираться по этим холмам золотого пепла, скатываться вниз, взбираться снова, взбираться неустанно, не зная отдыха и нигде не находя тени. Лошади тяжело дышат, проваливаются по колено или скользят, спускаясь по склонам этих удивительных гор.

Мы молчали, измученные зноем и жаждой, как сама знойная пустыня.

Иногда, говорят, среди этих песчаных холмов вас поражает необъяснимое явление, которое арабы считают верным предзнаменованием смерти.

Подле вас, неизвестно где, бьет барабан, таинственный барабан дюн[33], бьет отчетливо, то громче, то тише, то замолкая, то опять возобновляя свой фантастический грохот.

Причины этого поразительного шума никто, кажется, не знает. Его приписывают эху, которое усиливает, многократно повторяет и непомерно увеличивает благодаря волнистой поверхности дюн шорох песчинок, уносимых ветром и ударяющихся о заросли высохших трав. И действительно, это явление неизменно повторяется по соседству с сожженными на солнце растениями, затвердевшими, как пергамент.

Следовательно, этот барабанный бой не что иное, как своего рода звуковой мираж.

Выйдя из полосы дюн, мы увидели трех всадников, скачущих нам навстречу. На расстоянии ста шагов первый из них спешился и подошел к нам, немного прихрамывая. Это был мужчина лет шестидесяти, довольно полный (что редкость

---

[33] Примечания: 33

Это физическое явление послужило Мопассану темой для рассказа «Страх».

в этих краях), с резкими чертами, суровым, почти свирепым лицом арабского типа, изборожденным морщинами. Он носил орден Почетного легиона. Его звали Си-Шерид бен-Вабейци, каид племени улад-диа.

Он произнес длинную речь, сердито приглашая нас войти к нему в шатер и подкрепиться.

Впервые пришлось мне проникнуть в жилище вождя кочевников.

Груда богатых пышных ковров устилала пол. Другие ковры прикрывали голые матерчатые стены; третьи, натянутые над головой, образовывали плотный непроницаемый потолок. Сиденья вроде диванов или, скорее, тронов тоже были покрыты восхитительными тканями; перегородка из восточной материи, делившая шатер пополам, отгораживала нас от половины, занимаемой женщинами, и порой было слышно, как они перешептывались.

Мы уселись. Двое сыновей каида расположились рядом с отцом; по временам он вставал, кратко обращался к кому-то поверх перегородки, и невидимая рука передавала ему дымящееся блюдо, которое вождь тотчас же ставил перед нами.

Слышно было, как маленькие дети играли и

кричали около матерей. Что это были за женщины? Они, должно быть, рассматривали нас сквозь незаметные щели, но мы не могли их видеть.

Арабские женщины в большинстве случаев маленького роста, кожа у них молочно-белая, а лицо смиренной овечки. Они стыдливы только в отношении своего лица. Часто встречаешь женщин из народа, идущих на работу с тщательно закутанными лицами, но тело у них покрыто только двумя шерстяными полотнищами, которые висят одно спереди, другое сзади и позволяют видеть сбоку всю фигуру.

В пятнадцать лет эти бедняжки, которые могли бы быть красавицами, уже обезображены, изнурены тяжелым трудом. С утра до ночи трудятся они не покладая рук и ходят за водой с ребенком на спине за несколько километров. В двадцать пять лет они выглядят старухами.

Лицо у них, которое удается иногда увидеть, татуировано голубыми звездами на лбу, на щеках и на подбородке. Волосы на теле уничтожаются ради опрятности. Видеть жен богатых арабов удается очень редко.

Подкрепившись, мы сейчас же отправились в путь и вечером уже были у соляной скалы Хангэль-Мелах.

Это нечто вроде горы, не то серой, не то зеленой, не то голубой, с металлическим отблеском, очень оригинальной формы. Гора из соли! У ее подножия бьют источники, более соленые, чем вода в океане, и, испаряясь от безумного солнечного зноя, оставляют на земле белую накипь, соляной налет, похожий на пену морской волны. Самой земли не видно, она скрыта под тонким порошком, словно какой-нибудь великан шутки ради стал тереть гору на терке и рассыпал этот порошок повсюду вокруг. Во впадинах валяются большие оторвавшиеся глыбы, глыбы соли!

Под этой необычайной скалой, говорят, образовались очень глубокие колодцы, в которых живет множество голубей.

На следующий день мы были в Джельфе.

Джельфа — скверненький городишко французского типа, но служит местом жительства симпатичнейшим офицерам, и благодаря им там можно отлично провести время.

После короткого отдыха мы опять пустились в путь.

Мы снова возобновили наше длинное путешествие по длинным голым равнинам. Время от времени нам попадались навстречу стада. То это были целые полчища овец песочного цвета, то

вдруг на горизонте вырисовывались странные животные, которые издали казались маленькими; их можно было принять по горбатым спинам, по длинным изогнутым шеям и по медленной походке за стаю крупных индюков. Затем, подойдя ближе, мы узнавали верблюдов, животы которых, раздувшиеся, как двойной пузырь, как огромные мехи, вмещают до шестидесяти литров воды. Верблюды тоже цвета пустыни, как и все существа, рожденные в этих желтых просторах. Лев, гиена, шакал, жаба, ящерица, скорпион, даже сам человек принимают здесь разные оттенки раскаленной почвы, от огненно-рыжего цвета движущихся дюн до каменной серости гор. А маленький жаворонок пустыни до того сходен по цвету с пыльной землей, что его видно только тогда, когда он взлетает.

Чем живут в этих бесплодных краях животные? Ведь они все-таки живут.

В период дождей здешние равнины покрываются за несколько недель травами, затем солнце за несколько дней иссушает, выжигает всю эту скороспелую растительность. Тогда растения сами приобретают цвет почвы: ломаются, крошатся, рассыпаются по земле, похожие на мелко изрубленную солому, — но стада умеют находить

этот корм и питаются им. Они бродят повсюду, разыскивая порошок из сухих трав. Может показаться, что они гложут камни.

Что подумал бы нормандский фермер при виде столь своеобразного пастбища?

Затем мы прошли через такую область, где даже не встретишь птиц. Источников уже нельзя было найти.

Мы наблюдали, как вдали двигались странные маленькие столбы пыли, похожие на дым, то вертикальные, то наклонные, то спиральные, вышиной в несколько метров, широкие сверху и узкие у основания, быстро бегущие по земле.

Движение воздуха, образуя воронки, поднимает и мчит эти прозрачные, прямо-таки фантастические облака пыли, которые одни лишь вносят оживление в безнадежно пустынные равнины.

В пятистах метрах впереди нашего маленького отряда ехал всадник, наш проводник, который вел нас по угрюмой и голой пустыне. Минут десять он ехал шагом, неподвижно сидя в седле, распевая на своем языке тягучую песню, очень своеобразную по ритму. Мы ехали тем же аллюром. Потом вдруг он пускался рысью, чуть подскакивая в седле в своем развевающемся бурнусе, выпрямив корпус, стоя на стременах. И

мы пускались за ним, пока он не останавливался, чтобы перейти на более медленный ход.

Я спросил соседа:

— Как может проводник вести нас через эту пустыню, где нет никаких знаков, указывающих дорогу?

Он мне ответил:

— Были бы только кости верблюдов.

И действительно, почти через каждые четверть часа мы натыкались на кучу громадных костей, обглоданных зверями, обожженных солнцем, выделявшихся белым пятном на песке. Иногда это была часть ноги, иногда часть челюсти, иногда кусок позвоночника.

— Откуда все эти останки? — спросил я.

Мой собеседник ответил:

— Караваны бросают по дороге животных, которые не в силах идти дальше, а шакалы растаскивают не все кости.

В течение нескольких дней мы продолжали это однообразное путешествие, следуя за тем же арабом, в том же порядке, все время верхом, почти не разговаривая.

И вот однажды после полудня, в тот день, когда мы должны были добраться до Бу-Саада, я увидел далеко впереди нас коричневую тушу, впрочем,

сильно увеличенную миражем, форма которой меня удивила. При нашем приближении с нее взлетели два ястреба. Это была падаль, осклизлая, несмотря на жару, покрытая блестевшей на солнце запекшейся кровью. Оставалось одно туловище: конечности, видимо, были унесены прожорливыми истребителями мертвечины.

— Впереди нас едут путешественники, — сказал лейтенант.

Несколько часов спустя мы вошли в нечто вроде глубокого оврага или ущелья — в ужасающее пекло между рядами скал, зубчатых, как пила, острых, угрожающих, возмутившихся, казалось, против немилосердно жестокого неба. Здесь опять валялся труп. Глодавший его шакал убежал при нашем приближении.

Затем, когда мы опять выходили на равнину, какая-то серая масса, лежащая впереди, зашевелилась, и я увидел, как голова издыхающего верблюда медленно приподнялась на непомерно длинной шее. Вероятно, он валялся здесь уже дня три-четыре, погибая от усталости и жажды. Его длинные ноги, как будто переломленные, безжизненные, разбитые, неподвижно лежали на огненной почве. Заслышав наше приближение, он поднял голову, как сигнальный фонарь. Его

лоб, спаленный безжалостным солнцем, обратился в сплошную кровоточащую рану. Верблюд проводил нас покорным взглядом. Он не издал ни звука, не сделал ни одного усилия, чтобы подняться. Казалось, он все понимал и, помня, как умирали подобным же образом многие из его братьев в своих странствиях по пустыням, хорошо знал бессердечие людей. Теперь его черед — вот и все. Мы прошли мимо.

И спустя долгое время, обернувшись назад, я все еще различал поднимавшуюся над песком длинную шею покинутого животного, следившего, как исчезают на горизонте последние живые существа, которых ему суждено было видеть. А еще через час мы заметили прижавшуюся к скале собаку с открытой пастью и оскаленными зубами; она не могла пошевелить даже лапой, и взгляд ее был прикован к двум ястребам, которые невдалеке чистили себе перья в ожидании ее смерти. Она была охвачена таким ужасом перед терпеливыми птицами, жадными до ее мяса, что не повернула даже головы и не заметила камней, которые бросал в нее один из спаги, проезжая мимо.

И вдруг по выходе из следующего ущелья я увидел перед собой оазис.

Это была незабываемая картина. Вы только что прошли через бесконечные равнины, пробирались по островерхим оголенным выжженным горам, не встретив ни единого дерева, ни единого растения, ни единого зеленого листка, — и вот перед вами, у ваших ног, сплошная масса темной зелени, словно озеро почти черной листвы, раскинувшееся среди песков. А дальше, за этим большим пятном, опять начинается пустыня, уходя в бесконечную даль, к неуловимой линии горизонта, где она сливается с небом.

Город спускается по склону до самых садов.

Ну и города же — эти поселения в Сахаре! Какое-то нагромождение кубиков грязи, высушенных солнцем. Все эти четырехугольные лачуги из затвердевшего месива лепятся одна к другой, так что между их прихотливыми рядами едва остается нечто вроде узких галерей, и эти улицы подобны тем ходам, какие прокладывают животные, утаптывая землю там, где они постоянно пробираются.

Да, впрочем, и все эти поселения, жалкие, слепленные из глины, похожи на постройки каких-то животных, на жилища бобров, на бесформенные сооружения, сработанные без инструментов, теми способами, которые природа предоставляет

существам низшего порядка.

То здесь, то там великолепная пальма распускает свою верхушку метрах в двадцати над землей. Потом вдруг попадаешь в лес, аллеи которого заключены между двумя высокими глиняными стенами. Направо и налево множество финиковых пальм раскрывают свои широкие зонтики над садом, защищая их густой и свежей листвой нежные плодовые деревья. Под прикрытием этих гигантских пальм, колышимых ветром, как огромные опахала, произрастают абрикосовые, фиговые, гранатовые деревья, виноград и превосходные овощи.

Речная вода, собираемая в глубоких водохранилищах, распределяется среди обитателей, как газ в наших краях. Строгая администрация ведет учет воды на каждого жителя, который пользуется источником при помощи желобов в течение одного или двух часов в неделю, в зависимости от размеров своего владения.

Богатство каждого определяется количеством пальм. Эти деревья, хранители жизни, защитники влаги, подножием своим постоянно погружены в воду, тогда как чело их купается в пламени.

Долина Бу-Саада, по которой река протекает к садам, прекрасна, как пейзажи сновидений.

Заросшая финиковыми пальмами, фиговыми деревьями, великолепными мощными растениями, она расстилается между двумя горами с красными вершинами. Всюду вдоль быстрой речки арабские женщины с покрытыми лицами и голыми ногами стирают белье, приплясывая на нем. Они сваливают его в кучу в воде и топчут ногами, грациозно покачиваясь.

Река течет быстро и шумит на всем протяжении долины. По выходе из оазиса она еще полноводна, но пустыня, которая ее подстерегает, желтая и томимая жаждой пустыня, выпивает всю воду сразу тут же за оградой садов, внезапно поглощая речку своими бесплодными песками.

Когда при закате солнца взбираешься на мечеть, чтобы полюбоваться общим видом города, открывается одна из самых необычных картин. Плоские четырехугольные крыши образуют как бы лестницу слепленных из глины шахматных досок или грязных платков. На крышах лачуг кишит все население, которое вылезает на них, как только наступает вечер. На улицах никого не видно, ничего не слышно, но стоит вам взглянуть сверху на крыши — и перед вами откроется необыкновенно оживленное зрелище. Готовят ужин. Кучи ребят в белых лохмотьях копошатся

во всех углах; арабские женщины из народа, похожие на бесформенные свертки грязного тряпья, варят кускус или заняты какой-нибудь другой домашней работой.

Наступает ночь. Тогда на крыше расстилают джебель-амурские ковры, тщательно очистив ее от скорпионов, которые во множестве плодятся в таких лачугах; затем вся семья засыпает на открытом воздухе под мириадами сверкающих звезд.

Оазис Бу-Саада хотя и небольшой, но один из самых очаровательных в Алжире. В окрестностях можно охотиться на газелей, которые водятся там во множестве. Часто попадается также страшная лефа и даже отвратительный длинноногий тарантул, огромную бегущую тень которого по вечерам можно увидеть на стенах хижин.

В этом ксаре ведется довольно значительная торговля, так как неподалеку проходит мзабская дорога.

Мозабиты и евреи — единственные торговцы, единственные купцы, единственные промышленники во всей этой части Африки.

Путешествуя по югу страны, наблюдаешь евреев в такой отвратительной роли, что становится понятна и жестокая ненависть к этим людям со

стороны некоторых народов, и даже недавние избиения. Европейские евреи — евреи, живущие в столице Алжира, евреи, которых мы знаем, с которыми встречаемся каждый день, наши соседи и друзья, — люди культурные, образованные, интеллигентные, часто обаятельные. И мы страстно возмущаемся, когда узнаем, что жители какого-нибудь неизвестного, отдаленного городка перерезали и утопили несколько сот детей Израиля. Теперь я больше не удивляюсь этому, так как наши евреи ничуть не похожи на тамошних.

В Бу-Сааде можно видеть, как они сидят на корточках в грязных лачугах, заплывшие жиром, зловещие, подстерегая араба, как паук муху. Они зазывают его к себе и навязывают ему взаймы сто су под расписку. Араб сознает опасность, колеблется, отказывается, но его терзает желание выпить и еще другие желания. Для него эти сто су таят в себе столько наслаждений.

В конце концов он сдается, берет серебряную монету и подписывается на засаленной бумажке.

Через три месяца он будет должен заимодавцу десять франков, через год — сто франков, через три года — двести франков. Тогда еврей продаст его землю, если таковая есть, а если нет, то

верблюда, лошадь, осла — словом, все его имущество.

Начальники — каиды, аги и бах-аги — тоже попадают в когти этих хищников, которые являются бичом, язвой нашей колонии, большой помехой для проникновения цивилизации и для благосостояния арабов.

Когда французские войска отправляются усмирять какое-нибудь непокорное племя, множество евреев следует за ними, покупая за бесценок отобранное добро и перепродавая его арабам, как только удалится военный отряд.

Если случается, например, захватить в какой-нибудь области тысяч шесть овец, что делать с животными? Гнать их в города? Они передохнут в пути. Да и чем их кормить, чем поить на предстоящем перегоне в двести-триста километров по бесплодной земле? И потом, чтобы гнать и охранять такой караван, потребовалось бы людей вдвое больше, чем в самом отряде.

В таком случае убивать их? Бесполезное избиение и какой убыток! И вот евреи уже тут как тут: предлагают скупить по два франка за штуку овец, которые стоят не меньше двадцати. Что ж, все-таки казна выручит хотя бы двенадцать тысяч франков. На продажу соглашаются.

Неделю спустя прежние владельцы опять приобретают своих овец по три франка за штуку. Месть французов недорого стоит.

Евреи — хозяева всего юга Алжира. И действительно, нет араба, у которого не было бы долгов, так как арабы не любят возвращать занятые деньги. Они предпочитают переписать вексель из расчета ста и даже двухсот процентов. Арабу кажется, что он спасается, оттягивая время. Нужен был бы специальный закон, чтобы изменить это плачевное положение.

Впрочем, всюду на юге евреи заняты исключительно ростовщичеством в самых бесчестных формах, какие только возможны; настоящие же коммерсанты — это мозабиты.

Когда приезжаешь в какое-нибудь селение в Сахаре, сразу же замечаешь там особую породу людей, захвативших в свои руки все местные дела. Лавки держат только они: торгуют и европейскими товарами, и товарами местного производства; они смышлены, деятельны, коммерсанты по духу. Это бени-мзаб, или мозабиты. Их прозвали евреями пустыни.

Араб, настоящий араб, житель шатра, считающий всякий труд позорным, презирает коммерсанта-мозабита, но в определенные сроки

приходит за запасами к нему в лавку, а также поручает ему на хранение ценные вещи, которые не может брать с собой во время кочевья. Между ними существует своего рода постоянный договор.

Мозабиты захватили всю торговлю Северной Африки. Их встречаешь как в наших городах, так и в селениях Сахары. Накопив состояние, купец возвращается в Мзаб[34], где должен подвергнуться своего рода очищению, чтобы быть восстановленным в своих политических правах.

Эти арабы, которых можно распознать по фигуре, более низкорослой и коренастой, чем у других арабских племен, по лицу, большей частью плоскому и очень широкому, по толстым губам и глазам, обычно глубоко сидящим, под прямыми и очень густыми бровями, являются схизматиками мусульманства. Они принадлежали к одной из трех диссидентских сект Северной Африки и, по мнению некоторых ученых, являются потомками

[34] Примечания: 34

Мзаб — это республика или, вернее, коммуна. — См. подробнее: Мопассан Ги де. Милый друг. Ч. I, гл. 2: диалог Норбера де Варена с Дюруа в салоне Вальтера.

последних приверженцев хариджизма[35].

Страна этого народа — может быть, самая своеобразная на всей африканской земле.

Отцы их, изгнанные из Сирии мечом пророка, переселились в Джебель-Нефусу, к западу от берберийского Триполи. Но последовательно вытесненные изо всех мест, где бы они ни устраивались, вызывая повсюду зависть своей смышленостью и ловкостью, окруженные подозрительностью, как иноверцы, мозабиты обосновались наконец в самом бесплодном, в самом знойном, в самом ужасном крае. Он называется по-арабски «Хаммада» (раскаленный) и «Шебка» (сеть), потому что похож на огромную сеть из скал и черных камней.

Страна мозабитов находится километрах в полутораста от Лагуата.

Вот как майор Коин, человек, превосходно знавший весь южный Алжир, описывает в инте-

---

[35] Примечания: 35

Хариджизм — одно из мусульманских сектантских течений, последователи которого боролись начиная с VII в. за выборность халифа (в связи с чем было множество восстаний) и стремились сохранить догматику и обрядность начального ислама, не признавая культа святых, монашества и т. д. Последователи хариджизма сохранились в XIX в. в Мзабе под именем ибадитов (см. о них в очерке «На пути в Кайруан»).

реснейшей брошюре[36] свой приезд в Мзаб:

> Приблизительно посредине Шебки находится нечто вроде котловины, ограниченной цепью блестящих известняковых скал с почти отвесными внутренними склонами. С двух сторон, с северо-запада и с юга, имеются две расщелины, через которые протекает уэд Мзаб. В этой котловине длиной километров восемнадцать и шириной не больше двух, лежат пять городов округа Мзаб и земли, возделываемые жителями этой долины исключительно под сады.
>
> Извне, с северной и восточной сторон, этот скалистый пояс выглядит беспорядочным многоярусным нагромождением четырехугольных надгробных камней, словно громадный арабский некрополь. Сама природа кажется мертвой. Нет никакой растительности, которая бы радовала взор; хищные птицы – и те, казалось, избегают эти безотрадные места. Только

---

[36] Примечания: 36

Мопассан имеет в виду брошюру Capitaine A. Coyn. Le Mzab, Alger, 1879. Она знакомит с почвой, климатом, флорой и фауной Мзаба, с общественной жизнью и торговлей местных жителей и с историей мусульманских сект, к которым они принадлежат.

лучи неумолимого солнца, озаряя серовато-белую поверхность скал, отбрасывают тени самых причудливых очертаний.

Каково же должно быть удивление – я бы сказал, даже восторг – путешественника, когда, взобравшись на гребень этой гряды утесов, он обнаруживает внутри ее пять многолюдных городов, окруженных садами с пышной растительностью, выделяющихся своей темно-зеленой окраской на красноватом фоне уэд-мзабского русла.

Вокруг котловины – голая пустыня, смерть; внутри ее, у подножия скал, – жизнь и явные признаки развитой цивилизации.

Мзаб — это республика или, вернее, коммуна вроде той, которую пытались основать в 1871 году парижские революционеры.

Никто во Мзабе не имеет права оставаться без дела: ребенок, как только он может ходить и нести что-нибудь, уже помогает отцу в поливке садов, составляющей постоянное и важнейшее занятие жителей. С утра до вечера мул или верблюд вытягивает в кожаном ведре воду, которую

затем выливают в желоб, искусно устроенный таким образом, что не пропадает ни одна капля драгоценной влаги.

В Мзабе, кроме того, насчитывается значительное количество запруд для собирания дождевой воды. Эта республика, стало быть, бесконечно далеко опередила наш Алжир.

Дождь! Для мозабитов это счастье, источник благополучия, спасение урожая. Поэтому, как только начинаются ливни, жителей охватывает какое-то безумие. Они высыпают на улицы, стреляют из ружей, поют, бегут в сады, к реке, вновь начинающей течь, и к плотинам, забота о которых лежит на обязанности всех граждан. Как только какой-нибудь плотине угрожает опасность, все население должно немедленно туда бежать.

Неустанный труд людей, их разум, их мастерство превратили самую дикую и безотрадную часть Сахары в цветущий край, где возделанные земли ожили и семь богатых городов раскинулись под лучами солнца.

Поэтому мозабиты ревниво сберегают свою родину и по мере возможности запрещают европейцам туда проникать. В некоторых городах, как, например, Бени-Исгеме, иностранец не име-

ет права даже переночевать.

Полицейские обязанности исполняются здесь всеми. В случае необходимости никто не откажется оказать вооруженную помощь. В этой стране нет ни бедных, ни нищих. Нуждающиеся получают поддержку от своих фракций.

Почти все умеют читать и писать.

Повсюду здесь видишь школы, крупные коммунальные постройки. И многие мозабиты, прожив некоторое время в наших городах, возвращаются к себе со знанием французского, итальянского и испанского языков».

Брошюра майора Коина содержит множество поразительных подробностей об этом любопытном народе.

В Бу-Сааде, как и по всем оазисам и городам, в руках мозабитов находится торговля и обмен, они держат всевозможные лавки и занимаются всякого рода профессиями.

Пробыв четыре дня в этом городке Сахары, я пустился в обратный путь по направлению к побережью.

Горы, встречающиеся по дороге к морю, имеют необычный вид. Они напоминают чудовищные крепости, зубчатые стены которых тянутся на целые километры. Это правильной формы па-

раллелепипеды, высеченные с математической точностью. Самая высокая из них — с плоской вершиной — кажется недоступной. За свою форму она прозвана Бильярдом. Незадолго до моего приезда двум офицерам впервые удалось на нее взобраться. На вершине они обнаружили два громадных римских водоема.

Из Кабилии в Бужи

Вот мы и в самой богатой и самой населенной части Алжира. Страна кабилов гориста, покрыта лесом и полями.

Выехав из Омаля, спускаешься к большой долине Сахель.

Там вырастает громадная возвышенность Джуржура. Самые высокие ее вершины серого цвета, как будто покрыты пеплом.

Повсюду на менее высоких вершинах виднеются селения, похожие издали на кучи белых камней. Другие лепятся по склонам. Во всей этой плодородной области между европейцами и туземцами идет жестокая борьба за землю. Плотность населения в Кабилии больше, чем в самом населенном из французских департаментов. Кабилы не кочевники, они домоседы и труженики. А французы только о том и думают, как бы их ограбить.

Вот различные способы, которые применяются, чтобы согнать с места и обобрать несчастных туземных землевладельцев.

Какое-нибудь частное лицо, покидая Францию,

является в бюро по распределению земель и просит отвести ему землю в Алжире. Будущему колонисту предлагают шляпу с билетиками, и он вытягивает номер, соответствующий тому или иному участку земли. С этого момента участок делается его собственностью.

Он уезжает. А там, в туземном селении, он застает целую семью, обосновавшуюся на его наделе. Члены семьи расчистили новь и добились того, что земля на участке стала приносить урожай. Это их единственное достояние. Иностранец выгоняет их. Они покоряются, потому что *таков французский закон*. Но эти люди, потеряв все, что у них было, уходят в пустыню и превращаются в мятежников.

Иногда стороны приходят к соглашению. Европейский колонист, испугавшись жары и сурового вида страны, вступает в переговоры с туземцем, который становится его фермером. И туземец, оставшись на *своей* земле, посылает ежегодно, смотря по урожаю, тысячу, полторы, а то и две европейцу, вернувшемуся во Францию. Такой участок приносит не меньше дохода, чем взятая на откуп табачная лавка.

А вот и другой метод.

Палата голосует за кредит в сорок или пятьде-

сят миллионов на колонизацию Алжира.

На что пойдут эти деньги? Без сомнения, на постройку плотин, на посадку лесов, чтобы задерживать влагу в почве, на удобрение бесплодных земель?

Ничего подобного! На обирание арабов. Дело в том, что земля в Кабилии приобрела значительную ценность. В лучших местах она доходит до *тысячи шестисот франков за гектар*, а обычно стоит восемьсот.

Кабилы-землевладельцы спокойно живут на обрабатываемых участках. Имея хороший достаток, они не восстают, им ничего не нужно, лишь бы только их оставили в покое.

Что же происходит? В наличии имеется пятьдесят миллионов. Кабилия — самая прекрасная из областей Алжира. И вот кабилов обирают в пользу неведомо откуда явившихся колонистов.

Как же их обирают? Им платят *сорок франков* за гектар, который стоит по крайней мере *восемьсот франков*. И глава семьи уходит, не говоря ни слова (таков закон), уходит куда глаза глядят со своими домочадцами — мужчинами, лишившимися работы, женщинами и детьми.

У этого народа нет ни торговцев, ни промышленников, одни только земледельцы.

Стало быть, семья может существовать только до тех пор, пока остается хоть что-нибудь от смехотворно ничтожной суммы, которую ей выплатили. Потом наступает нищета. Мужчины берут ружья и идут за каким-нибудь Бу-Амамой, словно подтверждая этим, что Алжиром может управлять только военная сила.

Рассуждают так: мы оставляем туземцев в плодородных областях, пока у нас не хватает там европейцев; когда же они появляются, мы выгоняем первых насельников. Очень хорошо. Но если у вас не останется больше плодородных земель, что вы станете делать? Мы будем удобрять неплодородные, черт возьми! Ну так почему же вы не приметесь за удобрение теперь же, когда у вас имеется пятьдесят миллионов?

Как! Вы видите, что частные компании возводят гигантские плотины, обеспечивая водой целые области; вы знаете по замечательным трудам талантливых инженеров, что довольно было бы посадить леса на некоторых горных вершинах, чтобы отвоевать для земледелия целые километры земель, лежащих ниже, — и вы не находите другого способа, кроме изгнания кабилов?

Справедливости ради следует отметить, что

сейчас же за Теллем почва становится голой, почти непригодной для обработки. Только арабы, питающиеся двумя горстями муки в день и несколькими винными ягодами, могут существовать в этом выжженном крае. Европеец не сможет там прожить. Так что действительно остаются лишь весьма ограниченные пространства для поселения колонистов, и приходится… выгонять туземцев, что и делается.

Таким образом, колонисты бедствуют за исключением счастливых землевладельцев в равнине Митиджи и тех, кто приобрел землю в Кабилии одним из описанных выше способов, а также за исключением всех поселившихся вдоль моря на узкой полосе земли, отграниченной Атласом. Вот почему в Алжир можно еще переселить очень незначительное количество новоселов. В противном случае там не прокормиться.

К тому же эта колония чрезвычайно трудна для управления, и по вполне понятным причинам.

Алжир равен по величине европейскому государству и состоит из весьма разнородных областей, население которых существенно отличается друг от друга. Этого до сих пор не могло, кажется, понять ни одно правительство.

Нужно глубоко изучить каждую из областей,

прежде чем браться управлять ею, так как каждая из них нуждается в совершенно особых законах, постановлениях, характере управления и мерах предосторожности. Между тем губернатор, как правило, совершенно незнаком с местными обычаями и бытовыми условиями и, значит, может опираться только на чиновников, действующих в качестве его представителей.

Кто эти чиновники? Колонисты? Люди, выросшие в стране, осведомленные обо всех ее нуждах? Ничуть! Это просто молодые люди, приехавшие из Парижа в свите вице-короля.

И вот один из таких молодых невежд управляет пятьюдесятью или ста тысячами человек. Он делает глупость за глупостью и разоряет страну. И это в порядке вещей.

Бывают исключения. Иногда всемогущий представитель губернатора трудится, учится, старается понять. Ему понадобилось бы десять лет, чтобы немного освоиться с делом. Через полгода его сменяют. По причинам семейного характера, по личным или иным обстоятельствам его переводят с тунисской границы на марокканскую, и там он принимается управлять теми же способами, к каким прибегал здесь, доверчиво полагаясь на свой небольшой опыт, применяя к

совершенно различным народностям одни и те же правила и приемы.

Следовательно, нужен прежде всего не отличный губернатор, а отличные сотрудники губернатора.

Чтобы исправить это плачевное положение, эти гибельные порядки, пытались создать школу администраторов, где целому контингенту молодых людей преподавались бы элементарные знания, необходимые для управления данной страной. Дело не удалось. Приближенные г-на Альбера Греви[37] провалили это начинание. Система фаворитизма победила и на этот раз.

Итак, административный персонал набирается самым странным способом. Правда, среди него попадаются люди интеллигентные и работящие. Наконец ввиду недостатка подходящих кандидатов правительство обращается с предложениями к бывшим офицерам из бюро по арабским делам: эти-то по крайней мере хорошо знают туземцев, — но трудно допустить, что с переменой

---

[37] Примечания: 37

Греви Альбер (1824–1899) — французский политический деятель, брат Жюля Греви (президента Третьей республики с 1879 по 1887 г.); в 1879 г. был избран вице-президентом палаты депутатов и назначен гражданским губернатором Алжира; его колониальная политика, изобиловавшая всевозможными злоупотреблениями, не раз подвергалась резкому осуждению в палате депутатов; в ноябре 1881 г. он вынужден был подать в отставку.

одежды они сразу изменят свои административные методы, да и незачем было в таком случае безжалостно увольнять их, пока они носили мундир, чтобы принять обратно, как только они переоделись в сюртук.

Раз я уже коснулся сложной проблемы управления Алжира, мне хочется сказать еще несколько слов по поводу чрезвычайно важного вопроса, требующего немедленного разрешения: речь идет о крупнейших туземных вождях, которые в действительности являются единственными правителями, всемогущими правителями части нашей колонии, лежащей между Теллем и пустыней.

В начале французской оккупации наиболее надежных вождей — аги и бах-аги — облекли весьма широкой властью над племенами на значительной части территории. Наше воздействие грозило оказаться бессильным; мы заменили его воздействием арабских вождей, перешедших на нашу сторону, хотя заранее приготовились к возможным изменам, да они и были нередки. Эта мера была политически разумной и в общем дала отличные результаты. Некоторые аги нам значительно помогли, и благодаря им была сохранена жизнь многим тысячам французских солдат.

Но из того, что эта мера была превосходна в свое время, не следует, что она остается совершенной, несмотря на все изменения, возникавшие в стране с дальнейшим развитием колонизации.

В настоящее время наличие этих владык — единственно пользующихся среди племен влиянием и почетом — служит источником постоянной опасности для нас и непреодолимым препятствием для развития цивилизации среди арабов. Однако военная партия, по-видимому, энергично защищает институт туземных вождей от попыток гражданской партии его уничтожить.

Я не могу обсуждать этот важный вопрос, но достаточно совершить поездку по Алжиру и познакомиться с различными племенами, как это сделал я, чтобы убедиться в громадных недочетах существующего положения вещей. Я ограничусь простой передачей нескольких фактов.

Длительное сопротивление Бу-Амамы объясняется почти исключительно действиями саидского аги.

В начале восстания этот ага собирался присоединиться с подчиненными ему племенами к французскому войску. Он встретил по пути отряд трафи, двигавшийся с той же целью, и соединил-

ся с ним.

Но саидский ага обременен долгами, которых он не в состоянии выплатить. И вот, вероятно, ночью ему пришла мысль совершить нападение: он собрал свои гумы и напал на трафи. Разбитые в первой схватке, те все же одержали затем победу, и саидский ага принужден был бежать со своими людьми.

Ну а так как саидский ага — наш союзник, наш друг, наш наместник, ибо он является представителем французской власти, трафи решили, что в этом деле не обошлось без нашего участия, и вместо того, чтобы присоединиться к французскому войску, перешли на другую сторону и немедленно отправились к Бу-Амаме, которого с тех пор уже не покидали, составляя его главную силу.

Пример характерный, не правда ли? А саидский ага остался нашим верным другом. Он служит под нашими знаменами!

Рассказывают также об одном знаменитом аге, которому наши военачальники оказывают большое уважение, так как он пользуется значительным влиянием среди многих племен.

Он то помогает нам, то предает нас, смотря по тому, что выгоднее. Открыто выдавая себя за союзника французов, которые поддерживают его

авторитет, он втайне содействует всем восстаниям, но, сказать по правде, в равной мере изменяет тем и другим, если представляется возможность пограбить.

Он принимал несомненное участие в убийстве полковника Бопретра, но это не мешает ему быть в настоящее время с нами. Имеются сильные подозрения, что целый ряд понесенных нами неудач не обошелся без его участия.

Наш неизменный союзник, френдский ага, не раз предупреждал нас о двойной игре этого властителя. Но мы пропускали все это мимо ушей, потому что саидский ага, когда это ему выгодно, оказывает услуги военным властям, хотя одновременно помогает и нашим врагам.

Особое положение этого вождя, открытое покровительство, которым он пользуется у нас, обеспечивает ему безнаказанность за множество преступлений, совершаемых изо дня в день.

Вот что происходит.

Арабы по всему Алжиру обворовывают друг друга. Не проходит ночи, чтобы нам не сообщали о покраже двадцати верблюдов здесь, сотни баранов там, об угоне быков под Бискрой, лошадей под Джельфой. Воров никогда не удается обнаружить. А между тем нет ни одного офицера из бюро по

арабским делам, который не знал бы, куда девался краденый скот! Его переправляют к этому аге, который служит укрывателем краденого для всех разбойников пустыни. Похищенных животных присоединяют к его огромным стадам, и часть их он оставляет себе в уплату за свою любезность, а остальное возвращает по прошествии некоторого времени, когда опасность преследования уже миновала.

На юге это всем известно.

Но этот ага, получивший при нашей помощи такое огромное влияние, вдобавок увеличивающееся изо дня в день благодаря покровительству, которое он оказывает всем грабителям, остается нужным человеком, и на него смотрят сквозь пальцы.

Вот почему этот вождь несметно богат, между тем как ага Джельфы, например, наполовину разорился, служа интересам колонизации, устраивая фермы, расчищая под пашни новые земли и т. д.

Помимо всего прочего, существование туземных владык, управляющих племенами, порождает ряд других, еще более серьезных затруднений. Чтобы дать себе в этом ясный отчет, нужно иметь точное представление о современном Алжире.

Территория и население нашей колонии делятся на четко разграниченные части.

Это прежде всего приморские города, имеющие с внутренним Алжиром не больше связи, чем города самой Франции.

Жители приморских алжирских городов безвыездно сидят на месте. События, происходящие внутри страны, доходят до них лишь в виде отголосков, и их влияние на арабское население совершенно ничтожно.

Вторая зона — Телль — частично занята европейскими колонистами. Колонист же усматривает в арабе только врага, у которого надо оттягать землю. Он ненавидит его всеми фибрами души, постоянно преследует и при каждой возможности обирает. Араб платит ему тем же.

Открытая вражда арабов и колонистов мешает таким образом первым поддаваться цивилизаторскому влиянию вторых. В зоне Телль это еще полбеды. Ввиду того, что европейцы постоянно стремятся вытеснить туземцев, не потребуется долгого времени, чтобы разорившиеся или лишенные своих владений арабы отступили дальше к югу.

Но ведь необходимо, чтобы эти побежденные соседи всегда сохраняли спокойствие. Для этого

нужно постоянно поддерживать среди них наш авторитет, держать их под постоянным наблюдением и прежде всего пользоваться среди них безраздельным влиянием.

Что же происходит в настоящее время?

К племенам, рассеянным на огромной территории страны, европейцы и не заглядывают. Только офицеры из бюро по арабским делам время от времени совершают инспекторские поездки и довольствуются расспросами у каидов о том, что делается в племени.

Но каид подчинен туземному вождю — аге или бах-аге.

Если этот вождь происходит из «большого шатра», из знатного рода, пользующегося уважением в пустыне, то его влияние безгранично. Все каиды ему повинуются, как они это делали бы, не будь французской оккупации; и, что бы ни происходило, ничто не доходит до сведения военных властей.

Ведь племя — особый мир, совершенно замкнутый в своем уважении и страхе перед агой, который, следуя обычаям своих предков, обкладывает всяческими поборами своих подданных арабов. Он господин, он забирает, что ему угодно: то сотню овец, то две сотни — словом,

ведет себя, как маленький тиран. И так как его власть нами поддерживается, все это является продолжением старого арабского режима под покровительством французского правительства, иерархическим грабежом и т. д., не считая того, что мы не пользуемся среди племен никаким влиянием и совершенно ничего не знаем о состоянии страны.

Только благодаря этому положению мы не подозреваем о готовящемся восстании до тех пор, пока оно не вспыхнет.

Следовательно, власть крупных туземных вождей препятствует подлинному и непосредственному влиянию французской администрации на племена, которые так и остаются для нас замкнутым миром.

Чем тут можно помочь? А вот чем. Почти все вожди за исключением двух или трех нуждаются в деньгах. Им следует предоставить десять, двадцать, тридцать тысяч ливров годового дохода, принимая во внимание их влияние и некогда оказанные нам услуги, и заставить поселиться либо в столице Алжира, либо в каком-нибудь другом приморском городе. Некоторые военные утверждают, что эта мера вызвала бы недовольство. На это у них свои доводы… всем известные. Другие

офицеры, живущие внутри страны, наоборот, утверждают, что это привело бы к умиротворению.

Это еще не все. Туземных владык следовало бы заместить гражданскими чиновниками, которые постоянно жили бы среди племен и были бы непосредственными начальниками над каидами. После того как это важное препятствие будет устранено, цивилизация постепенно проникнет и в эти области.

Но полезные реформы заставляют себя долго ждать как в Алжире, так и во Франции.

Проезжая по Кабилии, я удостоверился в полном бессилии нашего правления, даже когда дело касается племен, живущих среди европейцев.

Я ехал к морю по длинной долине, ведущей из Бени-Мансура в Бужи. Вдали перед нами страшное густое облако закрывало горизонт. Небо над головой было молочно-голубое, каким оно бывает иногда летом в этих жарких странах. Но вдалеке бурое облако с желтоватыми отблесками, не похожее ни на грозовую тучу, ни на туман, ни на один из тех густых песчаных вихрей, которые проносятся с яростью урагана, отбрасывало на всю местность серую тень. Это плотное облако, тяжелое, почти черное внизу и несколько более

прозрачное в вышине, заслоняло, точно стеной, всю широкую долину. Затем вдруг в неподвижном воздухе потянуло чуть слышным запахом гари. Но какой гигантский пожар мог вызвать эту массу дыма?

То был действительно дым. Горели все кабульские леса.

Вскоре мы вступили в удушливый полумрак. В ста метрах ничего не было видно. Лошади тяжело дышали. Казалось, наступил вечер; едва ощутимый бриз, один из тех слабых бризов, от которых чуть шевелится листва, гнал к морю эту зыбкую ночь.

Два часа простояли мы в деревне, ожидая известий; наша маленькая повозка тронулась в путь, лишь когда настоящая ночь, в свою очередь, раскинулась над землей.

Неясный, еще отдаленный свет горел подобно небесному пожару. Он все усиливался, поднимался над горизонтом, скорее кроваво-красный, чем огненный. Но внезапно при крутом повороте долины я очутился словно перед огромным освещенным городом. Это была целая обгоревшая гора, где кустарники уже почернели, а множество дубов и оливковых деревьев продолжали тлеть, торча, как огромные головни; они больше не

дымились и, словно колоссальные светильники, вытянувшиеся в ряд или причудливо разбросанные, создавали впечатление нескончаемых бульваров, огромных площадей, извилистых улиц, случайного беспорядка или преднамеренной стройности, которые видишь, глядя издали ночью на освещенный город.

Мы подъезжаем все ближе к громадному пожару, и свет становится ослепительным. В течение одного этого дня огонь охватил двадцать километров леса.

Когда передо мной открылась полоса пламени, я остановился в ужасе и в восторге перед этим зрелищем, самым страшным и самым захватывающим, какое я когда-либо видел. Пожар подвигался, как волна, по неизмеримому пространству. Наступая быстро и безостановочно, он оголял землю на своем пути. Кустарники пылали и гасли. Подобно факелам медленно горели большие деревья, качая высокими огненными султанами, а впереди по зарослям бежали мелкие языки пламени.

Всю ночь шли мы по следам чудовищного пожара. С наступлением дня мы достигли моря.

Замкнутый поясом причудливых гор с красивыми зубчатыми гребнями и лесистыми склонами,

Бужийский залив, голубеющий молочной голубизной и вместе с тем светлый, невероятно прозрачный, раскинулся под небом, сияющим лазурью, той неизменной лазурью, которая кажется как бы застывшей.

В конце побережья, налево, по крутому склону горы, устланному зеленью, город сбегает к морю потоком белых домов.

Когда вы попадаете в самый город, он производит впечатление прелестной и неправдоподобной оперной декорации, какие мерещатся иногда в разгоряченной мечте о волшебных странах.

Здесь и мавританские дома, и французские, и руины вроде тех, которые видишь на первом плане театральных декораций рядом с картонным дворцом.

При въезде в город у самого моря, на набережной, где пристают океанские пароходы и привязаны местные рыбацкие лодки с парусами, похожими на крыло, стоят посреди сказочного пейзажа такие великолепные развалины, что кажутся искусственными. Это древние сарацинские ворота, увитые плющом.

И вокруг города, на лесистых склонах — повсюду руины, обломки римских стен, части сарацинских зданий, остатки арабских соору-

жений.

Кончился безветренный и жгучий день; наступила ночь. И вокруг залива открылось поразительное зрелище. По мере того как сгущались тени, другой свет, уже не дневной, охватывал горизонт. Пожар, как осаждающее войско, окружал город и кольцом стягивался вокруг него. Новые очаги, зажженные кабилами, вспыхивали один за другим, чудесно отражаясь в спокойных водах широкого залива, окаймленного пылающими горами. Огонь то походил на гирлянду венецианских фонарей, то на змею из огненных колец, извивающуюся, ползущую по горным склонам, то рвался вверх, напоминая извержение вулкана, ослепительное у основания или же с огромным султаном красного дыма в зависимости от того, пожирал ли огонь густой кустарник или высокоствольный лес.

Я пробыл шесть дней в этой пылающей местности, а потом отправился по несравненной дороге, которая огибает залив и идет по склонам горной цепи, где над ней тянутся леса, а под ней другие леса и бесконечные пески, золотые пески, омываемые спокойными волнами Средиземного моря.

Иногда пожар подходил к самой дороге. Приходилось выскакивать из экипажа, чтобы оттащить

горящие деревья, упавшие поперек нашего пути; иногда мы мчались, гоня галопом четверку лошадей, между двумя волнами огня, из которых одна спускалась на дно оврага, где протекал быстрый поток, а другая взбиралась до горных вершин, обгладывая и оголяя их порыжелую поверхность. Обгоревшие берега, уже потухшие и остывшие, казалось, были покрыты черным траурным покрывалом.

Нам случалось проезжать по местности, еще не тронутой пожаром. Обеспокоенные колонисты, стоя у дверей домов, расспрашивали нас о пожаре, как во Франции во время прусской войны справлялись о движении неприятеля.

Мы видели шакалов, гиен, лисиц, зайцев — сотни разных зверей, бежавших от бедствия, обезумевших от страха перед огнем.

На повороте одной долины я заметил вдруг пять телеграфных проводов, которые были до такой степени усеяны ласточками, что прогнулись под их тяжестью, образуя между каждыми двумя столбами пять птичьих гирлянд.

Но вот возница щелкнул длинным бичом. Целая туча птиц взвилась, разлетелась в разные стороны, и толстые металлические провода, внезапно освобожденные от тяжести, вздрогнули

и натянулись, как тетива лука. И они еще долго дрожали, словно по ним проходили длинные, постепенно стихающие волны.

Скоро мы углубились в ущелье Шабет-эль-Акра. Оставляя по левую руку море, проникаешь в открывшийся горный проход. Это ущелье — одно из самых величественных среди существующих. Расстояние между горами часто суживается; гранитные обнаженные кручи, красноватые, коричневые или синие, сближаются, едва оставляя у подножия маленький промежуток для стока воды, а дорога превращается в узкий карниз, высеченный в скале над несущимся потоком.

Вид этого мрачного, дикого и великолепного ущелья меняется каждое мгновение. Две стены, между которыми оно зажато, достигают иногда в высоту двух тысяч метров; солнце проникает в этот глубокий колодец, только когда стоит прямо над ним.

В другом конце, по выходе из ущелья, лежит деревня Керрата. Жители ее в течение недели наблюдали, как черный дым пожара валил из темной расщелины, точно из гигантской трубы.

Алжирские власти впоследствии утверждали, что в этом бедствии, которое им было бы легко предотвратить, проявив хоть немного преду-

смотрительности и энергии, кабилы не были виновны. Говорили тоже, что сгоревшего леса было не больше пятидесяти тысяч гектаров. Вот прежде всего донесение супрефекта Филиппвиля:

> Мэр и администратор уведомили меня из Джемапы, что все лесные участки колонистов уничтожены и что пожар опустошил все дуары смешанной общины. Селения Гасту, Айн-Шершар, Джендель были под угрозой.
>
> В Филиппвиле сгорели все лесные массивы.
>
> Стора, Сент-Антуан, Вале, Дамремон едва не сделались добычей огня.
>
> В Эль-Арруше особых потерь нет, если не считать пятисот гектаров земель, выжженных в дуарах племен улад-мессауд, хазабра и эль-гедир.
>
> В Сен-Шарле выжжено около шестисот гектаров земель между уэдом Деб и уэдом Гуди и около восьмисот гектаров в северо-восточном и юго-восточном направлениях. Корма и арабские хижины уничтожены.

В смешанной общине Колло и в Аттии огонь опустошил все.

Погибли целиком или частично владения колонистов Тейсье, Лессепс, Лева, Лефебр, Сидер, Бессер и др. Более сорока тысяч гектаров казенного леса, фермы и дома в Зерибане были охвачены пламенем. Насчитывают много человеческих жертв.

Сегодня утром мы похоронили трех зуавов, павших жертвой своей самоотверженности у Вале.

Потери неисчислимы и не могут быть определены даже приблизительно.

Опасность прекратилась главным образом вследствие уничтожения всех лесов. Ветер тоже изменил направление, и я думаю, что можно будет справиться с последними очагами пожара во владениях Бессон, Колло и в Эстайе около Робервиля.

Вчера я отправил полтораста человек солдат в Колло, реквизировав бросивший здесь якорь океанский пароход.

К этому прибавим еще лесные пожары Зерам-

ны, Филь-Филы, Фендека и др.

Г-н Бизерн, в течение четырнадцати лет работавший распределителем поставок в лесах Эль-Милия, писал следующее:

> Мой персонал проявил величайшую энергию; пренебрегая серьезной опасностью, мы дважды справились с огнем, но все это было совершенно бесполезно. Пока мы боролись с ним на одном конце, арабы поджигали на другом и вообще во многих местах.

Вот письмо одного землевладельца:

> Имею честь доложить вам, что в середине ночи с воскресенья на понедельник фермер Рипейр, сторживший мое владение, расположенное над полигоном, был свидетелем четырех поджогов: двух на общинной земле, в нескольких сотнях метров от моего владения, еще одного над Дамремоном и четвертого над Вале. За отсутствием ветра огонь не распространился.

Вот еще телеграмма, из Джиджелли:

Джиджелли, 23 августа, 15:16.

Огонь опустошает лесной участок Бени-Амрам, принадлежащий г-ну Эдуарду Карпантье из Джиджелли.

В прошлую ночь владение было подожжено в двадцати разных местах. Дорожный рабочий, шедший из рудника Ковальо, явственно видел все очаги пламени.

Сегодня утром почти что на глазах каида Амар бен-Хабиле из племени бени-фугал был сделан поджог в кантоне Мезреш, а четверть часа спустя огонь появился в другой части кантона, тогда как ветер дул в обратном направлении.

Наконец одновременно, в четырехстах шагах от группы людей – каида и полсотни арабов из его племени, – вспыхнул новый очаг пожара все с той же подветренной стороны.

Не подлежит сомнению, следовательно, что поджоги производились туземцами, выполнявшими при этом чей-то приказ.

Могу прибавить, что и я сам, проведя шесть дней в охваченной пожаром области, видел соб-

ственными глазами, как в течение одной ночи пламя внезапно вспыхивало в восьми различных местах посреди леса, километров за десять от какого бы то ни было жилья.

Несомненно, будь с нашей стороны более убедительный надзор над племенами, эти бедствия, повторяющиеся почти каждые четыре — пять лет, не имели бы места.

Правительство считает, что сделало все необходимое, возобновив в связи с приближением периода сильного зноя свои инструкции об установке сторожевых постов, учрежденных согласно статье четвертой закона от 17 июля 1874 года. Эта статья гласит:

> Туземцы лесных областей в период с 1 июля по 1 ноября обязуются под страхом применения к ним мер, указанных в статье восьмой, нести охранную службу, установленную генерал-губернатором».

Туземцев подозревают в поджогах лесов и… им же самим поручают охрану!

Вот поразительная наивность, не правда ли? Эта статья, наверное, была исполнена в точности. Каждый туземец стоял на своем посту. И… поджигал.

Другая статья, правда, предписывает особую охрану, которая должна проводиться в жизнь под наблюдением офицера, назначаемого ежегодно генерал-губернатором.

Статья эта никогда или почти никогда не приводится в исполнение.

Прибавим к этому, что лесное ведомство, самое нелепое, быть может, из всех ведомств Алжира, делает вообще все от него зависящее, чтобы раздражать туземцев.

Словом, если подвести итог по вопросу о колонизации, то правительство, содействуя устройству европейцев, применяет совершенно несправедливые меры по отношению к арабам. Как же колонистам не следовать примеру, который так хорошо согласуется с их интересами?

Надо все же признать, что вот уже несколько лет, как некоторые весьма способные люди, чрезвычайно сведущие во всех вопросах обработки земли, по-видимому, стали направлять колонию по пути значительного улучшения. Благодаря стараниям новых поселенцев Алжир становится производящей страной. Пришлое население работает уже не только ради личных выгод, но и ради интересов Франции.

Вполне очевидно, что в руках этих людей земля

будет приносить столько, сколько она никогда не приносила в руках арабов; вполне очевидно также, что коренное население постепенно исчезнет. Несомненно, это исчезновение принесет большую пользу Алжиру, но возмутительно, что оно осуществляется подобными методами.

Константина

От Шабета до Сетифа вы едете, кажется вам, по золотой стране. Хлеба, срезанные высоко, а не под корень, как во Франции, истоптанные стадами, примешивают свою светлую соломенную желтизну к темно-красному цвету почвы, придавая земле теплый и богатый тон старой позолоты.

Сетиф — один из самых безобразных городов, какие только можно видеть.

Потом до самой Константины проезжаешь бесконечными равнинами. Зеленые рощицы, разбросанные там и сям, придают им вид еловой доски, на которой расставлены нюрнбергские игрушечные деревья.

Но вот, наконец, чудо-город, город-сказка Константина, которую, как свернувшийся у ее ног змей, стережет Румель, фантастический Румель, река из поэмы[38], словно созданная мечтой Данте, река ада, текущая в глубине красной, будто обожженной вечным огнем пропасти. Этот рев-

[38] Примечания: 38

Намек на реку Ахерон, которую описывает в «Аде» (первой части «Божественной комедии») великий итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321).

нивый и удивительный поток обращает город в остров, окружая его страшной извилистой пропастью с причудливыми и сверкающими скалами, с отвесными зубчатыми стенами.

Самый город, по словам арабов, похож на разостланный бурнус. Они называют его Белад-эль-Хауа — город воздуха, город пропасти, город страстей. Он высится над прелестными долинами, где множество римских развалин, акведуков с гигантскими арками роскошной растительности. Над ним же высятся вершины Мансура и Сиди-Месид.

Константина стоит на скале, охраняемая своим потоком, как королева. Ее прославляет старинная народная поговорка. «Благословляйте, — говорит она обитателям города, — память ваших предков, построивших этот город на скале. Обычно вороны испражняются на людей, здесь же вы испражняетесь на воронов».

Многолюдные улицы Константины оживленнее улиц Алжира, они кипят жизнью, по ним то и дело снует самый разнообразный люд: арабы, кабилы, бискры, мозабиты, негры, закутанные в покрывала мавританские женщины, красные спаги, синие тюркосы, важные кади, блестящие офицеры. Торговцы погоняют ослов, маленьких

африканских осликов ростом с собаку, погоняют лошадей, медлительных и величавых верблюдов.

Привет еврейкам Константины! Они прекрасны здесь величавой, строгой и обаятельной красотой. Они проходят скорее задрапированные, чем одетые, в свои яркие ткани, поражая вас несравненным вкусом, умением подобрать тона и подчеркнуть свою красоту. Они ходят с обнаженными по плечо руками — руками, достойными статуй, и смело подставляют их солнцу, как и свои спокойные лица с правильными и чистыми чертами. И само солнце, кажется, не в силах уязвить их гладкую кожу.

Но радость Константины — это прелестное племя девчушек, совсем еще маленьких. Наряженные, как для маскарада, в длинные, волочащиеся по земле платья из голубого или красного шелка, с золотыми или серебряными покрывалами на голове, с наведенными дугообразными бровями, с крашеными ногтями, подчас с нататуированными звездами на щеках и на лбу, они идут мелкими шажками за руку с каким-нибудь высоким слугой-арабом и, чувствительные к вызываемому ими восхищению, бросают прохожим смелые и уже манящие взгляды.

Так и кажется, что это какое-то волшебное, сказочное племя, племя маленьких легкомысленных женщин; ведь они, эти девочки, действительно выглядят женщинами — такой вид придает им костюм, уже пробудившееся кокетство, подкрашенные лица. У них зовущий взгляд, как у взрослых; они очаровывают, волнуют и возбуждают, как что-то прелестное и неестественное. Так и кажется, что это пансион десятилетних куртизанок, едва успевших созреть для любви.

Но вот перед нами дворец Хаджи-Ахмеда, один из характернейших, как утверждают, образцов арабской архитектуры. Все путешественники восхваляли его и сравнивали с чертогами из «Тысячи и одной ночи».

В нем не было бы ничего исключительного, если бы не внутренние сады, придающие ему красивый восточный характер. И понадобилась бы целая книга, чтобы рассказать о жестокостях, о казнокрадстве, обо всех низостях тех, кто его построил из драгоценных материалов, награбленных, похищенных в богатых жилищах города и окрестностей.

Арабский квартал Константины занимает половину города. Крутые улочки, еще более кривые и узкие, чем улицы Алжира, спускаются до самого

края обрыва, на дне которого течет уэд Румель.

Восемь мостов были некогда перекинуты через эту пропасть. Шесть из них в настоящее время разрушены. Один только мост, еще воздвигнутый римлянами, может дать представление о том, каким он был раньше. Румель порой исчезает под гигантскими арками, прорытыми им самим. На одной из них и был построен этот мост. Естественный свод, под которым бежит река, имеет в высоту сорок один метр, а толщина его равна восемнадцати метрам; следовательно, фундамент римского сооружения заложен на высоте пятидесяти девяти метров над водой: мост построен в два этажа, с двумя рядами арок, воздвигнутых поверх гигантской арки, созданной самой природой.

В настоящее время для въезда в Константину служит железный мост в один только пролет.

Но пора отправляться в путь, надо ехать в Бон, живописный белый город, напоминающий города французского побережья Средиземного моря.

У пристани «Клебер»[39] разводит пары. Шесть часов. Когда пароход отчаливает, солнце уже садится там, за пустыней.

---

[39] Примечания: 39

Пароход назван в честь французского генерала Жана-Батиста Клебера (1753–1800), одного из полководцев революции XVIII века.

И я остаюсь на палубе до наступления ночи: взор мой прикован к земле, которая исчезает в пурпурном облаке, в апофеозе заката, в золотисто-розовом пепле, рассыпанном по широкой лазурной мантии спокойного неба.

От Алжира до Туниса

Эти фигуры, задрапированные в какие-то монашеские одеяния, эти головы, покрытые тюрбанами, концы которых развеваются сзади, эти строгие черты лица, эти неподвижные взгляды, встречаешь ли их здесь, на набережных Алжира, или в горах Сахеля, или же среди песков Сахары, — все они как будто принадлежат монахам одного и того же сурового ордена, рассеянным по целой половине земного шара.

Самая походка их та же, что у священников; жесты те же, что у апостолов-проповедников; манера держаться та же, что у мистиков, полных презрения ко всему земному.

И правда, мы здесь среди людей, у которых религиозная идея господствует над всем, все затмевает, диктует поступки, связывает совесть, формует сердца, управляет мыслью, первенствует над всеми интересами, над всеми заботами, над всеми волнениями.

Религия — вот великая вдохновительница их поступков, душ, достоинств и недостатков. Благодаря религии и ради религии они добры, храбры,

нежны и верны, потому что сами по себе они как будто ничто, как будто не обладают ни единым качеством, которое не было бы им внушено или предписано верой. Мы не в состоянии познать непосредственную или первобытную природу араба: она, так сказать, пересоздана его верой, Кораном, учением Магомета. Никогда еще никакая другая религия не внедрялась до такой степени в человеческие существа.

Пойдем же посмотрим, как они молятся в своей белой мечети, которая виднеется там, в конце набережной Алжира.

В первом дворе под аркадой, опирающейся на зеленые, голубые и красные колонки, мужчины, сидя на корточках или прямо на земле, беседуют вполголоса с величавым спокойствием людей Востока. Против входа, в небольшой квадратной комнате, похожей на часовню, кади вершат правосудие. Истцы ждут, сидя на скамейках; один араб говорит, стоя на коленях, а судья, закутанный в одежды, почти скрытый их бесчисленными складками и огромным тяжелым тюрбаном, из-под которого видна лишь часть его лица, слушает жалобщика, устремив на него суровый спокойный взгляд. Стена, в которой проделано решетчатое окно, отделяет эту комнату

от помещения, где женщины, создания менее благородные, чем мужчины, и не имеющие права предстать перед лицом кади, ждут очереди, чтобы изложить свои жалобы через это окошко исповедальни.

Солнце изливается огненным потоком на белоснежные стены этих маленьких зданий, подобных гробницам марабутов, и на двор, где старая арабская женщина кормит рыбой массу полосатых кошек; оно поблескивает и в комнате на бурнусах, на сухих коричневых ногах, на бесстрастных лицах. Еще дальше — школа около фонтана, где под деревом течет вода. Все объединено здесь, в этой тихой мирной ограде: религия, правосудие, просвещение.

Я вхожу в мечеть, сняв сначала обувь, и иду по коврам, среди светлых колонн, правильные ряды которых наполняют безмолвный, огромный и низкий храм. Они очень широки, эти четырехгранные столбы, и одной стороной обращены к Мекке, дабы правоверный, встав перед одной из них и целиком погрузившись в молитву, ничего не видел, ничем не отвлекался.

И вот одни из молящихся бьют земные поклоны, другие стоя бормочут тексты из Корана, приняв позу, полагающуюся по обряду; неко-

торые, уже выполнив свой религиозный долг, беседуют, сидя на полу, вдоль стен, ибо мечеть не только место молитвы, но и место отдохновения, где остаются подолгу, порой на целые дни.

Все просто, голо, бело, тихо, мирно в этих убежищах веры. Они не похожи на наши декоративные церкви, в которых так неспокойно, когда они полны народа, из-за шума службы, движения причта, пышности церемоний, священных песнопений, и которые до того печальны, до того горестны, когда пусты, что сжимается сердце и кажется, что стоишь в комнате умирающего, в холодном каменном склепе, где все еще длится агония распятого.

То и дело входят арабы, бедные и богатые, портовый грузчик и бывший вождь — знатный араб в шелковистом бурнусе ослепительной белизны. Все они босы, все повторяют одни и те же жесты, молятся одному и тому же богу с той же горячей простой верой, не позируя и не отвлекаясь. Сначала они стоят прямо, подняв лицо, держа раскрытые ладони на уровне плеч, в позе мольбы. Затем руки падают вдоль тела, голова склоняется: они стоят перед владыкой мира в позе смирения. После этого руки соединяются на животе, как будто связаны. Это стоят пленники, отдавшиеся

во власть владыки. Наконец они несколько раз подряд очень быстро и бесшумно кладут земные поклоны: садятся на пятки, положив ладони на бедра, и наклоняются вперед, пока не коснутся лбом пола.

Эта молитва, всегда одна и та же, начинающаяся с чтения первых стихов Корана, должна пять раз в день повторяться правоверными, которые перед входом в мечеть омывают ноги, руки и лицо.

В безмолвном храме не слышно ничего, кроме журчания воды, текущей во втором внутреннем дворе, из которого проникает свет в мечеть. Тень смоковницы, растущей у фонтана для омовений, бросает зеленые блики на ближние циновки.

Мусульманские женщины могут приходить в мечеть наравне с мужчинами, но почти никогда не приходят. Бог слишком далек, слишком высок, слишком важен для них. Разве посмеешь рассказать ему о своих заботах, поверить все свои горести, попросить у него небольшой милости, небольшого утешения, небольшой поддержки при мелких столкновениях с семейством, с мужем, с детьми — всего, в чем нуждается сердце женщины? Между ним, таким великим, и ими, такими ничтожными, нужен более скромный

посредник.

Этот посредник — марабут. Разве и у нас, в католической религии, нет святых и Девы Марии, естественных ходатаев перед Богом за робких и смиренных?

И потому молящуюся арабскую женщину мы встретим у гробницы святого, в маленькой часовне, где он похоронен.

Пойдем же туда посмотреть на нее.

Зауйя Абд ар-Рахман-эль-Ткальби самая интересная в Алжире. Зауйей называется маленькая мечеть, сочетающаяся с куббой (гробницей марабута) и включающая иногда еще школу, а также высший курс обучения для образованных мусульман.

Чтобы дойти до зауйи Абд ар-Рахмана, надо пересечь весь арабский город. Невообразим этот подъем по целому лабиринту переулков, перепутанных и извилистых, идущих между глухими стенами мавританских домов. Наверху стены почти соприкасаются, и небо, видное в просветах между плоскими крышами, кажется голубой причудливо фантастической арабеской. Длинный извилистый сводчатый проход, крутой, как горная тропа, порой ведет, кажется, прямо в небесную лазурь, яркое и залитое солнцем

пятно которой внезапно поражает взор за поворотом стены, там, высоко, где кончаются ступени улочки.

Вдоль этих узких проходов на порогах домов расположились на корточках арабы и дремлют в своих лохмотьях; другие наполняют мавританские кофейни и там неподвижно сидя на круглых скамейках или на полу, пьют кофе из маленьких фаянсовых чашек, которые важно держат пальцами. В эти узкие улицы, по которым приходится карабкаться, солнечный свет неожиданно падает тонким лучом или широкими пятнами на каждом повороте и перекрестке и выписывает на стенах неожиданные узоры, ослепительно яркие, словно покрытые лаком. В полуоткрытые двери видны внутренние дворы, откуда тянет свежестью. Повсюду имеется четырехугольный колодец, который окружен колоннадой, поддерживающей галерею. Нежная и дикая музыка доносится порой из этих домов, откуда часто выходят по две женщины. Из-под вуали, скрывающей лица, они бросают вам взгляд черных печальных глаз, взгляд пленниц, и проходят мимо.

Их головы покрыты куском ткани, как на изображениях Богоматери, тела закутаны в хаик, ноги

спрятаны в широких шароварах, полотняных или коленкоровых, доходящих до щиколоток. Женщины идут медленной, довольно неловкой, неуверенной походкой; глядя на них, стараешься угадать черты лица под вуалью, которая немного обрисовывает их, прилегая к его выпуклостям. Синеватые дуги бровей, соединенные полоской сурьмы, продолжены до самых висков.

Вдруг меня окликают. Я оборачиваюсь и в открытую дверь вижу внутри дома, на стенах, большие непристойные картины, какие встречаешь в Помпее. Вольность нравов, пышный расцвет на улицах бесчисленной проституции, веселой и наивно-дерзкой, сразу обнаруживают глубокую разницу, существующую между европейской стыдливостью и восточной бессознательностью.

Не надо забывать, что здесь всего несколько лет назад запретили уличные представления Карагусса (нечто вроде чудовищно непристойного Гиньоля), на которого глядели большие черные невинные и развращенные глаза детей, смеявшихся и аплодировавших его невероятным, мерзким, непередаваемым подвигам.

По всему верхнему арабскому городу рядом с галантерейными, бакалейными и фруктовыми

лавками неподкупных мозабитов, этих магометанских пуритан, которых оскверняет каждое прикосновение других людей и которые по возвращении на родину подвергнутся долгим очистительным обрядам, широко распахнуты двери лавок, торгующих человеческим телом, куда зазывают прохожих на всевозможных языках. Мозабит, восседающий в своей маленькой лавочке, посреди тщательно разложенных товаров, как будто ничего не видит, не знает, не понимает.

Справа от его лавки испанские женщины воркуют, как голубки; слева арабские женщины мяукают, как кошки. Среди них, среди этих бесстыдно оголенных тел, размалеванных для привлечения клиентов в оба эти притона, сидит, подобно загипнотизированному и погруженному в грезы факиру, продавец фруктов.

Я сворачиваю вправо, в маленький проулок, который, кажется, обрывается прямо в море, раскинувшееся вдали за мысом Сент-Эжен, и вижу в конце этого туннеля, в нескольких метрах под собой, очаровательнейшую мечеть-игрушку, или, вернее, изящную крошечную зауйю, маленькие постройки которой и маленькие квадратные, круглые и остроконечные гробницы рассыпаны вдоль лестницы, зигзагами спускавшейся с тер-

расы на террасу.

Вход в нее скрыт за стеной, как будто сделанной из серебристого снега и окаймленной зелеными фаянсовыми изразцами; в стене пробиты равномерно расположенные отверстия, сквозь которые виден Алжирский рейд.

Я вхожу. На каждой ступеньке сидят нищие: старики, дети, женщины — и, протягивая руки, просят милостыню на арабском языке. Направо, в маленьком здании, также украшенном фаянсовыми плитками, находится первая усыпальница, и в открытые двери можно видеть правоверных, сидящих перед гробницей. Ниже блестит круглый купол куббы марабута Абд ар-Рахмана рядом с тонким четырехгранным минаретом, с которого призывают на молитву.

Вдоль всего спуска — другие гробницы, более скромные, и наконец гробница знаменитого Ахмеда, бея Константины, который науськивал собак рвать зубами животы французских пленных.

С последней террасы, у входа в гробницу марабута, открывается чудный вид. Вдали собор Африканской богоматери возвышается над мысом Сент-Эжен и надо всем морем, простирающимся до самого горизонта, где оно сливается

с небом. Ближе, справа, арабский город подымается до самой зауйи, и его белые известковые домики взбираются еще выше по уступам горы. Вокруг меня гробницы, кипарис, смоковница и те мавританские орнаменты, что обрамляют и увенчивают зубцами все священные стены.

Сняв обувь, я вхожу в куббу. Передо мной в тесной комнатке сидит на пятках мусульманский ученый и читает рукопись, держа ее обеими руками на уровне глаз. Вокруг него на циновках разложены книги и пергаментные свитки. Он не поворачивает головы.

Дальше я слышу какой-то шелест и шепот. При моем появлении все женщины, сидящие вокруг гробницы, поспешно закрывают лица. Они похожи на большие клубки белой ткани с блестящими глазами. Посреди них, в этой пене из фланели, шелка, шерсти и полотна, спят или двигаются дети, одетые в красное, синее, зеленое. Это наивно и очаровательно. Женщины — у себя, у своего святого, жилище которого они украсили, ибо бог слишком далек для их ограниченного ума, слишком велик для их смирения.

Они обращаются лицом не к Мекке, а к телу марабута и отдают себя под его непосредственное покровительство, которое и тут, как всегда, яв-

ляется покровительством мужчины. Их женские глаза, их кроткие и печальные глаза, подчеркнутые двумя белыми повязками, не умеют видеть бесплотное, им понятно только живое создание — мужчина, который при жизни кормит их, защищает и поддерживает; мужчина после своей смерти замолвит за них слово и перед богом. И вот они здесь, у самой гробницы, разукрашенной, размалеванной и немного напоминающей бретонское брачное ложе, но ярко расписанное, покрытое материями, шелками, флагами, принесенными подарками.

Они шепчутся, разговаривают между собою и рассказывают марабуту о своих делах, о заботах, о ссорах, об обидах, понесенных от мужа. Они собрались интимным кружком, чтобы запросто поболтать у святыни.

Вся часовня наполнена их странными дарами: стенными часами разнообразной величины, которые тикают, отмечая секунды, и бьют в положенное время; принесенными по обету хоругвями, всевозможными люстрами, медными и хрустальными.

Этих люстр навешано так много, что за ними не видно потолка. Они висят одна подле другой независимо от размера, как в ламповом мага-

зине. Стены украшены изящными фаянсовыми изразцами прелестного рисунка, в которых всегда преобладают зеленый и красный цвета. Пол застлан коврами, а свет проникает через купол, разделенный на тройные стрельчатые окна, из которых среднее выше других.

Это уже не та суровая голая мечеть, где бог пребывает в одиночестве, это будуар, украшенный для молитвы по детскому вкусу дикарок. Сюда часто приходят волокиты, чтобы условиться с ними о свидании и обменяться по секрету несколькими словами. Европейцы, говорящие по-арабски, порой завязывают здесь знакомства с этими закутанными медлительными созданиями, у которых видны только глаза.

Когда прихожане-мужчины посещают в свою очередь марабута, чтобы помолиться у его гробницы, они не проявляют такого исключительного внимания к святому обитателю этого места. Поклонившись гробнице, они обращаются лицом к Мекке и поклоняются богу, ибо нет бога, кроме бога, как они повторяют во всех своих молитвах.

Тунис

Прежде чем достигнуть Туниса, железная дорога пересекает великолепную гористую местность, поросшую лесами. Описав несколько огромных петель и поднявшись на высоту в 780 метров, откуда открывается обширный великолепный пейзаж, она проникает на территорию Туниса через Хрумир.

Тут начинается чередование гор и пустынных долин, в которых некогда стояли римские города. Вот сначала развалины Тагасты, родины блаженного Августина, отец которого был декурионом.

Дальше идет Тубурсикум Нумидарум, руины которого покрыты круглыми зеленеющими холмами. Еще дальше Мадаура, где в конце царствования Траяна родился Апулей. Не перечесть всех мертвых городов, мимо которых проезжаешь на пути в Тунис.

Вдруг, после долгих часов пути, на низкой равнине возникают высокие арки полуразрушенного, местами уничтоженного акведука, который некогда тянулся от одной горы до другой. Это Карфагенский акведук, о котором говорит Фло-

бер в «Саламбо». Потом дорога проходит мимо красивого селения, следует берегом сверкающего озера, и, наконец, показываются стены Туниса.

Вот мы и в городе.

Чтобы охватить взглядом его общий вид, надо подняться на ближний холм. Арабы сравнивают Тунис с разостланным бурнусом. Сравнение удачно: город простирается на равнине, слегка волнистой из-за неровностей почвы, так что местами над ней выступают края большого пятна, образуемого белесыми домами, над которым высятся купола мечетей и башни минаретов. Едва различаешь, едва догадываешься, что это дома: до такой степени это белое пятно кажется сплошным, непрерывным, разлившимся. Три озера вокруг него сверкают под ярким восточным солнцем, как три огромных стальных щита. На севере, вдали, — озеро Себкра-эль-Буан; на западе — Себкра-Сельджум, на юге, за городом, — большое озеро Бахира, или Тунисское; дальше к северу — море, глубокий залив, тоже похожий на озеро в обрамлении далеких гор.

И повсюду вокруг этого плоского города тянутся топкие болота, полные разлагающихся нечистот, — невообразимое кольцо гниющих клоак, голые низменные поля, где извиваются

наподобие змеек узкие блестящие ручьи. Это сточные воды Туниса, разливающиеся под синим небом. Они текут непрестанно, заражая воздух, и катят свой медленный зловонный поток по землям, пропитанным гнилью, к озеру, которое они заполнили и насытили на всем его протяжении, ибо опущенный в него лот погружается в тину почти на восемнадцать метров; приходится постоянно прочищать канал в этой топи, чтобы через нее могли пройти небольшие суда.

И все же в яркий, солнечный день зрелище города, лежащего среди этих озер, на этой обширной равнине, замыкаемой в отдалении горами, самая высокая из которых, Загуан, зимой почти всегда увенчана облаками, производит, пожалуй, самое захватывающее, самое волнующее впечатление на всем побережье Африканского материка.

Спустимся с нашего холма и войдем в город. Он состоит из трех совершенно отдельных частей: французской, арабской и еврейской.

На самом деле Тунис не французский и не арабский город, это город еврейский. Это одно из редких мест на земном шаре, где еврей чувствует себя дома, словно на родине, где он почти явный хозяин, где он держится со спокойной уверенностью, хотя еще немного боязливой.

Особенно интересно видеть и наблюдать его здесь, в этом лабиринте узеньких улочек, где движется, суетится и кишит самое яркое, пестрое, расфранченное, переливающееся всеми цветами радуги, драпирующееся в шелка красочное население, какое только можно встретить на всем этом восточном побережье.

Где мы? В стране арабов или в ослепительной столице Арлекина, наделенного высоким художественным чутьем, друга живописцев, неподражаемого колориста Арлекина, который забавы ради вырядил свой народ с умопомрачительной фантастичностью? Этот божественный костюмер побывал, наверно, и в Лондоне, и в Париже, и в Петербурге, но, вернувшись оттуда, полный презрения к северным странам, расцветил своих подданных с безошибочным вкусом и с беспредельным воображением. Он не только пожелал придать их одеждам изящный, оригинальный и веселый покрой, но и применил для раскраски тканей все оттенки, созданные, составленные, придуманные самыми утонченными акварелистами.

Одним лишь евреям он предоставил резкие тона, хотя и запретил слишком грубые сочетания цветов и с благоразумной смелостью ограничил

яркость костюмов. Что же касается мавров, его любимцев, флегматических торговцев, восседающих в своих суках, или проворных юношей, или медленно шествующих по маленьким улочкам тучных горожан, он разодел их забавы ради в такие разнообразные ткани, что глаз, глядя на них, пьянеет, как певчий дрозд от винограда. Для них, для этих славных восточных людей, для этих левантинцев — метисов, происшедших от турок и арабов, — он собрал целую коллекцию оттенков, таких тонких, нежных, спокойных, мягких, бледных, блеклых и гармоничных, что прогулка среди них — истинное наслаждение для глаз.

Вот бурнусы из кашемира, переливчатые, как потоки света, и тут же лохмотья, великолепные в своей нищете, рядом с шелковыми геббами (длинными, спускающимися до колен туниками) и мягкими жилетами, облегающими тело под курткой, обшитой по бортам мелкими пуговками. И на этих геббах, куртках, жилетах, хаиках играют, смешиваются и наслаиваются друг на друга самые нежные расцветки. Все это розовое, лазоревое, сиреневое, бледно-зеленое, пастельно-голубое, бледно-коричневое, палевое, оранжевое, бледно-лиловое, красноватое, аспидно-серое.

Это волшебная процессия цветов от самых

блеклых оттенков до самых ослепительных, но и последние тонут в таком потоке сдержанных тонов, что ничто не кажется резким, нет ничего кричащего, ничто не бьет в глаза на улицах — в этих светлых коридорах, бесконечно извивающихся, стиснутых между низкими, выбеленными известью домами.

Эти узкие проходы то и дело наводняются какими-то оплывшими существами, бедра и плечи которых покачиваются, еле протискиваясь в этих проходах. Существа эти носят остроконечный головной убор, часто посеребренный или позолоченный, словно колпак волшебницы; сзади с него спадает шарф. На их чудовищных телах — колыхающихся и вздутых горах мяса — надеты просторные блузы ярких цветов. Бесформенные ляжки заключены в узкие, обтягивающие белые кальсоны. На икрах и щиколотках, налитых жиром, вздуваются чулки или — если одежда праздничная — нечто вроде чехлов из золотой или серебряной парчи. Они тяжело выступают, волоча туфли без задников, так что пятки шлепают по мостовой. Эти странные расплывшиеся создания — еврейки, прекрасные еврейки!

Как только юные дочери Израиля приближаются к брачному возрасту, к тому возрасту, когда

за ними начинают ухаживать богатые мужчины, они мечтают о том, чтобы растолстеть: ведь чем женщина грузнее, тем больше чести мужу и тем больше у нее шансов выбрать его по своему вкусу.

В четырнадцать-пятнадцать лет эти девочки стройны и легки, дивно красивы, изящны и грациозны. Их бледный, немного болезненный, прозрачно-нежный цвет лица, тонкие мягкие черты древней и усталой расы, кровь которой никогда не освежалась, темные глаза под ясным лбом, придавленным черной тяжелой густой массой всклокоченных волос, гибкие движения, когда они перебегают от одной двери к другой, — все это наполняет еврейский квартал Туниса видениями соблазнительных маленьких Саломей.

Но вот они начинают думать о супруге. Тут наступает пора того невообразимого объедания, которое скоро превращает их в чудовища. Соблюдая неподвижность после ежедневного приема по утрам пилюль из трав, возбуждающих аппетит и раздражающих желудок, они целые дни едят тяжелые жирные печения, от которых невероятно толстеют. Груди вздуваются, животы вспухают, зады округляются, бедра ширятся, покрыва-

ясь жиром; кисти рук и щиколотки исчезают в тяжелых складках. И любители собираются, осматривают их, сравнивают, восхищаются ими, как на выставке откормленного скота. До чего же они красивы, соблазнительны, очаровательны эти необъятные невесты!

Тогда-то и можно встретить эти чудовищные фигуры, увенчанные острым конусом — куфией, с которого свисает на спину бехкир, одетые в развевающиеся широкие кофты из простого полотна или яркого шелка, в белых или вышитых, узких, как трико, панталонах, обутые в шлепанцы-саба, — существа, невыразимо странные, с лицами, которые на этом гиппопотамовом теле часто еще хранят былую красоту.

У себя в домах, куда нетрудно проникнуть в субботу, в священный день, в день праздника и визитов, девушки принимают подруг в выбеленных комнатах, где сидят одна подле другой, как символические идолы, покрытые шелками и блестящей мишурой, богини из плоти и металла с золотыми гетрами на ногах и золотым рогом на голове!

Все богатство Туниса в их руках, или, вернее, в руках их мужей, всегда улыбающихся, всегда приветливых и готовых к услугам. Вероятно,

через несколько лет они превратятся в европейских дам, будут одеваться по французской моде и, подчиняясь моде, начнут поститься, чтобы похудеть. Тем лучше будет для них и тем хуже для нас, зрителей.

Самая интересная часть арабского города — это квартал суков: длинные улицы под сводами или дощатыми крышами, сквозь щели которых солнце проскальзывает огненными клинками, как будто рассекающими прохожих и купцов. Это базары, извилистые и перекрещивающиеся галереи, где торговцы, разбившись по цехам, сидя прямо на земле или на корточках посреди своих товаров в маленьких крытых лавочках, энергично зазывают покупателей или же хранят неподвижность в нишах из ковров, из материй всевозможных цветов, из выделанных кож, уздечек, седел, шитой золотом сбруи или нанизанных, как четки, желтых и красных туфель.

У каждого цеха своя улица, и можно видеть, как во всю длину галереи, отделенные друг от друга простой перегородкой, работают ремесленники одного и того же цеха, делая одни и те же жесты. Оживление, красочность, веселье этих восточных рынков не поддаются описанию, потому что тут надо было бы одновременно передать и

ослепительный свет, и шум, и движение.

Один из суков настолько своеобразен, что оставляет о себе воспоминание, необычайное и неотвязное, как сон. Это сук духов.

В одинаковых узких отделениях, до того узких, что напоминают ячейки улья, и расположенных рядами по обе стороны темноватой галереи, люди с прозрачным цветом лица, почти все молодые, в светлых одеждах, восседают, как будды, храня изумительную неподвижность, в рамке из подвешенных длинных восковых свечей, образующих вокруг их голов и плеч мистический и правильный узор. Верхние свечи, более короткие, окружают тюрбан; другие, более длинные, доходят до плеч; самые большие спускаются вдоль рук. Симметричная форма этого странного убранства несколько меняется от одной лавки к другой. Продавцы, бледные, неподвижные, безмолвные, сами кажутся восковыми фигурами в восковой часовне. Если зайдет покупатель — вокруг их колен, вокруг ног, под рукой находятся всевозможные духи, заключенные во всевозможные крошечные коробочки, крошечные флакончики, крошечные мешочки.

В воздухе, из одного конца сука в другой, носится слегка дурманящий запах курений и духов.

Некоторые из этих экстрактов продаются каплями по очень дорогой цене. Для отсчитывания их торговец употребляет кусочек хлопка, который вынимает из уха и затем снова водворяет туда же.

С наступлением вечера весь квартал суков запирается тяжелыми воротами у входа в галереи; подобно некоему драгоценному городу, он заключен в другом городе.

Когда же вы прогуливаетесь по новым улицам, упирающимся в болото, в какой-нибудь сток нечистот, вы вдруг слышите странное ритмическое пение в такт глухим ударам, которые похожи на отдаленные пушечные выстрелы и прерываются на несколько мгновений, чтобы возобновиться снова. Вы озираетесь и, наконец, на уровне земли замечаете головы десятка негров, обмотанные фулярами, платками, тюрбанами, лохмотьями. Эти головы поют по-арабски какой-то припев, в то время как руки, вооруженные бабами для трамбования почвы, мерно ударяют ими на дне канавы по слою щебня и известкового раствора — так закладывают прочный фундамент для какого-нибудь нового дома, строящегося на этой жирной вязкой почве.

На краю ямы старый негр, начальник этой

партии трамбовщиков, отбивает такт, смеясь, как обезьяна; смеются и все другие, продолжая распевать свою странную песню и скандируя ее энергичными ударами. Они ударяют с воодушевлением и лукаво смеются, поглядывая на останавливающихся прохожих, которым тоже весело: арабам — потому что они понимают слова, другим — потому что зрелище забавное, — но уж, конечно, никто так не веселится, как сами негры, ведь старик кричит:

— Ну-ка хватим!

И все, скаля зубы и ударяя три раза трамбовкой, подхватывают:

— По башкам собачьих руми!

Старый негр снова кричит с таким жестом, как будто он кого-то раздавил:

— Ну-ка хватим!

И все хором:

— По башкам собачьих ютов!

Вот как строится европейский город в новом квартале Туниса!

Ах, этот новый квартал! Когда вспомнишь, что он весь выстроен на постепенно затвердевшем иле, на какой-то невообразимой почве, создавшейся из всех нечистот и отбросов, извергаемых городом, невольно спрашиваешь себя, каким

образом население его не гибнет от всевозможных болезней, лихорадок и эпидемий. А глядя на озеро, которое постепенно завоевывают и переполняют те же стоки городских нечистот, на озеро — эту вонючую помойную яму, из которой поднимаются такие миазмы, что в жаркие ночи вас мутит от отвращения, не понимаешь даже, как еще существует старый город, расположившийся у этой клоаки.

Вспоминаешь о больных лихорадкой, которые встречаются в некоторых деревнях Сицилии, Корсики или Италии, об уродливых, чудовищных людях с раздутыми животами, трясущихся, отравленных водой чистых ручьев и красивых прозрачных озер, и приходишь к убеждению, что Тунис должен быть очагом заразных болезней.

Но нет! Тунис — здоровый город, очень здоровый! Зловонный воздух, которым вы в нем дышите, живит и успокаивает вас. Это самый умиротворяющий, самый приятный для возбужденных нервов воздух, каким мне когда-либо доводилось дышать. После департамента Ланд, наиболее здорового района Франции, Тунис является местом, где менее всего распространены обычные в наших странах заболевания.

Это кажется невероятным, однако это так. О

вы, современные врачи, смешные оракулы, профессора гигиены, посылающие ваших больных дышать чистым воздухом горных вершин или животворящим воздухом зеленых лесов, приезжайте сюда, взгляните на эту навозную жижу, омывающую Тунис, посмотрите затем на эту землю, которую не защищает и не освежает своей тенью ни одно деревце; проживите год в этой стране, на этой низменной равнине, летом иссушенной солнцем, зимой превращенной в болото дождями, а потом зайдите в здешние больницы. Они пусты!

Справьтесь со статистикой, и вы узнаете, что здесь гораздо чаще, чем от ваших болезней, умирают от того, что называют — пожалуй, ошибочно — мирной естественной смертью. Тогда вы, может быть, спросите себя, не современная ли наука отравляет нас своим прогрессом; не являются ли канализационные трубы в наших погребах и сточные ямы, находящиеся по соседству с нашим вином и водой, домашними рассадниками смерти, очагами и распространителями эпидемий, более действенными, чем ручейки нечистот, текущие под солнечными лучами вокруг Туниса. Вы убедитесь, что чистый горный воздух менее успокоителен, чем бациллоносные испарения

здешних городских нечистот, и что сырость лесов опаснее для здоровья и чаще порождает лихорадки, чем сырость гниющих болот, вокруг которых на шестьсот километров нет ни единой рощицы.

Неоспоримо здоровый климат Туниса действительно изумляет и может объясниться только абсолютной чистотой воды, которую пьют в этом городе, а это полностью подтверждают наиболее современные теории о способе распространения смертоносных зародышей.

В самом деле, вода с горы Загуан, каптированная под землей на расстоянии восьмидесяти километров от города, доходит до домов без малейшего соприкосновения с наружным воздухом и, следовательно, не получив никаких зародышей заразных болезней.

Я был так удивлен, когда мне говорили о здешнем здоровом климате, что пожелал посетить больницу, и врач-мавр, заведующий главной больницей Туниса, разрешил мне осмотреть ее.

Как только передо мной открылись ворота, ведущие в обширный арабский двор, над которым, под защитой плоской крыши, возвышается галерея с колоннадой, мое удивление и волнение так возросли, что я позабыл о цели своего прихода.

Вокруг меня по бокам четырехугольного двора,

в узких камерах за решетками, как в тюрьме, были заключены люди; при нашем появлении они поднялись и прижали к железным решеткам изможденные бледные лица. Затем один из них просунул руку и, помахав ею, прокричал несколько ругательств. Тогда и остальные принялись вдруг скакать, словно звери в клетках, и орать во все горло, а на галерее второго этажа длиннобородый араб с тяжелым тюрбаном на голове и медными ожерельями вокруг шеи, небрежно свесил над перилами покрытую браслетами руку, пальцы которой были унизаны кольцами, и, улыбаясь, слушал весь этот гам. Это был сумасшедший, свободный и спокойный, который воображал себя царем царей и мирно владычествовал над буйными помешанными, запертыми внизу.

Мне захотелось обойти и оглядеть этих страшных безумцев, которые невольно приковывают внимание своими восточными одеяниями, а благодаря своей оригинальности более интересны и, быть может, менее волнуют, чем наши бедные европейские сумасшедшие.

Мне разрешили войти в камеру первого из них. Подобно большинству своих товарищей он был доведен до такого состояния гашишем, или,

вернее, кифом. Он еще очень молод, страшно худ, бледен и разговаривает со мной, глядя на меня огромными пристальными мутными глазами. Что он говорит? Он просит меня подарить ему трубку для курения и рассказывает, что его ждет отец.

Время от времени он приподнимается, причем из-под его геббы и бурнуса выглядывают ноги, тощие, как у паука, а негр, который его сторожит, гигант, с лоснящейся кожей и блестящими белками глаз, всякий раз отбрасывает его на циновку легким толчком в плечо, и безумец слишком слаб, чтобы устоять при этом на ногах.

Его сосед, желтое гримасничающее чудовище, испанец из Рибейры, сидит, скорчившись, вцепившись в железные прутья решетки, и также просит трубку или кифа с непрерывным смехом, похожим на угрозу.

В следующей камере двое. Еще один курильщик конопли — крупный араб мускулистого сложения — встречает нас бешеной жестикуляцией, тогда как его сосед неподвижно сидит на пятках, устремив на нас прозрачные глаза дикой кошки. Это человек редкой красоты: нос тонкий, лицо продолговатое, изящное, полное благородства, — но черная борода, короткая и курчавая, придает

прекрасному цвету его лица мертвенно-бледный оттенок. Это мозабит, сошедший с ума после того, как нашел мертвым своего сына — юношу, которого разыскивал два дня.

А вот старик, который смеется и, приплясывая, как медведь, кричит нам:

— Сумасшедшие, сумасшедшие, все мы сумасшедшие: я, ты, доктор, сторож, бей — все, все сумасшедшие!

Он выкрикивает это по-арабски, но мы его понимаем: до того страшна его мимика, до того убедителен протянутый к нам палец. Старик указывает на каждого из нас поочередно и смеется, ведь этот сумасшедший убежден, что сумасшедшие — мы, и повторяет:

— Да, да, ты, ты, ты сумасшедший!

И кажется, что в вашу душу проникает дуновение безумия, заразная и страшная эманация, исходящая от этого злобного бесноватого.

И вы уходите, поднимая взор к большому синему квадрату неба, простирающемуся над этой ямой проклятых. Тут снова показывается по-прежнему улыбающийся, спокойный и прекрасный, как царь-волхв, повелитель всех этих безумцев, длиннобородый араб. Перегнувшись через перила галереи, он сверкает на солнце

множеством всевозможных предметов из меди, железа и бронзы: ключами, кольцами, гвоздями, — которыми тщеславно украшает свое воображаемое царское достоинство.

Вот уже пятнадцать лет, как этот мудрец живет здесь и бродит медленным шагом со спокойным и величественным видом — действительно настолько величественным, что ему с почтением кланяются. Он произносит в ответ царственным тоном несколько слов, означающих: «Добро пожаловать! Рад вас видеть», — а потом больше не смотрит на вас.

Вот уже пятнадцать лет, как этот человек не ложился. Он спит, сидя на ступеньке посередине больничной каменной лестницы. Никто ни разу не видел, чтобы он вытянулся.

Мне неинтересны теперь остальные больные, к тому же настолько немногочисленные, что они наперечет в больших белых залах, откуда из окон открывается вид на широко раскинувшийся, сверкающий на солнце город, над которым, как пузыри над водой, вздымаются купола мечетей и кубб.

Я ухожу, охваченный смутным волнением, полный жалости, а может быть, и зависти к некоторым из этих одержимых бредом людей,

переживающих в своей тюрьме, не замечаемой ими, ту мечту, которую они когда-то нашли на дне маленькой трубочки, набитой несколькими желтыми листочками.

В тот же вечер один французский чиновник, снабженный особыми полномочиями, предложил проводить меня в некоторые арабские злачные места, куда доступ для иностранцев крайне затруднен. Впрочем, нам пришлось отправиться в сопровождении агента местной полиции, без чего перед нами не открылась бы ни одна дверь даже самого гнусного туземного притона.

Арабский город в Алжире по ночам полон оживления. С наступлением вечера Тунис словно вымирает. Узенькие улицы, извилистые и неровные, кажутся проходами покинутого города, в котором местами позабыли погасить газовые фонари.

Вот мы в самой глубине этого лабиринта из белых стен, и нас вводят к еврейкам, исполняющим танец живота. Этот танец безобразен, неграциозен и интересен только для любителей мастерства исполняющей его артистки. Три девицы, три сестры, чрезвычайно разряженные, проделывали свои непристойные кривляния

под благосклонным оком матери, неимоверной груды жира с колпаком из золоченой бумаги на голове; после каждого приступа содрогания дочерних животов мать производила среди зрителей сбор на содержание заведения.

Через три полуоткрытых двери салона можно было видеть низкие ложа трех спален. Я открыл четвертую дверь и увидал лежавшую на кровати женщину, показавшуюся мне красивой. Но тут на меня набросились мать танцовщицы, двое слуг-негров и какой-то раньше не замеченный мной человек, глядевший из-за занавески, как волнуются животы его сестер. Я чуть было не вошел в комнату его законной жены, которая была беременна, в комнату снохи, невестки этих распутниц, которые тщетно пытались привлечь нас, хотя бы на один вечер, в лоно своей семьи. В извинение за то, что меня не впустили, мне показали первого ребенка этой дамы, девочку лет трех или четырех, которая уже пыталась воспроизвести танец живота.

Я ушел с чувством глубокого отвращения.

С великими предосторожностями меня провели затем в квартиру дорогих арабских куртизанок. Пришлось сторожить в конце улицы, вести переговоры, угрожать, так как если бы туземцы

узнали, что к этим женщинам входил руми, они были бы отвергнуты, заклеймены, разорены. Там я увидел толстых брюнеток весьма посредственной красоты в комнатушках, переполненных зеркальными шкафами.

Мы собирались уже вернуться в гостиницу, когда агент туземной полиции предложил провести нас в самый обыкновенный притон, в публичный дом, двери которого он заставит открыть своей властью.

И вот мы снова следуем за ним ощупью по черным переулкам, которых никогда не забудешь, зажигаем спички, чтобы не упасть, но тем не менее оступаемся на неровной почве, задеваем о стены домов то плечом, то рукой и слышим порой за стенами голоса, звуки музыки, шум дикого веселья, приглушенные, далекие, жуткие по своей невнятности и таинственности. Мы в самом центре квартала разврата.

Мы останавливаемся у одних дверей, притаясь справа и слева от них, в то время как полицейский стучит кулаком, выкрикивая какую-то фразу по-арабски, по-видимому приказание.

Из-за двери отвечает слабый голос, явно старушечий, и теперь до наших ушей доносятся из самой глубины этого вертепа звуки музыкаль-

ных инструментов и крикливое пение арабских женщин.

Нам не хотят отпирать. Полицейский сердится, и из его горла вырываются быстрые, резкие, раздраженные звуки. Наконец дверь приоткрывается, он толкает ее, входит в дом, точно в завоеванный город, и широким жестом победителя как бы говорит нам: «Следуйте за мной!»

Мы следуем за ним и спускаемся по трем ступенькам, которые приводят нас в низкую комнату, где вдоль стен спят на коврах четверо арабчат, — это дети дома. Старуха, одна из тех туземных старух, похожих на кучу движущегося желтого тряпья, из которого торчит невероятная татуированная голова ведьмы, еще пытается преградить нам дорогу. Но дверь закрылась, и мы входим в первый зал, где стоят несколько человек, загораживая проход во второй зал, куда им не удалось проникнуть, и сосредоточенно слушают странную резкую музыку, доносившуюся оттуда. Первым проходит в зал полицейский, растолкав постоянных посетителей, и мы проникаем в узкое продолговатое помещение, где арабы скученно сидят на досках, которые тянутся вдоль обеих выбеленных стен до самого конца комнаты.

Там, на большой европейской кровати, зани-

мающей всю ширину помещения, возвышается пирамида других арабов, невероятным образом взгромоздившихся друг на друга, целая груда бурнусов, откуда торчат пять голов в тюрбанах.

Перед кроватью на скамейке, лицом к нам, за низким столиком красного дерева, уставленным стаканами, бутылками пива, чашками кофе с маленькими оловянными ложками, сидят четыре женщины и поют бесконечную тягучую южную мелодию под аккомпанемент инструментов, на которых играют несколько музыкантов-евреев.

Женщины разряжены, как в феерии, как принцессы из «Тысячи и одной ночи», и одна из них, лет пятнадцати, отличается такой изумительной, такой совершенной, такой редкостной красотой, что озаряет это странное место, превращая его в нечто неожиданное, символическое, незабываемое.

Ее волосы сдерживает золотой обруч, стягивающий лоб. Под этой прямой металлической полоской — два черных, продолговатых, широко расставленных огромных глаза со взглядом пристальным, бесстрастным, бездонным; их разделяет нос этого божества, нисходящий к маленькому детскому ротику, который раскрывается для пения и кажется единственной живой частью лица.

Это лицо без выражения; правильность его черт первобытна и великолепна, создана такими простыми линиями, что они кажутся естественными и единственно возможными здесь формами.

Во всяком лице можно было бы, казалось, заменить какую-нибудь черту или деталь, позаимствовав ее у другого человека, но в лице этой арабской девушки решительно ничего нельзя изменить — настолько рисунок его совершенен и типичен. Гладкий лоб, словно изваянные щеки, незаметно переходящие в тонкий подбородок, безупречный овал чуть смуглого лица, единственно возможные здесь нос, рот и глаза — все это воплощает идеальное представление об абсолютной красоте, которая чарует наш взгляд и не вполне удовлетворяет разве только нашу мечту. Рядом с первой девочкой находится другая, тоже очаровательная, но не такой исключительной красоты, одно из тех белых нежных лиц, которые словно вылеплены из молочного теста. А по сторонам этих двух звезд сидят две другие женщины: животного типа, круглоголовые, скуластые, — две бродячие проститутки из тех пропащих созданий, которых племена теряют на пути, снова подбирают и снова теряют, чтобы оставить их, наконец, в хвосте какого-нибудь от-

ряда спаги, который уводит их за собой в город.

Они поют, ударяя по дарбуке руками, покрасневшими от хны, а евреи-музыканты аккомпанируют им на маленьких гитарах, тамбуринах и пронзительных флейтах.

Все слушают молча, без улыбки, с величавой серьезностью.

Куда мы попали? В храм ли какой-то варварской религии или в публичный дом?

В публичный дом? Да, мы в публичном доме, и ничто в мире не производило на меня более неожиданного, более свежего, более красочного впечатления, чем эта длинная низкая комната, где девушки, убранные как для священнодействия, ожидают прихоти одного из этих важных мужчин, которые словно бормочут про себя стихи Корана даже посреди кутежа.

Мне указывают на одного из них, который сидит перед крошечной чашкой кофе, подняв глаза к небу с благоговейным видом. Он содержит это божество, и почти все остальные — его гости. Он угощает их напитками, музыкой и созерцанием красавицы до той поры, пока не попросит разойтись по домам. И они уйдут, величественно откланявшись ему. Этот человек с таким тонким вкусом, хорош собой, молод, высок; у него

прозрачная кожа араба-горожанина, которая кажется еще светлее от черной бороды, шелковистой, блестящей и немного редкой на щеках.

Музыка умолкает, мы аплодируем. Присутствующие вторят нам. Мы сели на табуретки среди толпы людей. Вдруг длинная черная рука ударяет меня по плечу, и голос, странный голос туземца, пытающегося говорить по-французски, заявляет:

— Мой тоже не отсюда. Француз, как и ты.

Я оборачиваюсь и вижу великана в бурнусе, одного из самых высоких, самых худых, самых костлявых арабов, каких мне только приходилось встречать.

— Откуда же ты? — спрашиваю я с удивлением.

— Из Алжира!

— А! Держу пари, что ты кабил?

— Да, мусью. — Он рассмеялся в восторге, что я угадал его происхождение, и, указывая на своего товарища, добавил: — И он тоже.

— Ах вот что!

Это было во время чего-то вроде антракта.

Женщины, к которым никто не обращался, сидели неподвижно, как статуи, и я пустился в разговор с двумя моими соседями алжирцами при помощи агента туземной полиции.

Я узнал, что они пастухи, землевладельцы из окрестностей Буджи, и что в складках бурнусов носят с собой туземные флейты, на которых играют по вечерам для развлечения. Видимо, им хотелось похвалиться своим талантом, и они показали мне две тонкие тростниковые трубочки с просверленными в них дырочками, две настоящие тростинки, срезанные на берегу речки.

Я попросил, чтобы им позволили поиграть, и все тотчас же смолкли с изысканной вежливостью.

Ах какое удивительное и сладостное ощущение проникло в мое сердце с первыми нотами, такими легкими, необычными, незнакомыми и неожиданными, этих двух голосков, исходивших из двух трубочек, выросших в воде! Мотив был изящный, нежный, отрывистый, скачущий: звуки летали и летали друг за другом, но никак не могли сочетаться, встретиться и слиться; пение то и дело замирало и начиналось снова, проносилось мимо, реяло вокруг нас, как дыхание души листьев, души лесов, души ручейков, души ветра, проникшее вместе с двумя этими рослыми пастухами кабильских гор в публичный дом тунисского пригорода.

На пути в Кайруан

11 декабря

Мы выезжаем из Туниса по прекрасной дороге, которая сперва тянется вдоль возвышенности, затем берегом озера, потом пересекает равнину. Широкий горизонт, замкнутый цепью гор, вершины которых подернуты дымкой, совершенно пустынен, и только местами виднеются вдали белые пятна деревень, где над неясной массой домов возвышаются остроконечные минареты и маленькие купола кубб. По всей фанатичной африканской земле нам то и дело встречаются эти блестящие купола — то среди плодородных равнин Алжира и Туниса, то, как маяки, на округленных вершинах гор, то в глубине кедровых или сосновых лесов, то по краям глубоких оврагов, в чаще мастиковых деревьев и пробковых дубов, то в желтой пустыне, между двумя финиковыми пальмами, склоняющими свои вершины, одна справа, другая слева, над молочно-белым куполом, на который они бросают легкую и тонкую тень ветвей.

В останках марабутов содержится некое свя-

щенное семя, оплодотворяющее безграничную почву ислама, зарождая в ней от Танжера до Тимбукту, от Каира до Мекки, от Туниса до Константинополя, от Хартума до Явы самую могучую и наиболее таинственно-властную из всех религий, когда-либо подчинявших себе человеческие души.

Маленькие круглые, стоящие особняком, и такие белые, что от них излучается свет, эти гробницы в самом деле производят впечатление божественных семян, пригоршнями разбросанных по свету великим сеятелем веры Магометом, братом Аиссы и Моисея.

Нас уносит крупной рысью четверка лошадей, запряженных в ряд, и мы долго едем по бесконечным равнинам, засаженным виноградниками и засеянным злаками, которые только начинают всходить.

Но вдруг дорога, великолепная дорога, построенная инженерным ведомством уже после установления французского протектората, разом обрывается. Последними дождями смыло мост, который был слишком мал, чтобы пропустить массы воды, хлынувшей с гор. Мы с великим трудом спускаемся в овраг, и коляска, поднявшись на другую его сторону, снова катит по прекрасной

дороге, одной из главных артерий Туниса, выражаясь официальным языком. Мы едем рысью еще несколько километров, пока не встречается еще один маленький мост, тоже не выдержавший напора воды. Дальше, наоборот, уцелел только мост: стоит невредимо, какой-то крошечной триумфальной аркой, — а дорога, размытая с обеих сторон, превращена в две пропасти, окружающие эту новехонькую руину.

Около полудня мы видим перед собой какое-то странное сооружение. На краю дороги, почти уже исчезнувшей, появляется целая группа плотно слившихся домиков немногим выше человеческого роста, перекрытых непрерывным рядом сводов, одни из которых несколько возвышаются над другими и придают всему этому селению сходство со скопищем гробниц. Вокруг бегают ощетинившиеся белые собаки, встречая нас громким лаем.

Эта деревушка, основанная андалузским вождем-магометанином Мохаммедом Горомбали, изгнанным из Испании Изабеллой Католической, называется «Горомбалия».

Здесь мы завтракаем и едем дальше. Повсюду в отдалении можно разглядеть в бинокль развалины римских городов. Сперва Вико Аурелиано,

далее более значительный Сиаго, в котором сохранились византийские и арабские постройки. Но вот прекрасная дорога, главная артерия Туниса, превращается в сплошные ужаснейшие ухабы. Дождевая вода изрыла ее, размыла и разрушила. Мосты или провалились и представляют собой лишь груду камней на дне оврага, или уцелели, но вода, пренебрегая ими, проложила себе путь в другом месте и прорезала в насыпи инженерного ведомства траншеи метров пятьдесят шириной.

Отчего эти повреждения и развалины? Все тут понятно с первого взгляда даже ребенку. Эти мостики, к тому же слишком узкие, оказываются ниже уровня воды, как только наступают дожди. Одни из них, затопленные потоком и загроможденные сучьями, которые он несет с собой, бывают просто смыты, а под другими мостами, расположенными не по обычному его пути, капризный поток не желает проходить и течет, назло инженерам, по старому руслу. Эта дорога от Туниса до Кайруана производит потрясающее впечатление. Она не только не помогает передвижению людей и экипажей, но делает его просто невозможным, создавая на пути бесчисленные опасности. Старую арабскую дорогу, которая была вполне хороша, уничтожили и

заменили рядом рытвин, разрушенных арок, бугров и ям. Работы еще не закончены, а уже приходится все перестраивать заново. После каждого дождя снова принимаются за работу, не желая сознаться, не желая понять, что придется вечно восстанавливать эту цепь рушащихся мостов. Мост в Энфидавиле перестраивался два раза, но его только что снесло опять. Мост Уэд-эль-Хаммам разрушен уже в четвертый раз. Это какие-то плавучие, ныряющие, кувыркающиеся мосты. Одни лишь старые арабские мосты стоят прочно.

Сначала сердишься, так как коляска вынуждена спускаться в почти непроходимые овраги, где раз десять за час рискуешь опрокинуться, потом начинаешь смеяться, как над неподражаемой шуткой. Чтобы избежать этих опасных мостов, приходится делать длиннейшие объезды, ехать на север, возвращаться на юг, поворачивать на восток и снова направляться на запад. Бедные туземцы вынуждены были пробить себе топором, киркой и косарем новый путь через заросли каменного дуба, туи, мастикового дерева, вереска и алепской сосны, так как старый путь нами разрушен.

Вскоре мелкая поросль исчезает и впереди простирается лишь волнистая равнина, изборож-

денная рытвинами, в которых кое-где виднеются белые кости скелета животного с выдающимися ребрами или падаль, наполовину съеденная хищными птицами и собаками. За пятнадцать месяцев на эту землю не упало ни единой капли дождя, и половина животных околели здесь от голода. Их трупы, рассеянные повсюду, отравляют воздух и придают этим равнинам вид бесплодной пустыни, сожженной солнцем и опустошенной чумой. Одни лишь собаки жирны: они откормились этим разлагающимся мясом. Нередко можно видеть, как они вдвоем или втроем с остервенением терзают гнилую тушу: упершись лапами, тянут к себе длинную ногу верблюда или короткую ногу осла, раздирают грудь лошади или копаются в брюхе коровы. Видно издали, как они, ощетинившись, бродят в поисках падали, обратив нос по ветру, вытянув острые морды.

Трудно себе представить, что эта почва, которую в течение двух лет жгло беспощадное солнце и целый месяц затопляли проливные дожди, превратится к марту и апрелю в бесконечную степь, поросшую травой в рост человека и бесчисленными цветами, каких не встретишь в наших садах. Каждый год, когда идут дожди, вся область Туниса переходит на несколько месяцев от самой

ужасной засухи к самому бурному плодородию. Из Сахары, лишенной последней травинки, она внезапно, как по волшебству, чуть ли не в несколько дней превращается в буйно-зеленую Нормандию, опьяневшую от зноя, где посевы наливаются таким богатым соком, что прямо на глазах выходят из земли, растут, желтеют и вызревают.

Эта равнина местами обрабатывается арабами чрезвычайно оригинальным способом.

Они живут либо в белеющих вдали деревнях, либо в гурби — шалашах, построенных из веток, либо в бурых остроконечных палатках, которые, подобно огромным грибам, прячутся в сухом кустарнике или в зарослях кактусов. Если последний урожай был обилен, арабы рано приготовляют пашню, но если засуха довела их до голода, то обычно выжидают первых дождей, прежде чем решиться высеять последнее зерно или испросить посевную ссуду у правительства, которое дает ее довольно легко. Когда же проливные осенние дожди размочат почву, арабы отправляются к каиду, в руках которого сосредоточены все плодородные земли, или к новому землевладельцу-европейцу, который часто сдает землю по более дорогой цене, но не обворовывает

их и разрешает все споры более справедливо и, конечно, неподкупно, указывают выбранный ими участок, обозначают границы, снимают его в аренду на один сезон и принимаются за обработку.

Тогда можно наблюдать удивительное зрелище! Всякий раз, как, покинув бесплодные и каменистые районы, вы вступаете в плодородную местность, в отдалении показываются неправдоподобные силуэты верблюдов, запряженных в плуги. Высокое фантастическое животное тащит своим медленным шагом жиденькое деревянное орудие, которое подталкивает сзади араб, одетый во что-то вроде рубахи. Вскоре эти странные группы увеличиваются числом, потому что вы приближаетесь к области, которая всех привлекает. Они движутся взад и вперед, вкривь и вкось по всей равнине, эти невыразимые силуэты животного, орудия и человека, причем все эти три составных элемента словно спаяны между собой, образуя единое апокалиптическое, забавное в своей торжественности существо.

Иногда верблюда заменяет корова, осел и даже женщина. Однажды я видел женщину, запряженную в паре с осликом: она тащила тяжесть не хуже, чем животное, а мужчина подталкивал

сзади плуг, подгоняя эту жалкую упряжку.

Борозда, которую проводит араб, не так красива, глубока и пряма, как у европейского пахаря; это зубчатая линия, петляющая как попало по поверхности земли, вокруг кустиков африканского шиповника. Небрежный землепашец не остановится, не нагнется, чтобы выполоть сорняк на своем пути. Он старательно обходит его, оберегает, заключая в кривые извилины своей пахоты, как нечто драгоценное, как нечто священное. И поэтому поля покрыты здесь кустиками, иные из которых так малы, что вырвать их рукой ничего не стоит. Один вид этих посевов, представляющих смесь злаков и сорняка, под конец так раздражает, что хочется взять мотыгу и прополоть эти поля, где среди кустов дикого шиповника движется фантастическая тройка: верблюд, плуг и араб.

В этом спокойном равнодушии, в этом уважении к растению, выросшему на божьей земле, мы снова встречаемся с фаталистической душой жителя Востока. Раз оно здесь выросло, это растение, на то, несомненно, была воля Господа. Зачем разрушать и уничтожать дело его рук? Не лучше ли свернуть в сторону и обойти сорняк? Если он разрастется настолько, что заполонит весь уча-

сток, разве нет другой земли, подальше? Зачем брать на себя этот труд, делать лишнее движение, лишнее усилие, увеличивать неизбежную работу лишней затратой сил, как бы ничтожна она ни была?

У нас крестьянин, относящийся более ревниво к своей земле, чем к жене, гневно набросился бы с мотыгой в руках на врага, выросшего на его поле, и без устали до полной победы размашисто бил бы, как дровосек, по цепким корням, глубоко проникшим в почву.

А здесь — какое до этого дело арабам? Никогда они не уберут попавшегося им на пашне камня — и его обойдут плугом. Некоторые поля один человек мог бы за час очистить от камней, лежащих на поверхности, из-за чего плуг то и дело искривляет свой путь. Но поля никогда не будут очищены. Камень лежит, и пусть лежит. На то Божья воля!

Кочевники, когда заканчивают посев на избранных ими участках, уходят в другие места искать пастбищ для своих стад, оставляя для охраны посевов только одну семью.

Сейчас мы проезжаем по огромному, в сто сорок тысяч гектаров, поместью Энфида, которое принадлежит французам. Покупка этого огромного

владения, проданного генералом Хайр эд-Дином, бывшим министром бея, явилась одним из решающих факторов французского влияния в Тунисе.

Забавны и характерны обстоятельства, сопровождавшие эту покупку. Когда французские капиталисты и генерал договорились относительно цены, обе стороны отправились к кади для составления купчей. Но в тунисском законодательстве имеется специальное постановление, предоставляющее владельцам участков, смежных с продаваемой землей, преимущественное право приобретения ее по той же цене.

У нас под «той же ценой» разумеется равная сумма денег в любой ходячей монете; между тем восточный кодекс, который всегда оставляет лазейки для сутяжничества, требует, чтобы цена была уплачена соседом теми же денежными знаками, тем же количеством одинаковых по ценности процентных бумаг, банковских билетов одинакового достоинства, золотых, серебряных или медных монет. И наконец, дабы в некоторых случаях сделать эту трудную задачу совершенно неразрешимой, закон предоставляет кади право позволить первому покупателю добавлять к обусловленной цене горсть мелких монет неопределенного, а следовательно, и неизвестно-

го, достоинства, что лишает соседей возможности представить совершенно тождественную сумму денег.

Ввиду протеста одного еврея, г-на Леви, владельца соседнего с Энфидой поместья, французы просили у кади разрешения добавить к условленной цене эту горсть мелких монет, в чем им, однако, было отказано.

Но мусульманское законодательство изобилует всяческими уловками; найден был другой прием. Решено было купить этот огромный земельный массив — сто сорок тысяч гектаров, — исключив из него узкую ленту в метр шириной по всей его периферии. Таким образом, участок не граничил больше ни с одним из прежних соседей, и Франко-Африканской компании удалось приобрести Энфиду, вопреки стараниям ее врагов и министерства бея.

Компания произвела огромные мелиорационные работы на всех плодородных частях Энфиды, насадила виноградники, деревья, основала поселки и разбила земли на равные участки по десять гектаров каждый, чтобы арендатор-араб имел возможность выбирать и указывать облюбованный им участок без всяких недоразумений.

Нам придется ехать по этой тунисской провин-

ции в течение двух дней, прежде чем достигнем противоположного ее края. С некоторого времени дорога из простой тропы, извивавшейся среди кустов крушины, стала вполне проезжей, и мы уже радовались, что нам удастся засветло добраться до Бу-Фиша, где собирались ночевать, как вдруг увидели целую многоплеменную армию рабочих, которая вместо вполне сносной дороги сооружала дорогу французскую, чреватую бесчисленными опасностями; нам снова пришлось ехать шагом. Удивительны эти рабочие! Толстогубый негр с выпуклыми белками глаз, с ослепительными зубами работает киркой возле араба с тонким профилем, волосатого испанца, марокканца, мавра, мальтийца, землекопа-француза, неведомо как и почему попавших в эту страну; тут и греки, и турки — все типы левантинцев; можно себе представить, каков уровень нравственности, честности и дружелюбия в этой разношерстной орде!

Часов около трех мы подъезжаем к самому обширному караван-сараю, какой мне доводилось когда-либо встречать. Это целый город, или, вернее, деревня, заключенная в единую ограду, опоясывающую три последовательно расположенных огромных двора, где в маленьких, как

стойла, чуланах размещены люди — хлебопеки, сапожники, разного рода торговцы, — а под арками — животные. Несколько чистых келий с кроватями и циновками предназначены для знатных путешественников.

На стене террасы сидят два белых, серебристых, блестящих голубя и глядят на нас красными глазами, сверкающими, как рубины.

Лошадей напоили. Мы снова пускаемся в путь.

Дорога несколько приближается к морю, и мы видим на горизонте синеватую его полосу. На конце мыса появляется город, прямая линия которого, ослепительно блестящая в лучах заходящего солнца, словно бежит по воде. Это Хаммамет, который при римлянах назывался Пут-Пут. Вдали на равнине перед нами возвышаются округлые развалины, которые благодаря миражу кажутся огромными. Это опять римская гробница высотой всего десять метров, известная под названием «Карс-эль-Менара».

Наступает вечер. Небо над нашей головой синее, но перед нами простирается густая фиолетовая туча, в которую заходит солнце. Ниже этого слоя облаков, на горизонте, тянется над морем узкая розовая полоса, совершенно прямая и правильная, которая с минуты на минуту, по мере

того как к ней спускается невидимое светило, становится все ярче и ярче. Птицы проносятся мимо нас, тяжело и медленно взмахивая крыльями; это, кажется, сарычи. Я глубоко ощущаю наступление вечера; это чувство с необычайной силой проникает в душу, в сердце, во все тело на этой дикой равнине, которая тянется до самого Кайруана, находящегося на расстоянии двух дней пути. Такова же, наверное, бывает и русская степь в вечерние сумерки. Навстречу нам попадаются три человека в бурнусах. Издали я принимаю их за негров — до того черна и так лоснится их кожа, — потом узнаю арабский тип лица. Это люди из Суфа, любопытного оазиса, наполовину погребенного в песках между шоттами и Тугуртом. Вскоре спускается ночь. Лошади идут шагом. Но вдруг во мраке вырастает белая стена. Это северная контора Энфиды, бордж Бу-Фиша, своего рода квадратная крепость, защищенная от внезапного налета арабов глухими стенами, с одной лишь железной дверью. Нас ждут: жена управляющего, г-жа Моро, приготовила нам превосходный обед. Вопреки инженерному ведомству, мы все же проехали восемьдесят километров.

12 декабря

На рассвете мы снова пускаемся в путь. Заря

розовая, густо-розовая. Как бы выразиться? Лососево-розовая, сказал бы я, будь этот тон поярче. В самом деле, у нас не хватает слов, чтобы вызвать перед взором все сочетания тонов. Наш глаз, глаз современного человека, умеет улавливать бесконечную гамму оттенков: различает все соединения красок, все их переходы, все изменения, обусловленные посторонними влияниями, светом, тенью, часом дня, — но для того, чтобы выразить все эти тончайшие цветовые оттенки, у нас имеется всего несколько слов, тех простых слов, которыми пользовались наши отцы, рассказывая о редких впечатлениях своих неискушенных глаз.

Взгляните на современные ткани. Сколько здесь невыразимых оттенков между тонами основными! Для того чтобы определить их, приходится прибегать к сравнениям, всегда неудовлетворительным.

То, что видел в это утро за какие-нибудь несколько минут, я не сумею передать глаголами, существительными и прилагательными.

Мы еще ближе подъезжаем к морю, или, вернее, к обширному водоему, соединенному с морем. В бинокль я замечаю на воде фламинго и выхожу из экипажа, чтобы подползти к ним сквозь кусты

и поглядеть на них вблизи.

Я приближаюсь и вижу их лучше. Одни плавают, другие стоят на своих длинных ходулях. Это белые и красные пятна, плавающие по воде, или, скорее, огромные цветы, выросшие на тонком пурпурном стебле, цветы, скучившиеся сотнями то на берегу, то в воде. Можно подумать, что это клумбы алых лилий, откуда, как из цветочного венчика, подымаются птичьи головы в кроваво-красных пятнах на тонкой изогнутой шее.

Я подхожу еще ближе, и вдруг ближайшая стая замечает или чует меня и обращается в бегство. Это похоже на волшебный полет цветника, клумбы которого одна за другой взлетают к небу. Я долго слежу в бинокль за розовыми и белыми облаками, которые уносятся в сторону моря и словно тащат за собой кроваво-красные лапки, тонкие, как срезанные ветки.

Этот большой водоем в древности служил убежищем флоту жителей Афродизиума, грозных пиратов, которые устраивали здесь засады и укрывались от преследования.

В отдалении виднеются развалины этого города, где останавливался Велизарий, когда шел походом на Карфаген. Там еще можно видеть триумфальную арку, развалины храма Венеры и

огромной крепости.

На одной лишь территории Энфиды встречаются остатки семнадцати римских городов. Там на берегу лежит Гергла — некогда богатая Ауреа Целия императора Антонина, и если бы, вместо того чтобы свернуть к Кайруану, мы продолжали двигаться прямо, то к вечеру третьего дня пути увидели бы на совершенно пустынной равнине амфитеатр Эль-Джем, равный по размерам римскому Колизею, — гигантские развалины здания, вмещавшего до восьмидесяти тысяч зрителей.

Вокруг этого великана, который сохранился бы в полной неприкосновенности, если бы тунисский бей Хамуда не подверг его пушечному обстрелу, чтобы выбить оттуда арабов, не желавших платить подати, найдены были кое-где следы обширного и роскошного города: огромные цистерны и гигантская коринфская капитель самого чистого стиля, высеченная из целой глыбы белого мрамора.

Какова история этого города — Тисдриты Плиния, Тисдра Птоломея, — города, имя которого упоминается всего лишь один или два раза у историков? Чего недоставало ему, такому большому, людному, богатому, чтобы прославиться? Почти ничего… Только Гомера!

Чем была бы Троя без Гомера? Кто знал бы об Итаке?

В этой стране наглядно познаешь, что такое история, и особенно, что такое Библия. Здесь постигаешь, что патриархи и все легендарные лица, такие великие в книгах, такие внушительные в нашем воображении, были всего-навсего бедняки, бродившие среди первобытных племен, как бродят эти арабы, серьезные и простые, еще сохранившие душу древних и носившие одежду древности. Но только у патриархов были поэты-историки, воспевшие их жизнь.

По меньшей мере раз в день под оливковым деревом или на опушке кактусовых зарослей мы видим Бегство в Египет; невольно улыбаешься, когда вспоминаешь, что наши галантные живописцы посадили Деву Марию на осла, на котором, конечно, сидел Иосиф, ее муж, в то время как она следовала за ним тяжелым шагом, немного согнувшись, и несла на спине в сером от пыли бурнусе маленькое, круглое, как шарик, тельце Младенца Иисуса.

Но кого мы встречаем на каждом шагу, у каждого колодца — это Ревекку. Она одета в синее шерстяное платье, великолепно драпирующее ее тело; на щиколотках у нее серебряные обручи,

а на груди ожерелье из блях того же металла, соединенных цепочками. Иногда при нашем приближении она закрывается, иногда же, если красива, показывает нам свежее загорелое лицо, глядя на нас огромными черными глазами. Это подлинно библейская девушка, та, о которой сказано в «Песни песней» «Nigra sum sed formosa»[40], — та, которая, держа на голове сосуд, полный воды, спокойно ступая по каменистой дороге упругими смуглыми ногами, слегка покачивая бедрами и гибким станом, некогда соблазняла небесных ангелов, так же как теперь соблазняет нас, далеко не ангелов.

В Алжире и в алжирской Сахаре все женщины, как городские, так и кочевых племен, одеты в белое. В Тунисской же области, напротив, горожанки с головы до ног закутаны в черные покрывала, которые превращают их в какие-то странные видения на сияющих улицах городков юга, а сельские жительницы носят ярко-синие платья, очень живописные и изящные, придающие им еще более библейский характер.

Теперь мы пересекаем равнину, на которой повсюду видны следы человеческого труда, так как

---

[40] Примечания: 40
Я черна, но прекрасна *(лат.)*.

мы приближаемся к центру Энфиды, переименованному в Энфидавиль из прежнего Дар-эль-Бея.

Деревья! Вот чудеса! Они уже высокие, хотя посажены всего четыре года назад; это свидетельствует об удивительном богатстве здешней почвы и о тех результатах, каких можно достигнуть основательной и разумной ее обработкой. Дальше среди деревьев показываются большие дома, над которыми реет французский флаг. Это жилище главного управляющего и ядро будущего города. Вокруг основных построек уже возник поселок, и каждый понедельник здесь происходит базар, где заключаются весьма крупные сделки. Арабы толпами приходят сюда из самых отдаленных местностей.

Нет ничего занимательнее организации этой огромной территории, где интересы туземцев соблюдаются не в меньшей степени, чем интересы европейцев. Она может служить образцом аграрного управления для стран со смешанным населением, где самые различные и противоположные нравы требуют весьма тонко предусмотренного законодательства.

Позавтракав в этой столице Энфиды, мы отправляемся осматривать чрезвычайно любопытную деревню, прилепившуюся на скале, в пяти кило-

метрах отсюда.

Сначала мы проезжаем через виноградники, потом возвращаемся на ланду, на бесконечные пространства желтой земли, поросшей кое-где лишь жидкими кустиками крушины.

Уровень подпочвенной воды находится на глубине двух, трех или пяти метров во всех этих равнинах, которые с небольшой затратой труда могли бы быть превращены в огромные оливковые рощи.

Теперь же на них встречаются лишь там и сям небольшие заросли кактусов, не больше наших фруктовых садов.

Вот каково происхождение этих зарослей.

В Тунисской области существует чрезвычайно любопытный обычай, который называется правом оживления почвы: согласно ему каждый араб может захватить необработанную землю и чем-нибудь засадить ее, если в настоящую минуту нет налицо хозяина, который этому бы воспротивился.

И вот араб, облюбовав поле, показавшееся ему плодородным, сажает на нем оливковые деревья или чаще всего кактусы, которые неправильно называет берберийскими фигами, и в силу одного этого приобретает право ежегодно пользоваться

половиной урожая до тех пор, пока существует посаженное им дерево. Другая половина принадлежит собственнику земли, которому остается лишь следить за продажей урожая, чтобы получить причитающуюся ему долю доходов.

Араб-захватчик должен заботиться об этом поле, содержать его в порядке, охранять от воров, ограждать от всякого вреда, как если бы оно принадлежало ему самому. Каждый год он продает плоды с аукциона, чтобы дележ был правильный. Впрочем, почти всегда он приобретает их сам, выплачивая действительному собственнику земли своего рода арендную плату, точно не установленную и пропорциональную стоимости урожая.

Эти кактусовые рощи имеют фантастический вид. Их скрюченные стволы походят на тела драконов, на лапы чудовищ со вздыбленной и покрытой колючками чешуей. Когда встречаешь такое растение ночью, при лунном свете, кажется, что попал в страну кошмаров.

Подножие крутой скалы, на которой стоит селение Так-Руна, покрыто этими высокими дьявольскими растениями. Пробираешься словно по дантовскому лесу. Кажется, что чудовища вот-вот зашевелятся, замашут широкими круглыми

листьями, толстыми и покрытыми длинными иглами, что схватят вас, сожмут и растерзают своими страшными когтями. Трудно вообразить себе что-нибудь более жуткое, чем этот хаос огромных камней и кактусов, охраняющий подножие горы.

Вдруг посреди этих скал и свирепых растений мы видим колодезь, окруженный женщинами, пришедшими сюда за водой. Серебряные украшения их ног и шеи блестят на солнце. Увидев нас, они закрывают смуглые лица складками синей материи, в которую одеты, и, приставив ко лбу руку, пропускают нас, стараясь получше разглядеть.

Тропинка крута, едва проходима для наших мулов. Кактусы также карабкаются среди скал вдоль дороги. Они словно сопровождают, окружают, теснят нас, следуют за нами и обгоняют. Там, на высоте, в конце подъема, опять виднеется ослепительный купол куббы.

Вот и село: это груда развалин, полуобвалившихся стен, среди которых трудно отличить обитаемые лачуги от тех, которые уже заброшены. Остатки крепостной стены, еще сохранившиеся на севере и на западе, настолько подточены и грозят обвалом, что мы не решаемся к ним по-

дойти: малейшего толчка достаточно, чтобы они обрушились.

Вид сверху великолепен. На юге, востоке и западе бесконечная равнина, почти на всем протяжении омываемая морем, на севере — горы, голые, красные, зубчатые, как петушиный гребень. А там вдали Джебель-Загуан, царящий над всей страной.

Это последние горы, которые мы увидим до самого Кайруана.

Деревушка Так-Руна представляет собой своего рода арабскую крепость, защищенную от внезапных набегов. Слово «Так» — сокращение от «Таккеше», что означает «крепость». Главная обязанность жителей — ибо назвать это занятием нельзя — хранить зерно, сдаваемое им кочевниками после сбора урожая.

Вечером мы возвращаемся на ночлег в Энфидавиль.

13 декабря

Сначала мы едем посреди виноградников Франко-Африканской компании, затем достигаем безграничных равнин, где повсюду бродят незабываемые видения, состоящие из верблюда, плуга и араба. Дальше почва становится бесплодной, и я вижу в бинокль расстилающуюся перед

нами бесконечную пустыню, полную огромных, торчком стоящих камней; они со всех сторон — и справа и слева, на сколько хватает глаз. Приблизившись, мы видим, что перед нами дольмены. Это некрополь невообразимых размеров: ведь он занимает сорок гектаров! Каждая могила состоит из четырех плоских камней. Три камня, поставленные вертикально, образуют заднюю и две боковые стороны; четвертый камень, положенный сверху, служит крышей. Долгое время все раскопки, производимые управляющим Энфидой для обнаружения склепов под этими мегалитическими памятниками, не имели успеха. Полтора-два года назад г-ну Ами, хранителю Парижского этнографического музея, удалось после длительных поисков обнаружить вход в эти подземные гробницы, весьма искусно скрытый в толстом слое камня. Внутри он нашел кости и глиняные сосуды — свидетельство, что это берберские гробницы. С другой стороны, г-н Манджавакки, управляющий Энфидой, обнаружил неподалеку почти исчезнувшие следы обширного берберского города. Каков же был этот город, покрывавший своими мертвецами площадь в сорок гектаров?

Впрочем, часто поражаешься тому простран-

ству, какое восточные народы отводят в этом мире своим предкам. Кладбища их огромны, бесчисленны. Они встречаются повсюду. Могилы в Каире занимают больше места, чем дома. У нас, наоборот, земля дорога и с ушедшими в вечность не считаются. Их укладывают одного вплотную с другим, одного над другим, одного к другому в четырех стенах какого-нибудь закоулка, в городском предместье. Мраморные плиты и деревянные кресты прикрывают поколения, погребенные за целые века на таком кладбище. Это навозные кучи из мертвецов возле любого европейского города. Им едва дают время утратить свою форму в земле, уже удобренной человеческой гнилью, едва дают время смешать свою разложившуюся плоть с этой трупной глиной, но так как все время поступают новые мертвецы, а рядом на соседних огородах выращиваются овощи для живых, эту почву, пожирающую людей, взрывают мотыгами, выбирают из нее попадающиеся кости, черепа, руки, ноги, ребра мужчин, женщин, детей, уже забытых, перемешавшихся между собой, сваливают их кучей в канаву и отводят мертвецам новым, мертвецам, имя которых еще не забыто, место, украденное у тех, которых уже никто не знает, которых поглотило целиком

небытие; ведь в цивилизованном обществе надо быть бережливым.

По выходе из этого древнего необъятного кладбища мы видим белый дом. Это Эль-Мензель, южная контора Энфиды, где кончается наш дневной переход.

Мы долго засиделись после обеда, увлекшись беседой, и нам пришла охота немного прогуляться, прежде чем лечь спать. Яркая луна озаряла степь, свет ее, проникая между лапчатыми листьями огромных кактусов, росших на расстоянии нескольких метров от нас, придавал им сверхъестественный вид стада адских животных, которые вдруг лопнули и раскидали во все стороны круглые части своих безобразных тел.

Мы остановились поглядеть на них, как вдруг слух наш поразил какой-то отдаленный непрерывный могучий гул. То были бесчисленные пронзительные и низкие голоса всевозможных тембров, свист, возгласы, призывные крики, невнятный и страшный рокот обезумевшей толпы, бесчисленной нереальной толпы, которая сражается неизвестно где, не то в небесах, не то на земле. Напрягая слух, поворачиваясь во все стороны, мы наконец убедились, что эти звуки доносятся с юга. Тут кто-то воскликнул:

— Да это птицы с озера Тритона!

На следующий день нам действительно пришлось проезжать мимо этого озера площадью десять-тринадцать тысяч гектаров, которое арабы называют «Эль-Кельбия» (сука); некоторые современные географы видят в нем остатки древнего внутреннего моря Африки, местоположением которого до сих пор считали окрестности шоттов Феджедж, Р'арса и Мельр'ир.

Действительно, это было крикливое племя водяных птиц, расположившееся, как разноплеменная армия, на берегах озера, отдаленного от нас на шестнадцать километров. Они-то и подняли ночью весь этот гам — тысячи птиц разных пород, разной величины, разной окраски, начиная с плосконосой утки и кончая длинноклювым аистом. Там можно видеть целые армии фламинго и журавлей, целые эскадры турпанов и морских рыболовов, целые полчища нырков, зуйков, бекасов и пресноводных чаек. В мягком свете луны все эти птицы, радуясь чудной ночи, вдали от человека, который еще не построил себе жилища близ их обширного водяного царства, резвятся, верещат на все голоса, наверно, переговариваются на своем птичьем языке и наполняют ясное небо пронзительными крика-

ми, на которые откликается только далекий лай арабских собак да тявканье шакалов.

14 декабря

Проехав еще несколько равнин, местами распаханных туземцами, но большей частью не тронутых плугом, хотя и вполне пригодных для обработки, мы замечаем слева длинную водную поверхность озера Тритона. Мы постепенно к нему приближаемся, и нам кажется, что на нем виднеются острова, множество больших островов, то черных, то белых. Это целые птичьи племена, сплошными массами плавающие на его поверхности. Берегом прогуливаются по двое, по трое, ступая на длинных ногах, огромные журавли. Другие виднеются на равнине между кустами аристотелии, над которыми торчат их настороженные головы.

Это озеро, глубина которого не превышает шести-восьми метров, совершенно пересохло прошлым летом после пятнадцатимесячной засухи, которой не запомнят тунисские старожилы. Однако, несмотря на значительную площадь озера, оно заполнилось осенью в один день, так как в него стекает вся вода от дождей, выпадающих в горах. Залог великого будущего богатства этих земель обусловлен тем, что здесь нет, как в Алжире,

таких рек, которые часто пересыхают, но имеют определенное русло, куда собирается небесная влага; напротив, эти земли покрыты едва заметными рытвинами, где достаточно малейшей преграды, чтобы остановить поток воды. А так как уровень их повсюду одинаков, то каждый ливень, выпавший в далеких горах, разливается по всей равнине и превращает ее на несколько дней или на несколько часов в огромное болото, оставляя при каждом из этих наводнений новый слой ила, удобряющий и оплодотворяющий почву, как в Египте, но только без Нила.

Теперь мы достигли беспредельных ланд, покрытых, как проказой, небольшим мясистым растением цвета медянки, которое очень любят верблюды. Поэтому повсюду, куда ни кинешь взгляд, пасутся огромные стада дромадеров. Когда мы проезжаем среди них, они оглядывают нас большими блестящими глазами, и нам кажется, что мы переживаем первые дни мироздания, когда творец в нерешительности, словно желая проверить ценность и результаты своего сомнительного творчества, бросал пригоршнями на землю безобразных животных, которых он впоследствии мало-помалу уничтожил, оставив только некоторые первоначальные типы на этом

заброшенном материке, в Африке, где сохранились среди песков забытые им жираф, страус и дромадер.

Какая забавная и милая картина: самка верблюда только что разрешилась от бремени и возвращается к становищу в сопровождении своего верблюжонка, причем его подгоняют прутьями два арабских мальчугана, головы которых не доходят до его крупа. Он уже большой; на его длинных ногах посажено крошечное тельце, заканчивающееся птичьей шеей и удивленной головкой, а глаза всего лишь четверть часа как смотрят на все эти новые вещи: на дневной свет, на ланду, на большое животное, за которым он бежит. Впрочем, он прекрасно, без всяких затруднений и колебаний ступает по этой неровной почве и уже начинает обнюхивать материнское вымя: ведь это животное, которому всего несколько минут от роду, для того и создано природой таким длинноногим, чтобы могло дотянуться до материнского брюха.

А вот и другие, которым исполнилось несколько дней или несколько месяцев, и совсем большие, со взъерошенной шерстью; одни сплошь желтые, другие светло-серые, третьи черноватые. Окружающая нас природа становится настолько

странной, что я ничего подобного в жизни не видел. Справа и слева из земли торчат камни, выстроившиеся рядами, как солдаты, с наклоном в одну и ту же сторону по направлению к Кайруану, пока еще невидимому. Все эти камни, стоящие ровными шеренгами на расстоянии нескольких сот шагов между ними, словно выступили в поход побатальонно. Так они усеивают несколько километров. Между ними нет ничего, кроме песка с примесью глины. Это собрание камней — одно из любопытнейших на земле. У него, впрочем, есть и своя легенда.

Когда Сиди-Окба со своими всадниками прибыл в эту мрачную пустыню, где теперь лежат развалины священного города, он разбил лагерь в этом уединенном месте. Его товарищи, удивленные тем, что он здесь остановился, советовали ему удалиться, но он ответил:

— Мы должны здесь остаться и даже основать город, ибо такова Божья воля.

На это они возразили, что здесь нет ни питьевой воды, ни дерева, ни камня для стройки.

Сиди-Окба велел им замолчать и сказал:

— Бог об этом позаботится.

На следующее утро ему доложили, что собачонка нашла воду. Стали рыть землю в том месте

и на глубине шестнадцати метров обнаружили ключ, питающий теперь большой, покрытый куполообразным навесом колодец, вокруг которого целый день ходит верблюд, приводя в движение рычаг насоса.

На следующий день арабы, посланные на разведку, сообщили Сиди-Окбе, что на склонах соседних гор заметили леса.

И наконец, на третий день выехавшие с утра всадники прискакали с криками, что только что встретили камни, целое войско камней, которое идет походом и, несомненно, послан Богом.

Несмотря на это чудо, Кайруан почти целиком построен из кирпича.

Но вот равнина становится болотом желтой грязи; лошади спотыкаются, тянут, не продвигаясь вперед, выбиваются из сил и падают, уходят до самых колен в этот вязкий ил. Колеса тонут в нем по ступицу. Небо заволокло тучами, моросит мелкий дождик, затуманивая горизонт. Дорога становится то лучше, когда мы взбираемся на одну из семи возвышенностей под названием «Холмы Кайруана», то снова превращается в отвратительную клоаку, когда мы спускаемся в разделяющие их низины. Вдруг коляска остановилась: одно из задних колес увязло в песке.

Приходится вылезать из экипажа и идти пешком. И вот мы бредем под дождем, исхлестанные бешеным ветром, и подымаем при каждом шаге огромные комья глины, облепляющей обувь; это затрудняет путь, который становится просто изнурительным; мы проваливаемся порою в ямы, полные жидкой грязи, задыхаемся, проклинаем неприветливую землю и совершаем настоящее паломничество к священному граду; оно, быть может, зачтется нам на том свете, если паче чаяния бог пророка окажется истинным богом.

Известно, что для правоверных семь паломничеств в Кайруан равняются одному паломничеству в Мекку.

После того как мы таким утомительным способом месим грязь на протяжении одного-двух километров, перед нами в отдалении вырастает среди тумана тонкая остроконечная башня, едва заметная, лишь немного гуще окрашенная, чем окружающий ее туман, и теряющаяся верхушкой в облаках. Это смутное и волнующее видение постепенно выступает более отчетливо, принимает более ясную форму и превращается наконец в высокий минарет, уходящий в небо; ничего другого не видно ни вокруг, ни внизу: ни города, ни стен, ни куполов мечетей. Дождь хлещет нам в лицо,

и мы медленно идем к этому сероватому маяку, выросшему перед нами, как башня-призрак, которая вот-вот растает и сольется с туманом, откуда она только что возникла.

Но вот вправо от нас вырисовывается здание, увенчанное куполами — это так называемая мечеть Брадобрея, — и наконец показывается самый город — расплывчатая, неопределенная масса за пеленою дождя; минарет кажется теперь уже не таким высоким, словно он ушел в землю, после того как поднялся в поднебесье, чтобы указать нам путь к городу.

Боже, какой это печальный город, затерянный в пустыне, в одиноком, бесплодном и голом месте! На узких, извилистых улицах арабы, укрывшись в лавочках торговцев, смотрят на нас, когда мы проходим мимо, а встречная женщина — черное привидение на фоне пожелтевших от дождя стен — походит на смерть, прогуливающуюся по городу.

Нам оказывает гостеприимство тунисский губернатор Кайруана Си-Мохаммед-эль-Марабут, генерал бея, благороднейший и благочестивейший мусульманин, трижды совершивший паломничество в Мекку. С изысканной и важной любезностью проводит он нас в комнаты, пред-

назначенные для иностранных гостей, где мы находим большие диваны и дивные арабские покрывала, в которые закутываются, ложась спать. Из почтения к нам один из его сыновей собственноручно приносит все предметы, в которых мы нуждаемся.

В тот же вечер мы обедали у гражданского контролера и французского консула, где встретили радушный прием; было оживленно и весело, и это согрело и утешило нас после нашего плачевного прибытия.

15 декабря

Еще не рассвело, когда один из моих спутников разбудил меня. Мы сговорились пойти в мавританскую баню рано утром, до осмотра города.

Уличное движение уже началось, так как жители Востока привыкли вставать до зари, а между домами мы видим чудное небо, чистое и бледное, сулящее жару и солнечный свет.

Мы идем по одним улицам, затем по другим, минуем колодезь, где верблюд, привязанный под куполообразным навесом, без конца ходит по кругу, накачивая воду, и проникаем в темный дом с толстыми стенами, где сперва ничего не видно и где уже при входе захватывает дыхание от жаркого влажного воздуха.

Затем мы различаем арабов, дремлющих на циновках; хозяин заведения, после того как нам помогли раздеться, вводит нас в баню — нечто вроде черной сводчатой темницы, куда свет зарождающегося дня проникает сверху, через узкое окошко в своде, и где пол залит какой-то клейкой водой, идя по которой, на каждом шагу рискуешь поскользнуться и упасть.

Когда после всех операций массажа мы выходим на свежий воздух, нас ошеломляет и пьянит радость, потому что взошедшее солнце озаряет улицы и мы видим город, белый, как все арабские города, но еще более дикий, более характерный, более ярко запечатленный фанатизмом, поразительный своей явной бедностью, своим жалким, но гордым благородством, — священный град Кайруан.

Население его только что пережило страшный голод, и на всем лежит отпечаток нужды — кажется, даже на самих домах. Здесь, как в поселках Центральной Африки, торговцы, сидя по-турецки на земле, в лавчонках величиной с коробку, продают всевозможные нехитрые товары. Вот финики из Гафсы или из Суфа, слипшиеся в большие комья вязкого теста, от которого продавец, сидя на той же доске, отрывает пальцами нуж-

ный кусок. Вот овощи, пряности, выпечка; в суках — длинных сводчатых извилистых базарах — ткани, ковры, конская сбруя, украшенная золотым и серебряным шитьем, и тут же невообразимое количество сапожников, изготовляющих желтые кожаные туфли. До французской оккупации евреям не удавалось поселиться в этом недоступном для них городе. Сейчас они в Кайруане кишат и постепенно завладевают им. В их руках уже находятся драгоценные украшения женщин и купчие на часть домов, под которые они выдали ссуды и собственниками которых быстро становятся благодаря системе переписки долговых обязательств и быстрого роста суммы долга — системе, практикуемой ими с поразительной ловкостью и неукротимой алчностью.

Мы идем к мечети Джама-Кебир, или Сиди-Окба, высокий минарет которой господствует над городом и над пустыней, отделяющей его от остального мира. На повороте одной улицы мечеть внезапно появляется перед нами. Это обширное, тяжеловесное здание, поддерживаемое огромными контрфорсами, белая масса, грузная, внушительная, привлекающая своей необъяснимой и дикой красотой. При входе в мечеть прежде всего видишь великолепный двор, окруженный

двойной галереей, которую поддерживают два ряда изящных римских и романских колонн. Можно подумать, что вы попали во внутренний двор какого-то прекрасного итальянского монастыря.

Сама мечеть находится справа; свет в нее проникает из этого двора через семнадцать двустворчатых дверей, которые мы просим раскрыть настежь, прежде чем войти.

Во всем мире я знаю только три храма, которые вызывали во мне то же неожиданное и потрясающее волнение, какое я ощутил при посещении этого варварского и изумительного памятника: аббатство горы Сен-Мишель, собор Святого Марка в Венеции и Дворцовая капелла в Палермо.

Но там это продуманные, сознательно созданные, превосходные произведения великих архитекторов, уверенно творивших людей, несомненно благочестивых, но прежде всего художников, вдохновляемых любовью к линиям, к формам и к внешней красоте в той же, если не в большей мере, чем любовью к Богу. Здесь — дело иное. Здесь фанатический кочевой народ, едва способный построить простую стену, прибыв в страну, покрытую развалинами, оставленными его предшественниками, стал собирать все то,

что ему показалось самым красивым, и из этих обломков одного и того же стиля воздвиг в божественном вдохновении жилище для своего бога, жилище из кусков, отторгнутых от развалин города, но не менее совершенное и не менее великолепное, чем самые лучшие творения величайших зодчих.

Перед нами открывается храм неимоверных размеров, напоминающий священную рощу, ибо в нем сто восемьдесят колонн из оникса, порфира и мрамора поддерживают своды семнадцати нефов, соответствующих семнадцати дверям.

Взгляд останавливается, блуждает среди этого глубокого лабиринта стройных, круглых, безупречно изящных пилястров, все оттенки которых смешиваются и гармонически сочетаются между собой, а византийские капители африканской и восточной школ обнаруживают редкую тонкость работы и бесконечное разнообразие рисунка. Некоторые из них, на мой взгляд, — совершенство красоты. Наиболее оригинальная представляет пальму, согнутую порывом ветра.

По мере того как я иду вперед по этому божественному зданию, все колонны, кажется, перемещаются, кружатся вокруг меня и образуют все новые, разнообразные и правильные

фигуры.

В наших готических соборах главный эффект достигается нарочитой несоразмерностью высоты и ширины. Здесь же, наоборот, редкая гармоничность этого низкого храма достигается многочисленностью и пропорциональностью легких столбов, которые поддерживают здание, заполняют, заселяют, делают тем, что оно есть, создают его красоту и величие. Их красочное множество производит впечатление беспредельности, между тем как незначительная высота здания вызывает в душе чувство тяжести. Этот храм обширен, как мир, и в то же время вы чувствуете себя здесь подавленным могуществом божества.

Бог, вдохновивший творцов этого великолепного произведения искусства, — тот самый, который продиктовал Коран, но, конечно, не евангельский Бог. Его тонкая и сложная мораль скорее разливается вширь, чем поднимается ввысь, скорее поражает нас своим распространением, чем возвышенностью.

Повсюду в храме встречаются замечательные детали. Комната султана, входившего в мечеть через особую дверь, сделана из дерева, покрытого тончайшей резьбой, напоминающей ювелирную

работу.

Кафедра из резных панелей оригинального рисунка производит дивное впечатление, а мираб, указывающий направление к Мекке, представляет собой восхитительную нишу из окрашенного и позолоченного мрамора и отличается изяществом орнамента и стиля.

Возле этого мираба стоят две колонны — так близко одна к другой, что человек с трудом может протиснуться между ними. Арабы, которым это удается, по словам одних, излечиваются от ревматизма, по словам других, удостаиваются более возвышенных милостей.

Против средних дверей мечети — девятых — считая как с правой, так и с левой стороны, — на другом конце двора возвышается минарет. У него сто двадцать девять ступеней. Мы взбираемся по ним.

С этой высоты Кайруан, лежащий у наших ног, представляется шахматной доской, которую образуют глинобитные плоские крыши и вздымающиеся среди них со всех сторон блестящие плотные купола мечетей и кубб. Кругом необозримая желтая безбрежная пустыня, а около городских стен местами виднеются зеленые пятна кактусовых полей. Горизонт здесь бесконечно

пуст и печален и сильнее хватает за душу, чем сама Сахара.

По-видимому, прежде Кайруан был гораздо больше. До сих пор еще упоминают названия исчезнувших кварталов. Это Драа-эль-Теммар — холм продавцов фиников, Драа-эль-Уйба — холм весовщиков зерна, Драа-эль-Керруйя — холм торговцев пряностями, Драа-эль-Гатрания — холм торговцев дегтем, Дерб-эс-Месмар — квартал торговцев гвоздями.

Уединенно, за стенами города, на расстоянии около одного километра, стоит зауйя, или, вернее, мечеть Сиди-Сахаб; она издали привлекает взоры, и мы направляемся к ней.

Совсем не похожая на Джама-Кебир, откуда мы только что вышли, она отнюдь не величественна, но зато это самая изящная, самая красочная, самая нарядная мечеть и самый совершенный образчик декоративного арабского искусства, какой я когда-либо видел.

По лестнице из старинных фаянсовых изразцов восхитительного стиля вы подымаетесь в прихожую, пол и стены которой выложены такими же изразцами. Затем идет длинный узкий двор, окруженный галереей, арки которой в форме подков опираются на римские колонны; когда

вы попадаете на этот двор в яркий, безоблачный день, вас ослепляет солнце, широким золотым покровом застилающее все стены, выложенные фаянсовыми изразцами дивных тонов и бесконечного разнообразия рисунков. Обширный квадратный двор, куда вы затем проникаете, в свою очередь, весь украшен ими. Свет блестит, разливается и горит огнем на стенах этого эмалевого дворца, где под пылающим небом Сахары сверкают все узоры, все краски восточной керамики. Поверху бегут причудливые тончайшие арабески. Из этого волшебного двора открываются двери в святилище с гробницей спутника и брадобрея пророка, Сиди-Сахаба, до самой смерти хранившего на своей груди три волоска из его бороды.

Это святилище, украшенное симметричными узорами из белого и черного мрамора, вокруг которых обвиваются надписи, увешанное мягкими коврами и знаменами, показалось мне не таким красивым, не таким неожиданным и оригинальным, как те незабываемые дворы, через которые проходишь, прежде чем в него проникнуть.

Выходя из мечети, мы пересекаем третий двор, полный молодых людей. Это своего рода мусульманская семинария, школа фанатиков.

Все эти зауйи, которыми покрыта почва ислама, являются, так сказать, бесчисленными ячейками орденов и братств, которые разнятся друг от друга видами и формами благочестия правоверных.

В Кайруане зауйи очень многочисленны (я не говорю о мечетях, воздвигаемых исключительно в честь Аллаха); вот главные из них: Си-Мохаммед-Элуани; Сиди-Абд-эль-Кадер-эль-Джилани, величайшего и наиболее чтимого у магометан святого; Эт-Тиджани; Си-Хадид-эль-Хрангани; Сиди-Мохаммед бен-Айса из Мекнеса, в которой хранятся тамбурины, дарбуки, сабли, железные стрелы и другие орудия — необходимые принадлежности диких церемоний Айссауа.

Эти бесчисленные ордена и братства ислама, во многом напоминающие наши католические монашеские ордена, находятся под особым покровительством какого-нибудь чтимого марабута и связаны с пророком целой цепью благочестивых учителей, которых арабы называют «сельселят»; в начале этого столетия они получили особенное распространение и представляют самый грозный оплот магометанской религии против цивилизации и господства европейских народов.

В книге под заглавием «Марабуты и Хуан» г-н майор Ринн перечислил и описал их самым ис-

черпывающим образом.

В этой книге я нашел чрезвычайно любопытные данные об учении и деятельности этих союзов.

Каждый из них утверждает, что в нем одном сохранилось с полной неприкосновенностью послушание пяти заповедям пророка и что пророк указал ему единственный путь к единению с Аллахом, что и составляет цель всех религиозных стремлений мусульман.

Но хотя все эти братства и ордена претендуют на абсолютную ортодоксальность и чистоту учения, у них чрезвычайно разнообразные и отличные друг от друга обычаи, наставления и тенденции.

Одни образуют мощные благочестивые ассоциации, которыми руководят ученые богословы-аскеты, люди, действительно выдающиеся, теоретически глубоко образованные и опасные дипломаты в их сношениях с нами; они с редким искусством руководят этими школами, где преподается священная наука, возвышенная мораль и способы борьбы с европейцами. Другие организации представляют собой причудливое сборище фанатиков или шарлатанов и напоминают труппу духовных фокусников, то экзальтированных и

убежденных, то просто скоморохов, эксплуатирующих людскую глупость и благочестие.

Как я уже сказал, единственная цель всех усилий доброго мусульманина — тесное единение с богом. Различные мистические приемы ведут к этому совершенному состоянию, и каждый союз обладает своим особым методом тренировки. Как общее правило, эти методы приводят простого посвященного в состояние полного одурения, благодаря которому он становится слепым и покорным орудием в руках начальника.

Во главе каждого ордена стоит шейх — хозяин ордена: «В руках твоего шейха ты должен быть как труп в руках омывающих умерших. Повинуйся ему во всем, что он тебе прикажет, ибо его устами повелевает сам бог. Непослушанием ему ты навлечешь на себя божий гнев. Не забывай, что ты его раб и что ты ничего не должен делать без его приказания.

Шейх — избранный богом человек; он выше всех прочих существ и занимает место непосредственно после пророков. Поэтому ты должен видеть повсюду его, только его одного. Изгони из своего сердца всякую иную мысль, кроме мысли о боге или о шейхе».

Ниже этой священной особы стоят макаддемы,

викарии или заместители шейха, проводники учения.

И наконец, простые посвященные ордена называются хуанами, братьями.

Чтобы достигнуть того состояния галлюцинации, при котором человек сливается с богом, каждое братство имеет свои специальные молитвословия, или, вернее, гимнастику одурения — диркр.

Почти всегда это очень короткое воззвание, или, вернее, повторение одного слова или одной фразы, которые нужно произнести бесконечное количество раз.

Равномерно двигая головой и шеей, адепты повторяют двести, пятьсот, тысячу раз подряд слово «бог» или формулу, которая встречается во всех мусульманских молитвах: «Нет бога, кроме Аллаха», — прибавляя к ней несколько стихов, порядок которых составляет пароль данного братства.

Новообращенный в момент своего посвящения — таламид, после посвящения — мюрид, затем — факир, суфи, сатек и, наконец, мед джедуб (восхищенный, галлюцинирующий). В этом сане у него появляется вдохновение или безумие, дух отделяется от материи и подчиняется влиянию

своего рода мистической истерии. С этого момента человек уже не принадлежит к физическому миру. Для него существует один лишь духовный мир, и ему более не нужно выполнять обряды культа.

Выше этого состояния существует лишь состояние тухида, представляющее собой высшее блаженство, отожествление с божеством.

Экстаз также имеет различные степени, интереснейшее описание которых дает Шейх Сенусси, член ордена Хелуатия, тайновидцев — толкователей снов. Интересно отметить странную аналогию, какую можно провести между этими мистиками и мистиками христианства.

Вот что пишет Шейх Сенусси: «…Позднее адепт воспринимает проявления других светочей, служащих ему самым совершенным талисманом.

Число этих светочей достигает семидесяти тысяч; оно подразделяется на несколько групп и составляет *семь ступеней*, через которые достигается совершенство души. Первая из этих ступеней — человечество. Здесь различают десять тысяч светочей, доступных восприятию лишь достойных; цвет этих светочей тусклый. Они сливаются между собой… Чтобы достигнуть второй ступени, надо освятить свое сердце. Тогда

открываются десять тысяч других светочей, присущих второй ступени, являющейся ступенью *страстного экстаза*; их цвет светло-голубой… После этого подходят к третьей ступени — *экстаза сердца*. На этой ступени адепт видит ад и его атрибуты, а также десять тысяч новых светочей, цвет которых красен, как цвет чистого пламени… С этой ступени можно лицезреть гениев и все их атрибуты, ибо сердце получает возможность наслаждаться семью духовными состояниями, доступными лишь некоторым посвященным.

Поднявшись на следующую ступень, адепт различает десять тысяч новых светочей, присущих состоянию экстаза бесплотной души. Эти светочи отличаются ярко-желтым цветом. В них видны души пророков и святых.

Пятая ступень — это ступень таинственного экстаза. На ней можно созерцать ангелов и десять тысяч новых светочей ослепительно белого цвета.

Шестая ступень — это ступень одержимости. На ней также имеешь возможность видеть десять тысяч новых светочей, цвет которых — цвет прозрачных зеркал. Достигнув этой ступени, испытываешь сладостное восхищение духа, *эль-Хадир*, которое составляет основу духовной

жизни. И только тогда удостаиваешься лицезреть нашего пророка Магомета.

Наконец подходишь к десяти тысячам последних скрытых светочей, дойдя до седьмой ступени, которая есть блаженство. Эти светочи — зеленые и белые, но они испытывают последовательные изменения: так, они проходят через цвета драгоценных камней, чтобы затем приобрести светлый оттенок, и, наконец, получают такую окраску, которая не имеет себе подобной, ни на что не похожа, нигде больше не существует, но разлита по всей Вселенной… Когда достигнешь этого состояния, открываются атрибуты бога… Тогда кажется, что уже не принадлежишь к этому миру. Все земное исчезает для тебя».

Разве это не те же семь небесных замков святой Терезы и семь цветов, соответствующих семи ступеням экстаза? Чтобы достигнуть этого состояния безумия, члены ордена Хелуатия применяют следующий специальный прием: садятся, скрестив ноги, и повторяют в течение некоторого времени: «Нет бога, кроме Аллаха», — поворачивая голову так, чтобы рот приходился сперва над правым плечом, а потом перед сердцем под левой грудью. Затем произносят обращение, которое состоит в том, чтобы отчетливо выговаривать имена бога,

содержащие идею его величия и могущества, упоминая лишь десять следующих, и в том порядке, в каком они приведены: «Он; Праведный; Живой; Непреодолимый; Высший дарователь; Высший покровитель; Тот, кто раскрывает сердца зачерствелых людей для истины; Единый; Вечный; Неизменный».

После каждого обращения адепты должны прочитать некоторые молитвы сто раз подряд или более.

Они садятся в кружок для особых молений. Тот, кто их читает, произнося слово он, высовывает голову на середину круга, склонив ее направо, затем снова откидывает назад, нагибая влево, к наружной стороне круга. Сначала только один произносит слово он, после чего все остальные хором подхватывают это слово, поворачивая головы вправо и влево.

Сравним эти приемы с теми, которые приняты у членов ордена Кадрия: «Усевшись со скрещенными ногами, они дотрагиваются до кончика правой ноги, затем до главной артерии (эль-кияс), которая проходит вокруг внутренностей; кладут на колено раскрытую руку с растопыренными пальцами, поворачивают лицо к правому плечу, произнося «ха», затем к левому плечу, произнося

«ху», затем опускают голову на грудь, произнося «хи», и начинают все сначала. Важно и даже необходимо, чтобы тот, кто произносит эти слова, задерживался на первом из них, насколько хватает дыхания; затем, очистившись, он так же растягивает имя бога, пока душа его еще может подлежать осуждению; потом он произносит слово «ху», когда она готова к повиновению, и, наконец, когда душа достигает желанной степени совершенства, он может произнести последнее имя — «хи».

Эти молитвы, которые должны уничтожить индивидуальность человека, погруженного в сущность бога (то есть привести к состоянию, при котором человек достигает созерцания бога в его атрибутах), называются «уэрд-деберед».

Но из всех алжирских религиозных братств более всего, конечно, привлекает любопытство иностранцев братство Айссауа.

Всем известны отвратительные приемы этих истерических жонглеров, которые, придя в состояние исступления, образуют некую магнетическую цепь и, читая свои молитвы, поедают колючие листья кактуса, гвозди, толченое стекло, скорпионов и змей. Нередко эти безумцы пожирают в ужасных конвульсиях живого барана,

шерсть, кожу и кровавое мясо, оставляя на земле лишь несколько костей. Они вонзают себе в щеки и живот железные спицы; после смерти, при вскрытии, в стенках их желудков находят самые разнообразные предметы.

И что же, из всех мусульманских братств самые поэтические молитвы и самые поэтические нравоучения встречаются в текстах Айссауа.

Цитирую из книги г-на майора Ринна всего несколько фраз.

«Однажды пророк сказал Абу-Дирр-эль-Р'ифари: «О Абу-Дирр! Смех бедных — это молитва; их игры — хвала бону; их сон — милостыня».

Шейх говорит еще: «Молиться и поститься в пустыне и не иметь сострадания в сердце — это на истинном пути называется лицемерием».

«Любовь — высшая ступень совершенства. Тот, кто не любит, ничего не достиг на пути к совершенству. Существует четыре рода любви: любовь разумная, любовь сердечная, любовь душевная, любовь таинственная…»

Была ли когда-либо определена любовь более полно, более тонко, более прекрасно?

Можно было бы приводить такие цитаты до бесконечности.

Но наряду с мистическими орденами, при-

надлежащими к великим правоверным исповеданиям ислама, существует отколовшаяся секта ибадитов, или Бени-Мзаб, представляющая крайне любопытные особенности.

Бени-Мзаб населяют к югу от наших алжирских владений, в самой бесплодной части Сахары, небольшую страну Мзаб, которую они путем неимоверных усилий сделали плодородной.

Не без удивления встречаем мы в маленькой республике этих пуритан ислама принципы управления, присущие социалистической общине, и в то же время церковную организацию пресвитериан Шотландии. Мораль их — жестокая, нетерпимая, непреклонная. Они питают отвращение к кровопролитию и допускают его лишь для защиты веры. Большинство обыденных поступков: случайное или произвольное прикосновение к женской руке, к влажному, грязному или запрещенному предмету — считаются серьезными проступками, требующими особых длительных омовений.

Безбрачие, ведущее к разврату, гнев, пение, музыка, игра, пляски, все формы роскоши, табак, кофе, выпитый в общественном заведении, составляют грехи, которые в случае упорствования в них влекут за собой страшное отлучение

— тебрию.

В противоположность учению большинства мусульманских общин, согласно которому для правоверного, каковы бы ни были его дела, достаточно быть благочестивым, молиться и познать состояние мистической экзальтации, чтобы спасти свою душу, ибадиты признают, что вечное спасение человека возможно лишь путем чистой жизни. Они доводят до крайности соблюдение предписаний Корана, считают еретиками дервишей и факиров, не признают, что пророки и святые, память которых они, однако, чтут, способны быть заступниками перед богом, владыкой абсолютно справедливым и непреклонным. Они не верят во вдохновенных и озаренных людей и не признают даже за имамом права отпускать грехи ближнему, ибо один лишь бог может судить о важности проступка и искренности раскаяния.

Надо сказать, что ибадиты — схизматики, принадлежащие к одной из древнейших схизм ислама; они непосредственно происходят от убийц Али, зятя пророка.

Но ордена, насчитывающие в Тунисе наибольшее число адептов, — это, по-видимому, наряду с Айссауа, братства Тиджания и Кадрия; последнее было основано Абд-эль-Кадер-эль-Джилани, са-

мым святым человеком ислама после Магомета.

Зауйи обоих этих марабутов, которые мы посетили после зауйи брадобрея, далеко уступают по изяществу и красоте первым двум памятникам, осмотренным нами сначала.

16 декабря

Впечатление уныния, производимое священным городом, еще усиливается при отъезде из Кайруана в Сус.

После бесконечных кладбищ, широких полей, усеянных камнями, начинаются холмы, состоящие из городских отбросов, которые накапливались целые столетия, потом опять идет болотистая равнина, где то и дело наступаешь на щиты небольших черепах, а затем снова ланда, где пасутся верблюды. Город с его куполами, мечетями и минаретами возвышается позади нас, как мираж, в этой мрачной пустыне, потом постепенно удаляется и исчезает.

После нескольких часов пути мы делаем первый привал около куббы, среди оливковой рощи. Мы находимся в Сиди-ль-Ханни; мне ни разу еще не приходилось видеть, чтобы солнце создало из белого купола такое чудо, такую изумительную игру красок. Правда ли, что он белый? Да, белый, ослепительно белый! И все же свет так

странно преломляется на этом огромном яйце, что тут различаешь волшебное разнообразие таинственных оттенков, скорее, кажется, вызванных чарами, чем естественным явлением; они более иллюзорны, чем реальны, и так тонки и нежны, так утопают в этой снеговой белизне, что их улавливаешь не сразу, а лишь после того, как ослепленный взгляд привыкнет к ним. Но тогда уже не видишь ничего, кроме этих оттенков, таких многочисленных, разнообразных, сочных и все же почти невидимых. Чем больше в них всматриваешься, тем ярче они выступают. Золотистые волны текут по этим контурам и незаметно гаснут в легкой сиреневой дымке, которую пересекают местами голубоватые полосы. Неподвижная тень ветки кажется не то серой, не то зеленой, не то желтой. Под карнизом стена представляется мне фиолетовой; я догадываюсь, что воздух вокруг этого ослепительного купола розовато-сиреневый, а самый купол кажется мне сейчас почти розовым, да, почти розовым, когда слишком долго в него всматриваешься, когда из-за утомления, вызванного его сиянием, сливаются все эти тона, такие мягкие и светлые, что опьяняют глаз. А тень, тень этой куббы на земле — какого она цвета? Кто сумеет постичь,

показать, изобразить ее красками? Сколько лет еще придется воспринимать нашему взору и мысли эти неуловимые расцветки, столь новые для нас, привыкших видеть европейскую природу, ее эффекты и отражения, прежде чем мы научимся понимать, различать и выражать эти тона, прежде чем мы сумеем передать волнующее впечатление подлинности для тех, кто будет смотреть на полотна, где эти тона закрепит кисть художника?

Теперь мы вступаем в область менее оголенную, где растут оливковые деревья. В Муреддине, около колодца, красавица девушка обнажает в улыбке зубы, глядя на нас, когда мы проезжаем мимо. Немного дальше мы обгоняем элегантного буржуа из Суса, возвращающегося в город верхом на осле и в сопровождении слуги-негра, который несет его ружье. Вероятно, он только что побывал в своей оливковой роще или на своем винограднике. На окаймленной деревьями дороге он представляет собой прелестную картину. Он молод, одет в зеленую куртку и розовый жилет, наполовину скрытые под шелковым бурнусом, охватывающим его бедра и плечи. Сидя по-дамски на ослике, который бежит рысцой, он барабанит по его боку ногами в безукориз-

ненно белых чулках, а на ступнях его неведомо каким образом держатся лакированные туфли без задников.

Негритенок, одетый во все красное, с ружьем на плече бежит за ослом своего господина с проворством и гибкостью дикаря.

Вот и Сус.

Но я ведь уже видел этот город! Да-да, это лучезарное видение некогда являлось мне в юности, в школе, когда я заучивал Крестовые походы по «Истории Франции» Бюретта. О да! Он мне так давно знаком! Он полон сарацин, засевших за этими длинными зубчатыми стенами, такими высокими и узкими, с широко расставленными башнями, с круглыми воротами и с людьми в тюрбанах, бродящими у подножия стены. О, эта стена! Конечно, она та самая, что была изображена на книжке с картинками, такая гладкая и чистенькая, словно вырезанная из картона. Как все это красиво, светло, упоительно! Предпринять такое длинное путешествие стоило уже для того, чтобы повидать Сус. Боже! Какая прелесть эта стена, вдоль которой придется следовать до самого моря, — ведь экипажи не могут проехать по узким, причудливо извивающимся улицам этого города былых времен. А стена все тянется

и тянется до взморья, всюду одинаково зубчатая, вооруженная квадратными башнями, потом описывает дугу, идет вдоль берега, снова сворачивает, поднимается и продолжает свой путь, сохраняя на всем его протяжении изящный вид сарацинского крепостного вала. Она возобновляется бесконечно, как четки, где каждая бусинка — зубец, и каждая десятая бусинка — башня, и замыкает в своем блестящем кольце, точно в венке из белой бумаги, весь город, сжатый в ее объятиях, глинобитные дома которого поднимаются уступами от нижней стены, омываемой морем, к верхней, вырисовывающейся на фоне неба.

Мы обходим город, переплетение изумительных улиц, и, располагая еще часом дневного времени, отправляемся смотреть раскопки, производимые офицерами, в десяти минутах ходьбы от городских ворот, на месте некрополя древнего Хадрумета. Здесь были обнаружены обширные подземелья со следами настенной росписи, заключавшие в себе до двадцати гробниц. Этими изысканиями мы обязаны офицерам, которые в этих странах становятся завзятыми археологами и могли бы оказать науке неоценимые услуги, если бы ведомство изящных искусств не тормозило их деятельность всевозможными придирками.

В 1860 году в этом же некрополе обнаружили чрезвычайно любопытную мозаику, на которой был изображен критский лабиринт с Минотавром в центре, а у выхода — корабль, уносящий Тезея и Ариадну с ее нитью. Бей пожелал перенести это замечательное произведение искусства в свой музей, но при перевозке мозаика была окончательно разрушена. Мне любезно подарили фотографию с наброска, сделанного с нее г-ном Лармандом, чертежником инженерного ведомства. Таких фотографий существует всего четыре, и сняты они совсем недавно. Сомневаюсь, чтобы они были когда-либо воспроизведены.

Мы возвращаемся в Сус на закате, чтобы отправиться на обед к гражданскому контролеру Франции, широко осведомленному человеку, рассказы которого о нравах и обычаях этой страны чрезвычайно интересны.

Из его дома виден весь город, этот водопад квадратных крыш, выбеленных известью, по которым бегают черные коты и где порой встают, как призраки, существа, задрапированные в светлые или яркие ткани. Местами высокая пальма, просунув вершину между домами, простирает зеленый букет своих веток над их ровной белизной.

Позднее, когда взошла луна, все это превра-

тилось в серебряную пену, текущую к морю, в чудесный сон поэта, ставший явью, в невероятное видение фантастического города, от которого к небу поднимается сияние.

Затем мы долго еще бродим по улицам. Нас соблазняет дверь мавританской кофейни. Мы входим. Там полно людей, сидящих на корточках или прямо на земле, или на досках, застланных циновками, вокруг араба-сказочника. Это жирный старик с хитрыми глазами, и говорит он с такой забавной мимикой, что ее одной достаточно, чтобы рассмешить. Он рассказывает шутливую историю про обманщика, выдававшего себя за марабута и разоблаченного имамом. Наивные слушатели в восторге и следят с напряженным вниманием за рассказом, прерываемым лишь взрывами хохота. Потом мы снова начинаем бродить по улицам, не решаясь пойти спать в эту сверкающую волшебную ночь.

Но вот на одной узкой улице я останавливаюсь перед красивым восточным домом, в открытую дверь которого виднеется широкая прямая лестница, вся в фаянсовых изразцах и освещенная сверху донизу невидимым светочем, как бы светоносным пеплом, световой пылью, падающими неизвестно откуда. Под этим невыразимым си-

янием каждая эмалированная ступенька так и ждет кого-то: может быть, старого пузатого мусульманина, но мне кажется, что она призывает стопы любовника. Никогда я так ясно не угадывал, не видел, не понимал, не испытывал чувства ожидания, как перед этой открытой дверью и этой пустой лестницей, озаренной невидимым светильником. Снаружи на стене, освещенной луной, — один из тех больших закрытых балконов, которые называют «бармаклы». Посередине, за богатым узором железного переплета мушараби, — два темных отверстия. Не там ли поджидает кого-то с трепещущим сердцем, прислушивается и ненавидит нас арабская Джульетта? Да, может быть. Но ее желания, чисто чувственные, не из тех, которые в наших странах взнеслись бы в такую ночь к самым звездам. В этой стране, теплой, полной неги и такой пленительной, что здесь, на острове Джерба, зародилась легенда о Лото-фагах, воздух упоительнее, солнце горячее, дневной свет ярче, чем где бы то ни было, но сердца не умеют любить. Женщинам, прекрасным и пылким, неведомы наши нежные чувства. Их первобытные души остаются чужды сентиментальным волнениям, и поцелуи, как говорят, не порождают грез.

На водах

Дневник маркиза де Розевейра

12 июня 1880 года. В Лоэш! Меня хотят отправить на месяц в Лоэш! Помилосердствуйте! На целый месяц в этот городишко, который считается самым скучным, самым мертвым, самым несносным из курортных городов. Да что я говорю, разве это город? Это просто дыра, которую едва ли можно назвать и деревней. Словом, меня приговорили к месяцу ссылки.

13 июня. Всю ночь думал об этом путешествии, которое приводит меня в ужас. Единственное, что мне остается, это взять с собой женщину! Быть может, это меня хоть немного развлечет. И потом, я испытаю таким образом, достаточно ли созрел для брачной жизни.

Целый месяц совместного пребывания, месяц общей жизни с другим существом, жизни вдвоем в полном смысле слова, разговоров в любой час, днем и ночью. Черт возьми!

Взять женщину на месяц — это, правда, не так серьезно, как взять на всю жизнь, но уже гораздо сложнее, чем взять только на один вечер. Я знаю,

что могу ее отправить обратно с сотней-другой луидоров, но тогда останусь в Лоэше один, а это вовсе не весело.

Выбор — дело нелегкое. Я не хочу ни кокетки, ни дуры. Не надо, чтобы она ставила меня в смешное положение, заставляла стыдиться ее. Я хочу, чтобы говорили: «Маркизу де Розевейру повезло», — но не хочу, чтоб за моей спиной шушукались: «Бедняга маркиз де Розевейр!»

Словом, моя случайная подруга должна обладать теми качествами, которые я желал бы найти в подруге всей моей жизни. Единственное допустимое различие между ними — это то, которое существует между новой вещью и вещью, купленной по случаю. Баста! Я найду, надо заняться этим!

14 июня. Берта!.. Вот как раз то, что мне нужно. Двадцать лет, хорошенькая, окончила консерваторию, ждет предоставления роли, будущая звезда. Хорошие манеры, чувство собственного достоинства, ум и… любовь. Вещь, приобретенная по случаю, но сойдет за новую.

15 июня. Она свободна. Не связанная ангажементом, ни деловым, ни сердечным, она согласна; я сам заказал все ее платья, чтобы она не была похожа на содержанку.

20 июня. Базель. Она спит. Начну свои путевые заметки.

Она совершенно очаровательна. Когда мы встретились на вокзале, я почти не узнал ее — это была настоящая светская женщина. Конечно, эту девочку ждет блестящее будущее… в театре.

Мне показалось, что у нее стали другие манеры, походка, позы, жесты, улыбка, голос — словом, все безупречно. А прическа! О, прическа восхитительная, очаровательная и простая, как у женщины, которой не надо больше привлекать к себе внимание, не надо больше нравиться всем, роль которой уже не в том, чтобы с первого взгляда кружить голову каждому, кто ее видит, но которая хочет нравиться одному, тайно от всех, только одному. И это сквозило во всех ее движениях. Это выражалось так тонко и так несомненно, превращение показалось мне настолько полным и искусным, что я предложил ей руку, как предложил бы своей жене. И она непринужденно взяла меня под руку, будто и в самом деле была моей женой.

В купе, с глазу на глаз, мы сначала сидели неподвижно и молча. Потом она приподняла вуалетку и улыбнулась. И только. Улыбка хорошего тона. О, я опасался поцелуев, комедий нежности,

неизбежной и пошлой игры кокотки, но нет, она воздержалась. Она с характером.

Потом мы болтали — не то как молодожены, не то как чужие. Это было прелестно. Она часто улыбалась, глядя на меня. Теперь уже мне самому хотелось расцеловать ее, но я сохранил спокойствие.

На границе чиновник в галунах внезапно открыл дверцу и спросил меня:

— Ваше имя, сударь?

Я был удивлен и ответил:

— Маркиз де Розевейр.

— Куда вы едете?

— На воды в Лоэш, в Вале.

Чиновник все записал и продолжил:

— Эта дама… ваша жена?

Что делать? Как ответить? Я посмотрел на нее в замешательстве. Она была бледна и глядела куда-то вдаль… Я почувствовал, что сейчас нанесу ей незаслуженное оскорбление. И, в конце концов, я же взял ее себе в подруги на целый месяц!

Я произнес:

— Да, сударь.

Я видел, как она сразу покраснела, и почувствовал себя счастливым.

Но и здесь, в отеле, когда мы приехали, хозяин

подал ей книгу для приезжающих. Она сейчас же передала ее мне; и я знал: она смотрит, что я напишу. Это был наш первый интимный вечер!.. Ну кто там станет читать эту книгу? Страница перевернута — и дело с концом. Я начертал: «Маркиз и маркиза де Розевейр, проездом в Лоэш».

21 июня. Шесть часов утра. Базель. Мы едем в Берн. Мне решительно повезло!

21 июня. Десять часов вечера. Странный день. Я немного взволнован. Это глупо и смешно.

Дорогой мы мало говорили. Она встала слишком рано, казалась утомленной, дремала.

Приехав в Берн, мы сейчас же решили полюбоваться на альпийскую панораму, которой я никогда еще не видел, и отправились по городу как молодожены.

Вдруг мы увидели необозримую равнину, а там, далеко-далеко, ледяные вершины. Так, издали, они не казались громадными, и, однако, от этого зрелища у меня захватило дыхание. Нас заливали лучи заходящего солнца, жара была ужасная. Они же стояли холодные и белые, эти ледяные глыбы. Юнгфрау, Девственница, возвышалась над своими братьями, являя взору широкие снеговые склоны, и вокруг нее, на сколько мог видеть глаз, толпились белоголовые великаны,

вечные ледяные вершины, посветлевшие, словно посеребренные в свете угасающего дня, на темной лазури неба.

Их исполинское недвижное нагромождение вызывало мысль о начале какого-то чудесного нового мира, мертвой утесистой страны, оледеневшей, но исполненной таинственного очарования и манящей, как море. Воздух, который ласкал эти покрытые вечными снегами вершины, казалось, долетал к нам по узким цветущим лугам совсем иным, чем воздух, животворно веющий над долинами. В нем было нечто терпкое, сильное и бесплодное, как бы очарование недосягаемых просторов.

Берта смотрела, потрясенная, и не могла произнести ни слова.

Она взяла мою руку и крепко сжала ее. Я и сам был охвачен тем лихорадочным трепетом, тем чувством восторга, которое мы испытываем иногда при виде неожиданного зрелища. Я взял эту дрожащую ручку и поднес к губам. И, право же, я поцеловал ее с любовью.

Я был немного взволнован. Чем же? Бертой или ледниками?

24 июня. Лоэш, десять часов вечера.

Все путешествие было восхитительным. Мы

провели полдня в Туне, любуясь суровой цепью гор, через которую нам надлежало перейти на другой день.

С восходом солнца мы переехали через озеро, может быть, самое красивое во всей Швейцарии. Мулы уже ожидали нас. Мы уселись верхом и отправились в путь. Позавтракав в маленьком городке, мы начали восхождение, медленно поднимаясь по лесистому ущелью, все время уходившему вверх под сенью высоких гор. Местами на склонах, которые спускаются точно с самого неба, видны были разбросанные белые точки — швейцарские хижины, попавшие туда неведомо как. Мы переправлялись через горные потоки и видели иногда, между двумя высокими, поросшими елью утесами, огромные снежные пирамиды, казавшиеся совсем близкими; можно было поклясться, что доберешься туда в двадцать минут, а до них, пожалуй, не дойти и за двадцать четыре часа.

Иногда мы перебирались через какой-то хаос камней, через узкие долины, загроможденные сорвавшимися глыбами, — как будто две горы столкнулись в поединке на этом ристалище, усеяв место битвы обломками своих гранитных тел.

Берта в изнеможении дремала в седле, по вре-

менам открывая глаза, чтобы поглядеть еще раз. В конце концов она заснула, и я поддерживал ее одной рукой, счастливый этой близостью, чувствуя сквозь платье нежную теплоту ее тела. Настала ночь, а мы все продолжали подниматься. Остановились у двери маленькой гостиницы, затерянной в горах.

И мы заснули. Как мы спали!

На рассвете я подбежал к окну и вскрикнул. Берта подошла ко мне и остановилась в изумлении и восторге. Мы провели ночь среди снегов.

Повсюду нас окружали громадные и бесплодные горы в белых мантиях, из-под которых торчали серые ребра скал, горы без единой сосны. Угрюмые и оледенелые, они вздымались так высоко, что казались недосягаемыми.

Через час после того, как снова двинулись в путь, мы увидели в глубине воронки из гранита и снега черное мрачное озеро, совершенно гладкое, без малейшей ряби, и долго ехали по его берегу. Проводник принес нам несколько эдельвейсов, бледных цветов, растущих вблизи ледника. Берта приколола их букетиком к корсажу.

Вдруг скалистое ущелье расступилось перед нами, открывая необычайную панораму: всю цепь пьемонтских Альп по ту сторону долины Роны.

Там и сям над множеством меньших гор поднимались высокие вершины. Это были Мон-Роза, величавая и грузная, Сервен — правильная пирамида, на которой погибло столько людей, Дан-дю-Миди и сотни других белых вершин, блестевших на солнце, как алмазные.

Тропинка, по которой мы ехали, внезапно оборвалась у края пропасти, и в самой бездне, на дне черного колодца глубиной две тысячи метров, мы увидели между отвесными бурыми дикими скалами ковер зеленой травы с несколькими белыми точками, напоминающими барашков на лугу. Это были дома Лоэша.

Пришлось сойти с мулов, так как дорога становилась опасной. Тропинка спускается по скале, вьется, кружит, бежит вперед, возвращается, но все время тянется над пропастью и над лежащей в ней деревней, которая все увеличивается по мере приближения. Это-то и есть так называемый перевал Жемми, если и не самый красивый в Альпах, то все же один из красивейших.

Берта опиралась на меня, вскрикивала от радости, вскрикивала от страха, радостная и пугливая, как дитя. Когда мы отстали на несколько шагов от проводника, скрывшегося за выступом скалы, она поцеловала меня. Я обнял ее…

Я сказал себе: «В Лоэше я обязательно дам понять, что она мне вовсе не жена».

Но ведь всюду я обращался с ней как с женой, всюду я выдавал ее за маркизу де Розевейр. Не мог же я теперь записать ее под другим именем! И вдобавок я этим смертельно оскорбил бы ее, а она такая очаровательная. Я сказал ей:

— Дорогая, ты носишь мое имя, меня считают твоим мужем; надеюсь, ты будешь вести себя крайне осторожно и крайне сдержанно. Никаких знакомств, никакой болтовни, никаких отношений. Пусть тебя считают гордой, но веди себя так, чтобы мне никогда не пришлось раскаиваться в том, что я сделал.

Она ответила:

— Не беспокойся, мой милый Рене.

26 июня. Лоэш вовсе не скучное местечко. Нет. Дико, но очень красиво. Эти скалистые стены вышиной две тысячи метров, по которым, подобно струйкам серебра, бегут сотни горных потоков, этот вечный шум текущей воды, затерявшаяся в альпийских горах деревушка, откуда, как со дна колодца, смотришь на движущееся по небу далекое солнце, на соседний ледник, весь белый в расщелине горы, эта спускающаяся к Роне, изрезанная ручейками долина, где столько дере-

вьев, свежести и жизни, и, наконец, этот вид на далекие снеговые вершины Пьемонта — все здесь меня прельщает и приводит в восторг. А может быть если бы Берты не было здесь…

Это милое дитя — совершенство; она сдержанна и изящна, как никто. Я постоянно слышу: «Как мила эта молоденькая маркиза!..»

27 июня. Первая ванна. Прямо из спальни спускаешься в бассейн, где мокнет человек двадцать купальщиков, уже закутанных в длинные шерстяные халаты, мужчины и женщины вместе. Кто ест, кто читает, кто разговаривает. Перед каждым — маленький плавучий столик, который можно толкать перед собой. Иногда затевается игра в веревочку, что не всегда прилично. С высоты галереи, окружающей купальню, мы похожи на больших жаб в лоханке.

Берта пришла в эту галерею поболтать со мной и обратила на себя всеобщее внимание.

28 июня. Вторая ванна. Четыре часа в воде. Через неделю я буду сидеть по восемь часов. Мои товарищи по купанию — князь Ванорис (Италия), граф Левенберг (Австрия), барон Самуил Вернэ (Венгрия) или что-то в этом роде плюс десятка полтора менее значительных особ, но все дворяне. На этих курортах только и встречаешь, что

дворян.

Все они один за другим просят представить их Берте. Я отвечаю: «Да», — и уклоняюсь. Прослыл ревнивцем, вот глупая история!

29 июня. Черт возьми! Черт возьми! Когда мы возвращались в гостиницу, княгиня Ванорис сама подошла ко мне, желая познакомиться с моей женой. Я представил Берту, но попросил ее тщательно избегать встреч с этой дамой.

2 июля. Вчера князь затащил нас к себе: у него собралась за чаем вся курортная знать. Без сомнения, Берта была лучше всех женщин. Как же быть?

9 июля. Эх, будь что будет! Ведь из этих тридцати аристократов по крайней мере десять вымышленных. Из шестнадцати-семнадцати женщин найдется ли больше двенадцати по-настоящему замужних, а из этих двенадцати хотя бы больше половины безупречных? Тем хуже для них! Сами виноваты!

10 июля. Берта — королева Лоэша! Все без ума от нее, ее чествуют, балуют, обожают! Она действительно способна восхищать своей грацией и прекрасными манерами. Мне завидуют.

Княгиня Ванорис спросила меня:

— Ах, маркиз, где вы нашли такое сокровище!

Мне так и хотелось ответить: «Берта получила первую награду в консерватории по классу комедии, приглашена в Одеон, свободна с пятого августа тысяча восемьсот восьмидесятого года».

Вот бы гримасу скорчила княгиня Ванорис! Боже милосердный!

20 июля. Берта прямо-таки удивительна. Ни одной бестактности, ни одного промаха. Чудо!

10 августа. Париж… Все кончено. На сердце тяжело. Накануне отъезда я думал, что все расплачутся.

Решили посмотреть восход солнца на Торенгорне и вернуться обратно к нашему отъезду. В путь отправились около полуночи верхом на мулах. Проводники держали в руках фонари, и длинный караван тянулся по извилистым дорогам соснового леса, потом проехали пастбище, где пасутся на воле стада коров, и достигли каменистой области, где даже трава, и та не растет.

Иногда во мраке мы различали то по одну, то по другую сторону дороги белые груды — залежи снега в расселинах горы.

Холод становился резким, пощипывало лицо, шею. С гор дул сухой ветер, обжигая горло и принося с собой морозное дыхание стомильной гряды ледяных круч.

Была еще ночь, когда мы достигли вершины. Распаковали провизию, чтобы выпить шампанского при восходе солнца.

Небо над головой бледнело. У самых ног мы уже различали пропасть, а там, в нескольких сотнях метров, другой горный кряж.

Весь небосклон казался синевато-бледным, но еще ничего не было видно вдали.

Вскоре мы разглядели слева огромную вершину, Юнгфрау, потом другую, потом третью. Они появлялись мало-помалу, как будто вставая вместе с рассветом. С изумлением видели мы себя в кругу этих колоссов, в этой безотрадной стране вечных снегов. И вдруг развернулась гигантская цепь пьемонтских Альп. Другие вершины показались на севере. Да, перед нами действительно была необъятная страна великих гор с обледенелым челом, от Ринденгорна, тяжеловесного, как и его имя, до едва различимого призрака — альпийского патриарха Монблана.

Одни были гордые и стройные, другие — приземистые, иные — бесформенные, но все одинаково белые, как будто некий бог раскинул по бугристой земле незапятнанно-чистое покрывало.

Некоторые казались в такой близи, как будто можно было вспрыгнуть на них, другие были так

далеко, что их едва можно было различить.

Небо стало красным, и горы все стали красными.

Облака как бы источали на них свою кровь. Это было великолепно, почти страшно.

Но вскоре пламенеющие облака побледнели, и вся рать горных вершин постепенно стала розовой, нежно-розовой, как платье прелестной девушки.

И над покровом снегов появилось солнце. Тогда вся семья ледяных вершин побелела, заискрилась, словно множество серебряных куполов поднялось над горизонтом.

Женщины смотрели в восторге.

Вдруг они вздрогнули: хлопнула пробка от шампанского, и князь Ванорис, протягивая бокал Берте, воскликнул:

— За здоровье маркизы де Розевейр!

Все закричали:

— За здоровье маркизы де Розевейр!

Она встала на стременах и ответила:

— За здоровье всех моих друзей!

Три часа спустя мы были в долине Роны и садились в женевский поезд.

Едва мы остались одни, Берта, только что такая счастливая и такая веселая, закрыла лицо руками

и разрыдалась.

Я бросился к ее ногам:

— Что с тобой? Что с тобой? Скажи, что с тобой?

Она пролепетала сквозь слезы.

— Вот и… вот и… вот и покончено с жизнью порядочной женщины!

Право, в эту минуту я готов был сделать глупость, большую глупость!.. Но я ее не сделал.

Как только мы приехали в Париж, я расстался с Бертой. Позднее, может быть, у меня не хватило бы на это сил.

Дневник маркиза де Розевейра не представляет никакого интереса в течение двух последующих лет, но под датой 20 июля 1883 года мы находим следующую запись.

20 июля 1883 года. Флоренция. Недавно — грустное воспоминание. Я гулял по парку Кашины, когда какая-то женщина остановила коляску и подозвала меня. Это была княгиня Ванорис. Не успел я подойти к коляске, как она заговорила:

— О маркиз, дорогой маркиз, как я рада, что встретила вас! Скорее, скорее расскажите мне про вашу жену. Это, право, самая очаровательная из всех женщин, каких я только знавала в жизни.

Я был смущен, не знал, что сказать, поражен-

ный в самое сердце, и пробормотал:

— Никогда не напоминайте мне о ней, княгиня! Вот уже три года, как я потерял ее.

Она взяла меня за руку.

— О, как мне жаль вас, друг мой!

Мы расстались. Я вернулся домой грустный, недовольный, думая о Берте, как будто мы с ней только что разлучились.

Судьба часто совершает ошибки!

Сколько порядочных женщин родилось на свет, чтобы быть кокотками, и они доказывают это на каждом шагу.

Бедная Берта! Сколько других родилось, чтобы быть порядочными. И она… может быть, больше, чем кто бы то ни было… Но что поделаешь!.. Не надо об этом думать…